



БОРИС ГОРБАТОВ

**ОБЫКНОВЕННАЯ
АРКТИКА**

В 1935 году, будучи специальным корреспондентом газеты «Правда», Борис Горбатов на самолете полярного летчика В. Молокова летит на остров Диксон и зимует там. В следующем году Б. Л. Горбатов снова в Арктике, участвует в перелете над северным морским путем. Жизнь на Севере дала писателю материал для книги рассказов «Обыкновенная Арктика» (1940).

- [ОБЫКНОВЕННАЯ АРКТИКА](#)
 -
 - [БОЛЬШАЯ ВОДА](#)
 - [РОДЫ НА ОГУРЕЧНОЙ ЗЕМЛЕ](#)
 - [ДРУЖБА](#)
 - [ТОРГОВЕЦ ЛОБАС](#)
 - [1](#)
 - [2](#)
 - [3](#)
 - [4](#)
 - [5](#)
 - [6](#)
 - [МЫ И РАДИСТ ВОВНИЧ](#)
 - [1](#)
 - [2](#)
 - [3](#)
 - [4](#)
 - [5](#)
 - [6](#)
 - [7](#)
 - [8](#)
 - [9](#)
 - [10](#)
 - [11](#)
 - [КАРПУХИН С ПОЛЫНЫ](#)
 - [РАЗГОВОР](#)
 - [БОЦМАН С «ГРОМОБОЯ»](#)
 - [ВОЗВРАЩЕНИЕ САТАНАУ](#)
 - [ТАЯН-НАЧАЛЬНИК](#)
 - [1](#)
 - [2](#)
 - [3](#)
 - [4](#)
 - [5](#)
 - [6](#)
 - [7](#)
 - [ПОЕДИНОК](#)
 - [СУД НАД СТЕПАНОМ ГРОХОТОМ](#)
 - [ДАША](#)

- [РАССКАЗ О ДВУХ МУЖЧИНАХ](#)
- [ЗДЕСЬ БУДУТ ШУМЕТЬ ГОРОДА...](#)
-

- [notes](#)

- [1](#)
 - [2](#)
 - [3](#)
 - [4](#)
 - [5](#)
 - [6](#)
 - [7](#)
 - [8](#)
 - [9](#)
 - [10](#)
 - [11](#)
 - [12](#)
-

Благодарим Вас за использование нашей библиотеки Librs.net.



БОЛЬШАЯ ВОДА

В полярном году есть один в буквальном смысле слова непутевый месяц.

Это какой бы вы думали? Это... июль. Точнее: с 20 июня по 20 июля. Именно в эту пору Диксон становится островом.

Пароходы еще не ходят, самолеты уже не летают, собаки не бегают. Словом, в июле люди сидят по домам и ждут. Июль — месяц полного бездорожья, но зато и предчувствия больших дорог.

Удивляться не следует: в полярном календаре все наоборот. Здесь самый солнечный месяц апрель, а самый ненастный — август; здесь в октябре уже зима, а весна, робкая и измученная дальней дорогой, добредает сюда лишь в конце июня. И июль здесь — перевальный месяц, гребень года, месяц больших ожиданий и неясных тревог.

Именно в эту пору дядя Терень с Восточного берега надевает высокие белые сапоги из белужьей кожи, жирно мажет их ворванью, берет ружье, палку и табак, вскидывает на спину походный мешок и трогается в путь-дорогу.

— Куда ты собрался, дядя Терень? — удивленно встречает его сосед по промыслу, молодой парень, зимующий по первому году. — Да кто же в такую погоду ходит?

— Я хожу, — просто отвечает дядя Терень, — тринадцатый год хожу.

— Куда ты идешь, дядя Терень?

— А на Диксон.

— С ума ты сошел, старик! Полтораста километров! Оставайся дома. Скоро пароходы пойдут.

— Мил человек, — удивляется дядя Терень, — как же мне не идти? Я не пойду, кто же пойдет тогда?

— Да идти-то зачем?

— Идти надо, чудак человек! Я, брат, всю жизнь хожу. И в деревне, бывало, ходил. Кто же другой пойдет? — бормочет он, нетерпеливо поглядывая на дорогу. Ему скучно все это объяснять. — Почты не будет ли какой до Диксона? — спрашивает он, оживляясь. — Так я возьму да и пойду, пожалуй.

— Почты? — конфузится сосед. — Нет, что уж... Ну, да коли все равно идешь, захвати падырку^[1]. Тисни там... — И шепотом прибавляет: — Нехай приезжает, Настя-то...

Дядя Терень усмехается, забирает радиограмму и трогается в путь.

Он идет и бормочет в усы песню, которую сам придумал:

Долог путь до моря сизого... Эх!

Тяжек путь до острова скалистого... Эх!

Где ты, мачта, где, заветная?

Э-эх!

В тундре — весна. Звонят большие и малые ручьи. Со стоном взламываются речушки в горах. Дрожат покрытые тонкой пленкой заморозков рябоватые озерца, лужи, купели стоячей, остро пахнущей мхом и землей талой воды.

Вода всюду. Ступишь ногой в мох — и мох сочится. Тронешь мшистую кочку — и кочка сочится. Станешь робко ногой на ледок — и из-под ледка брызнет вода, звонкая, весенняя. Вся тундра сейчас — сплошное болото. Оно оживленно всхлипывает под сапогами, мягкое,

податливое, покрытое желтой прошлогодней травой и нежным весенним мхом, похожим на цыплячий пух.

Весна входит в тундру робко и неуверенно. Останавливается. Оглядывается. Испуганно замирает под неожиданным нордом, ежится под метельным остом и все-таки идет, идет... Уже сполз в лощины снег, но еще не стоял. Уже открылись забереги, но лед еще прочен. Уже появился гусь, но еще нет комара.

Подо льдом на реке свершается невидимое глазу великое движение. Гидрологи отмечают повышение температуры и падение солености воды в заливе — верные приметы надвигающейся весны.

Но на промыслах и зимовьях Восточного берега, где гидрологов нет, самая верная примета — дядя Терень.

— Скоро быть большой воде, — радостно говорят в избах. — Уже дядя Терень пошел.

Третьего дня его видели в бухте Белужьей, вчера его песню слышали на Сопочной Карге. Он идет на двадцать дней впереди большой воды. У него свои расчеты. Ни разу еще не было, чтоб они не оправдались. Делайте заметки в календаре, высекайте топором зарубки на палке — через двадцать дней в том месте, где прошел дядя Терень, быть большой воде.

Он идет по вязкому берегу и поет:

Гой ты, тундра пробужденная... Эх!
Ты, дорожка бездорожная... Эх!
Мои ноженьки промокшие...
Э-эх!

Кричит гусь в небе. За горой протяжно ревет олень. Пронзительно вопят чайки-мартышки. Полярные совы, важно раскинув свои великолепные весенние наряды, носятся над рекой, садятся на черные с прозеленью скалы. Шустрые лемминги со злобным писком шныряют под ногами. Выпорхнула из-под кочки жирная белая куропатка, побежала по снегу, переваливаясь с боку на бок, как купчиха.

— Эй, барыня, погоди! — крикнул ей вслед дядя Терень, не успевший скинуть с плеча централку.

Куда там! Испуганно закосолапила, взлетела — и нет ее!

А под ногами уже возятся проворные кулики — остроносые сплетники, попискивает куцехвостая пеструшка-салоппница в рыжей шубейке, пробежал песец, драный, облезший... И все это — живущее и оживающее — суетится, хлопочет, кричит, звенит, поет, радуется весне. Даже лед на реке ломается с радостным звоном.

Все правильно, сроки сбываются. Дядя Терень довольно улыбается в усы.

Он подходит к бревенчатому домику под медно-красной скалой.

— Эй! — стучит он в дверь палкой. — Есть хозяин дому сему?

И ждет ответа. В избе тихо. Из трубы струится легкий унылый дымок. Сугробы подле избы начали уже таять, из них выглянули на свет ржавые консервные банки. Они, как и подснежники, появляются только весной.

— Есть живая душа в доме? Отзовись! — снова кричит старик, нетерпеливо постукивая палкой.

Дверь распаивается, и на пороге появляется унылый, лохматый парень.

— Ну, здравствуй, Арсений!

— Здравствуй! — нехотя отвечает парень, пропуская вперед гостя.

— Не ладно гостя привечаешь, — укоризненно говорит дядя Терень и сбрасывает с плеч ружье и походный мешок. — Почто скучный?

Он окидывает и избу и парня внимательным, но насмешливым взглядом. На столе — ворох писем, телеграмм, фотографий: курносая бабенка, кудряшки из-под берета; вот она же в шубке, она же в сарафане, голое плечо блестит. Вот опять она же на стене. Улыбается жеманно и застенчиво.

— Угу! — произносит дядя Терень и садится на полешко у печи.

Однако он ни о чем не спрашивает. Он все уже знает, все понял. Знает и какое поручение даст ему Арсений. Стаскивает сапоги, ставит их к печи и молчит. Ждет, глядит, как бегут по стеклу мутные ручьи. Слушает, как звенит капель с крыши.

Арсений молча бродит по избе, ставит чайник на огонь, чашки, хлеб, мясо — на стол, потом тяжело опускается на табурет.

«Ну, как нынче промысел?» — надо бы спросить дяде Тереню по обычаю, но он не спрашивает. Арсений молчит, молчит и он.

— Разлюбила, — шепчет Арсений. — Ты не говори, дядя Терень, не спорь, пожалуйста...

— Я и не спорю.

— А я тебе говорю: сука она. Вот кто!

— Ты и прошлый год так говорил. Одначе ошибся.

— А теперь уж не ошибусь, нет. Две недели в этом деле разбираюсь. Все письма подобрал... Одно к одному, — бормочет Арсений. — Не ем, не пью, из избы не выхожу... все читаю... Все читаю...

— Разобрался? — насмешливо спрашивает дядя Терень.

Но Арсений не слышит насмешки.

— Вот, — говорит он, — вот. Сам гляди, старик.

Он раскладывает на столе письма. Так следовательно раскладывает вещественные доказательства.

— Вот, — суетится он, — от двадцатого ноября письмо. Первое нонче. Видишь в конце: «горячо-горячо целую»? Заметил? Горячо-горячо... А вот — девятнадцатое декабря. Вот — «крепко целую»... Не горячо, старик, а только крепко... Заметил?

— Это что ж, хуже?

— А вот последняя радиограмма, майская. Читай: «целую». Просто — целую. Без никаких. А время приметил? Мая третьего. Майское дело... Закрутилась, хахаля нашла. Ясно? — торжествующе спрашивает он. Горькое это торжество! — Нет, ты сам посмотри, сам... — И он тычет дяде Тереню письма.

Дядя Терень неторопливо достает из-за пазухи очки, напяливает их на нос. Глядит на письма. Действительно: от двадцатого ноября — «горячо-горячо целую», от девятнадцатого декабря — «крепко целую», а от третьего мая — «целую», просто, без никаких.

— Ну? — тревожно спрашивает Арсений.

Какого ответа он ждет? Утешения или подтверждения злой догадки? Дядя Терень необычайно серьезно вертит в руке письма и молчит.

— Ну? — снова спрашивает Арсений.

— Это весна... — наконец, произносит старик, — весна в тебе бушует, парень.

— Весна? — растерянно переспрашивает Арсений. — При чем тут весна?

На печи запел чайник. Дядя Терень ставит его на стол и принимается за еду. Арсений ничего не ест, вертит в руках письма.

— Ты не спорь, не спорь... — бормочет он, — я эти письма до дыр перечел. Я каждое слово в них перетряхнул, взвесил. Не зря ведь слово сказано. Каждое слово свой смысл имеет.

— Это у тебя оно нонче смысл имеет, а бабенка твоя их зря ставит. Какое в голову придет.

— Не бывает так, старик, не бывает. Слово от души пишется. Вот от двадцатого ноября письмо... Я его наизусть помню. С тяжелой душой письмо писано. Скучала по мне, видно, мучилась... — Его лицо становится добрым, нежным, серые глаза голубыми.

— Мучилась? Ну вот... — поддакивает дядя Терень и смеется.

— Потом пошли письма смущенные... будто виноватые. В чем-то был ее передо мною грех. Был. А последнее письмо — вовсе легкое. Так, без души пущенное. Пишет: в кино была.

— А что же, ей и в кино не ходить?

— Да писать-то мне об этом зачем? Я ведь в кино не хожу. Ну, ходи, ходи в кино, — кричит он вдруг в дверь, словно продолжая свой давний спор с женою. — Да пишешь-то мне об этом зачем? Сладко ль мне такое читать?

— Кровь в тебе бушует, парень, — качает головой дядя Терень. — Это от одиноческой жизни. Бывает...

В печи потрескивает плавник, обуглившиеся головешки рассыпаются, в последний раз вспыхивают ярким светом и гаснут.

— На Диксон идешь, дядя Терень? — тихо спрашивает Арсений.

— На Диксон.

Оба молчат.

— Почту возьмешь?

— Возьму.

И опять долго молчат.

— И ответа дождешься?

— Дождусь.

Дядя Терень встает и идет к койке. Расстилает тулуп, готовит постель.

— Так я напишу... дядя Терень, — нерешительно и словно виновато говорит Арсений.

— А напиши, напиши...

И, пока дядя Терень спит, Арсений сочиняет радиogramму. Он рвет листок за листком, грызет ручку, снова пишет. Его лицо попеременно отражает все человеческие чувства: от нежной любви до яростной злобы, от дикого отчаянья до тихой надежды.

Через четыре часа старик уже на ногах. Время дорого, а путь далек. Арсений провожает. Идут молча. На берегу прощаются. Арсений крепко жмет руку дяди Тереня и, заглядывая в глаза, спрашивает:

— Так ждать?

— Жди, парень, жди...

Теперь путь дяди Тереня лежит напрямик, через бухту.

Арсений долго еще стоит на высоком берегу и глядит, как бредет по льду старик, перепрыгивает через трещины, обходит забереги, проваливается в бродный мокрый снег, падает, подымается и снова идет. Мешок подпрыгивает на его спине. В мешке телеграмма.

Наконец проклятая бухта позади. Дядя Терень выбирается на берег. Отряхивает снег со штанов, с сапог, садится на кочку посуше и переводит дыхание.

Вёсны ли стали хуже, или годы уже не те, только все трудней и трудней становится старику дорога.

«Еще год-два похожу, а там и на покой!» — думает он, вытирая пот со лба и с шеи.

Небо над тундрой голубое, высокое, чуть-чуть влажное — такое, как дома в апреле. Так же пахнет земля, сырая, развороченная. Так же звенит вода. Так же кричит гусь на озере. Только жаворонка нет.

Дядя Терень, кряхтя, подымается на ноги и идет.
Вот уж снова слышится песня:

Гой ты, тундра молчаливая... Эх!
Край далекий, позаброшенный... Эх!
Где ты, мачта, где, заветная?
Э-эх!

Он идет, выбирая места посуше. Хорошо идти галькой, хуже — вязкой, жирной глиной, совсем плохо — лощинами: под тонкой, обманчивой коркой снега — студеная вода.

И когда дядя Терень идет лощиной, он уже не смотрит в небо. Небо — высоко. Вода — близко. Он идет осторожно, щупает снег палкой, трубка гаснет, песня смолкает. Тут, если провалишься, не выберешься, — снег рассыпчатый, ухватиться не за что.

Так идет он через лощины, подымается на холмы, бредет тундрой и выходит на узкую тропинку, протоптанную зверем. В рыжей глине — отпечатки копыт. След свежий. Он ведет на север, дяде Тереню по пути.

Старик идет по следу и думает:

«Что оленя на север гонит? Овод! А осенью с севера на юг? Голод. А что же человека сюда гонит? Ох, беспокойное творение человек!»

Оленья тропинка круто сворачивает вправо. Дяде Тереню надо бы прямо — и ближе и суше, — а он все идет по следу. Какой овод гонит его?

На холме он останавливается, поднимает голову и, совсем как старый, седой олень, нюхает воздух.

Пахнет влажной, сырой землей, болотом, стоячей водой, травой, перепревшей под снегом, — терпкие, ржавые запахи тундры. Ветер несет их на дядю Тереня. Только запахов зверя не слышно. Плохи у человека ноздри, зато глаза хороши.

И в лощинке, меж двух бугров, дядя Терень замечает оленя.

Олень тощий, весенний, беспокойный. Он испуганно водит головой, видно тоже принюхивается. Что-то тревожит его. Но слабы глаза у оленя — он не видит, как подбирается к нему человек с винтовкой, — зато ноздри хороши. Олень пугливо нюхает воздух. Запахи тревожные, зловещие: пахнет человеком. Олень делает испуганный скачок в сторону... Но дядя Терень уж вскинул ружье. Ветвистая голова аккуратно помещается на мушке.

Два выстрела раздаются одновременно. Олень, жалобно застонав, валится на снег, тело его судорожно дергается и затихает.

Дядя Терень не спеша идет к добыче.

Но его предупреждает звонкий ребячий голос:

— Это мой олень!

Из-за скалы выбегает паренек лет тринадцати, в огромной беличьей шапке и с ружьем.

— Это мой олень! — предостерегающе кричит он и бросается к туше.

У трупа поверженного животного он останавливается и, крепко сжав руками ружье, ждет неожиданного конкурента. Он весь ошетинился. Даже мех на его беличьей шапке стал дыбом.

Дядя Терень подходит ближе. Мальчик взволнованно ждет его, но, разглядев, опускает голову.

— Ваш олень, дядя Терентий! — грустно говорит он и отворачивается, чтобы скрыть недостойные охотника влажные глаза.

— А вот мы сейчас разберемся, Митяй, чей олень, — отвечает старик и наклоняется над

тушей.

Он сразу находит дырочку во лбу меж рогов. Дырочка круглая, аккуратная, и дядя Терень невольно любит метким выстрелом.

Однако надо найти вторую дырочку, чтоб никому обиды не было. Дядя Терень старательно исследует тушу, но второй дырочки нет. Митяй взволнованно следит за ним, сердце его колотится.

— Твоя пуля, — говорит дядя Терень.

— Моя? — недоверчиво переспрашивает Митяй.

— Твоя. В твою сторону олень глядел, твоя и пуля.

— Моя? — восторженно шепчет Митяй и вдруг кричит на всю тундру: — Моя!

— Ну, с первым зверем тебя, Митяй! — торжественно поздравляет старик. — Первый ведь?

— Первый!

— Великим охотником будешь, Митяй.

Митяй не знает, куда деваться от счастья. Ему хочется быть солидным и степенным: «Ну, убил оленя, что ж тут такого?» Но чистосердечная ребячья радость так и брызжет из его глаз. Веснушки на носу сияют, как звезды.

Дядя Терень свежует оленя. Его руки в крови. Кровь теплая.

— Пей! — говорит он молодому охотнику. — Цинжать никогда не будешь.

Митяй наклоняется к надрезу на горле оленя и пьет теплую кровь. Чтоб никогда не цинжать, чтоб быть сильным, смелым, ловким охотником.

Освежевав и спрятав оленя, оба — старый и малый — идут к избе и ведут степенную беседу, как два старых охотника.

— Как нынче промысел, Митяй? — спрашивает дядя Терень.

— Надо бы лучше, — отвечает мальчик: не пристало охотнику хвалиться, а хаять промысел не за что. — Песец нынче не тот пошел... — объясняет он важно.

— Не тот?

— Песец нынче хитрый пошел. На кроху он уж не идет. Не то что раньше.

— А ты помнишь, какой раньше песец был?

Митяй смущается. Отцова шапка совсем налезла на нос.

— Люди сказывали... — бормочет он.

— А может, и не ввали люди! — добродушно соглашается дядя Терень. — Человек умнеет, отчего и зверю не поумнеть. Ну, а план твой как?

— Я план, дядя Терень, весь выполнил.

— За это ты, выходит, молодец и ударник. А велик план-то?

Дядя Терень это из приличия спрашивает. Как и все люди в тундре, он слышал о промысловом договоре Митяя. Его сочинил веселый инструктор, объезжавший промыслы. Митяю дали ружье, лодку, участок и план: пять песцов. Стал Митяй заправским промышленником. И даже не столь ружьем он гордился, сколь планом.

— План — пять песцов, дядя Терень! Да я еще ушкана убил. Да пятерых куропаток. И олень вот. Теперь думаю на гуся идти.

— Великий у тебя оборот, промышленник! Богач ты теперь! Куда доходы девать будешь?

— Я все тятке, — смущается Митяй. — Мне ничего не надо.

— А у тятки как с планом?

— У тятки-то? У него плохо...

Старик усмехается. Но как ни в чем не бывало продолжает беседу.

— А там, помнится, в плане у тебя еще пунтик был. А? Сполняешь?

— Сполняю, дядя Терень, — неуверенно отвечает мальчик. — До дробей уж дошел.

— А не врешь?

Митяй даже обижается.

— Пес врёт, а я — человек. Хоть экзамен мне сделайте.

Тут уж черед дяде Тереню смущаться. Он чешет затылок и говорит:

— Плохого ты, брат, себе профессора для экзаменов нашел. Профессор-от сам на пальцах считает. Но ты не горюй, Митя. Однако ты свое дело знай: учись. Ученым станешь. На магистраль поедешь. Глядишь, и в профессора выйдешь.

— Нет, я лучше тут останусь, дядя Терень, — говорит мальчик и поднимает глаза на старика. — Хорошо тут!

— Хорошо?

Они вышли уже к избе. Она внизу, на берегу маленькой тихой бухточки. Далеко в залив вдается массивный горбатый мыс Ефремов Камень. Нынче он особенный. Не угрюмый, как осенью, не черный с проседью, словно кавказское серебро с чернью, как зимой, а дымчатый, даже чуть-чуть синий и легкий-легкий, почти бесплотный. Вокруг него — голубой прибой льдов, а дальше — неоглядная мирная снежная равнина. Снег серебряный, он тронут весной, в нем есть уже тусклость металла. В заливе тихо. Солнце спокойно играет в торосах. Дремлет тундра. Легкий дымок над избой да стук топора. Видно, Трофимов хозяйничает. И вокруг лежит тундра, мать сыра-земля. Да уж, сыра! Сырее и не бывает.

— Хорошо-о! — соглашается дядя Терень.

Они спускаются к избе. Трофимов зовет ее усадьбой.

Пожалуй, это единственное на всем Восточном берегу жильё, обнесенное частоколом. К чему тут частокол, Трофимов и сам не знает. Воров не водится, бродяги перевелись, волки не забегают. Да и на землю трофимовскую никто не посягает. На десяток километров окрест он один — хозяин тундры, ее единственный обитатель и добытчик.

Но он именно этот участок у бухточки огородил, обособил. Он словно оборонился от тундры: вот здесь мое, жилое, трофимовское, а там за частоколом — уж чужое, дикий край, глухое место. И изба у него, не в пример другим, аккуратная, теплая, ладная. Он пристроил к ней завалинку, баньку вывел в стороне. Плавник напилит аккуратными брусками и сложил в штабеля. Двор изрыл канавками, чтоб весенняя вода быстрее стекала. А по двору пустил гулять гусей, — еще в прошлом году он словил двух линялых и приручил их. Они бродят по двору, словно на птичнике, и уныло гогочут. Собаки к ним уже привыкли.

— Хозяйственный мужик у тебя отец-то! — говорит дядя Терень, вдыхая сладкий дым жилья, и в его голосе слышится не только одобрение, но и снисходительность, совсем такая же, как у Митяя, когда он говорит об отце.

Они застают Трофимова во дворе. Он возится с топором подле нарты. Над быстро высыхающей землей двора поднимается теплый весенний пар. И кажется, что Трофимов не нарту чинит, а борону ладит к весне.

— А я оленя убил, — кричит Митяй. — Сам убил. Дядя Терень видел.

— Ишь ты! — удивляется отец и, здороваясь с дядей Терентием, говорит, указывая на сына, словно извиняясь: — Охотник растёт. Дикой.

Он ведет дядю Терентия показать прибыль в доме: дочку.

Дочке — три месяца. Она спит в люльке, подвешенной к матице^[2], и во сне сладко причмокивает губами. Люльку Трофимов смастерил сам.

Пока трофимовская хозяйка возится у печки, мужчины курят и беседуют. Разговор — хозяйственный, заводит его Трофимов. Он душевно рад, что случился собеседник, есть пред кем похвалиться планами. Планы большие: затеяно избу перестроить, баню расширить, катух для

собак сделать новый...

— Да тебе бы города строить, Трофимов! — смеясь, перебивает дядя Терень. — Какой ты охотник? Ты — человек-строитель.

— Вот и строю, — гордо улыбается Трофимов.

Хозяйка ставит на стол еду. Мужчины прячут трубки за голенища и берут ложки.

— В газетах пишут, — говорит меж борщом и жареной олениной дядя Терень, — а мне люди пересказывали, будто ученые такое удобрение придумали, что можно и в тундре хлеб сеять.

— Оно хорошо-о! — оживляется Трофимов. — Земли-то тут — боже ты мой! Если ее поднять, да вспахать, да засеять... — Он даже замирает в восторге, но потом, махнув ложкой, заканчивает: — Только, полагаю, врут люди. Земля насквозь мерзлая, ее удобрением не возьмешь, — и прибавляет, вздохнув: — А земли много!

После сытной еды разговор стихает. Хозяйка нянчится с дочкой, Митяй, видно вспомнив приписочку к договору, сел за книгу. Подпер кулаками щеку, читает, шевеля губами. Да нет-нет и бросит взгляд в окно — взгляд птицы в клетке. Трофимов вышел на минутку по хозяйству, со двора доносится стук его топора.

А дядя Терень сидит у огня и задумчиво курит. В усадьбе Трофимова тепло и домовито. Пахнет щами, мокрыми пеленками и овчиной, — запахи деревенские, беспокойные. И дядя Терень думает о том, что скучно бобылю жить на свете.

«Хорошо бы, вернувшись к большой воде домой, застать в своей избе... ну — дочку, что ли... аль сына... внуков... А то вернешься домой, а изба-то и не топлена».

Такие мысли всегда приходят ему в голову, когда он гостит у Трофимова.

Ночью дядя Терень уходит дальше. По ночам идти легче — подмерзает. Трофимов вручает ему телеграмму и просит лично проследить, чтобы передали всю. В телеграмме обстоятельно изложено, что из припасов надо завезти Трофимову на новую зиму. Список длинный.

Хозяйка набивает торбу дяди Тереня едой и просит добыть на Диксоне сгущенного молока.

Митяй идет провожать старика.

— А тебе, Митяй, чего принести? — ласково спрашивает дядя Терень.

— Книжек мне. Я свои все выучил.

— А еще что?

— А еще... — глаза Митяя загораются, — а еще нож, дядя Терень. Такой, как у вас, чтобы зверя разделывать, — и, озабоченно наморщив лоб, прибавляет: — совсем без ножа плохо, не обойдусь.

К утру дядя Терень уже далеко за Ефремовым Камнем.

Камень пришлось переваливать поверху. Сунулся было старик в залив, да там у берегов такая весенняя кутерьма, что и не пройдешь. Дядя Терень даже испугался: не ошибся ли в сроках? Весна, выходит, ранняя.

«У нас дома уже небось давно и отпахались и отсеялись! — умильно думает дядя Терень. — Озимь уж, поди, в трубку пошла. Какая-то весна была дома? Хорошо б дружная!»

И он вспоминает родную сторонку. По привычке, он все еще говорит: у нас дома, в деревне. А в деревне, поди, никто уже и не помнит его. Кто помнил, забыл, а кто не знал, тому и вовсе дела нет до того, есть на свете дядя Терень или нет его.

Только дядя Терень все помнит, что губернии он Пермской, уезда Шадринского, а здесь он человек пришлый, временный, хоть и живет тринадцать лет.

Охотничьи дела и крестьянские заботы — все смешалось в дяде Терене, он и сам не знает, какие ему ближе. А тут еще с бабенкой Арсения хлопоты. И Трофимовой — молоко, и Митяю — нож. Вот Митяй — уж тот свою линию знает. Он не шадринский, нет.

Так размышляя, идет дядя Терень по тундре, и каждый камень ему тут знаком, каждая дверь открыта, каждое сердце распаивается перед ним радушно и доверчиво. Он входит в чужие избы, и сразу же чужая жизнь, чужие дела и заботы становятся его делами и его заботами.

«А Митяю — нож, — думает старик, подходя к избе Жданова. — Я уж знаю, какой ему надо! Ножны из моржовой кости, а черенок черный витой».

Жданова в избе нет. В дверь воткнул охотничий нож, на ноже записка:

«Дядя Терень! Олень на печи, табак на столе, чарка — сам знаешь где. Скоро приду.

Жданов».

Дядя Терень не огорчается. Он не ждал, что в погожий, солнечный день застанет Жданова дома. Как Трофимов всегда на своей заимке, так Жданов всегда на промысле. Дядя Терень уж привык хозяйничать в избе Жданова без хозяйки.

Жилье Жданова — убогое, холостяцкое. Только оружия много. Оно и на стенах, и на матице, и в углах.

В холодных сенях висят песцы. Дядя Терень треплет рукой пушистые хвосты, белые с искрой, и улыбается. Теперь хоть и не приходи Жданов, — дядя Терень знает, какую радиограмму надо давать.

Так уж повелось с давних пор: входя в сени Жданова, первый взгляд дядя Терень всегда бросал в «закрома» — каков урожай пушнины? Если урожай хорош, Жданов еще на зиму останется на промысле, если же год был плохой, непромысловый и Жданову нечем покрыть взятый аванс, — он вернется на магистраль.

В должниках Жданов ходить не любит. Первокласный механик, он уходит тогда на завод и целый год отрабатывает свой долг. В это время он ни с кем не говорит о промысле, о тундре, — он только механик первой статьи, профессор своего дела. Но год прошел, долг покрыт, и Жданов, аккуратно завернув инструмент в тряпку, берет на заводе расчет и снова идет на промысел. Потому что не механика, а охота — профессия его души.

Вот отчего дядя Терень, заглянув в «закрома», безошибочно мог сказать: нынче Жданов на промысле останется.

Кроме песцов да оружия, в жилье Жданова смотреть нечего, и дядя Терень, найдя на печи оленину, в заветном месте — спиртишко и на столе — табак в кисете, заправляется и ложится спать. Спит крепко, без снов.

К вечеру с промысла возвращается Жданов. Согнувшись, входит в избу, ставит в угол ружье, отстегивает и бросает на пол пояс, на поясе добыча — гуси.

— Пришел, добытчик! — весело встречает его дядя Терень. — Еще не всю дичь в тундре истребил?

— Не всю, — усмехается Жданов. Улыбка у него неумелая: глаза больше смеются, чем губы.

— А то, говорят, — продолжает дядя Терень, — зверье на тебя жалобу писать собирается. Нет, говорят, жизни от Жданова.

Жданов раздевается, моется и садится за стол. Присаживается и дядя Терень, предвкушающий беседу. Потому что всякий полярник скажет: хороша чарка с морозу, баня — с дороги, но слаще всего беседа с умным человеком, за трубкой.

И старик неторопливо начинает беседу о промысле. С каждым человеком надо о главном говорить: с Трофимовым — о хозяйстве, с Арсением — о женщине, со Ждановым — об охоте, других разговоров с ним начинать не стоит — отмолчится.

— Вот уж и гусь пошел, — говорит дядя Терень, заглядывая в серые глаза Жданова. (Это — приглашение к разговору.)

— Какой это гусь? — усмехается Жданов. — Это гусь несамостоятельный. Настоящего гуся еще нет.

— Пойдет скоро. В Широкой уж лед взломало...

— Да-а? — неохотно переспрашивает Жданов, и беседа угасает, так и не разгоревшись, словно костер из сырых сучьев.

Ну что ж, с умным человеком и помолчать приятно. Оба попыхивают трубками и смотрят в огонь.

Но вот Жданов что-то бормочет себе в усы.

— Ась? — переспрашивает старик.

— Я говорю, — бурчит Жданов, не подымая головы и глядя в пол, — ты не знаешь ли, какие цветы есть на земле?

— Цветы?

— Цветы.

— Это к чему же, цветы? — недоумевает дядя Терень.

— Так. Любопытствую.

— Цветы! — усмехается дядя Терень. — Ишь ты, цветы... Мил человек, да я ведь тринадцать лет ни единого цвета не видел.

— Вот и я — хоть и видел, а ни к чему было, и я не упомянул.

— Цветы, — крутит головой дядя Терень, а сам спешно соображает: «Зачем это Жданову понадобились цветы? Не зря спрошено, не таков человек».

— Цветы, — говорит он меж тем, — цветы всякие есть. Вот есть цветок роза. Так и звание у нее — королева цветов. Еще фиалка, иван-да-марья тоже есть. Это наш цветок, деревенский.

— А еще?

— Еще? Что ж еще? Петунья цветок бывает. Опять же ландыш. Бывало, пойдешь в лес, а уж он, мил друг, колокольчик-то, из-под елки и кажет и кажет. Словно звенит.

— Нет, это не то...

— Не то? Ну, тогда василек, он на венки девкам идет. Ромашка. Потом роза...

— Розу ты уж говорил.

— Говорил? Ишь ты! Ну, левкой, резеда, тюльпан. Важный цвет — тюльпан. Он на грядке, точно исправник, надутый, спесивый.

— Пион еще, — говорит Жданов. — Помню, цветок был такой — пион. Алый. Георгины еще есть, астры, розы.

— Розу я говорил...

— А, да. Хорош цветок роза?

— Хорош. Да к чему тебе-то?

— Нет, это я так.

Он умолкает. Теперь уж молчит прочно.

Дядя Терень собирается в дорогу. Жданов пишет телеграмму.

— Хороши песцы у тебя нонче, Жданов, — говорит дядя Терень таким тоном, как говорят: «Хороши огурцы у тебя нонче, Жданов». — Полагаю так, что первого сорта не меньше половины, а?

Но Жданов молчит и пишет.

— Хорош был год, — продолжает дядя Терень, переобуваясь. — Каков-то будущий год? Год на год не приходится. У тебя как капканы, ничего? Ремонту не требуется?

Жданов поднимает голову и говорит, не глядя на дядю Тереня:

— Уезжаю я...

— Что?

Дядя Терень опускает сапог.

— Как? — переспрашивает он почему-то шепотом.

Жданов протягивает ему телеграммы.

Их три: две в контору, в них сообщается о желании Жданова уехать с промысла, третья — в Москву.

«Тресту зеленого строительства, — читает заголовок дядя Терень. — Прошу пятого июля послать корзину роз стоимостью сто рублей адресу Арбат 32 квартира 8 Татьяне Логиновой Деньги вам переведены конторой Таймыр-треста

Охотник Жданов».

Дядя Терень долго смотрит в телеграмму. Жданов стоит подле него. Оба молчат: Жданов — смущенно, дядя Терень — укоризненно.

— Что ж, ответа ждать? — наконец, спрашивает дядя Терень.

— Нет, — тихо отвечает Жданов.

Потом, качая головой, прибавляет еще тише:

— Ответа не будет.

«Что ж это делается, люди добрые? — растерянно думает дядя Терень, бредя по тундре. — Что ж это делается на земле? Жданов бабе цветы шлет!»

Совсем сбитый с толку, он идет вдоль русла реки и размышляет:

«Кто эта Логинова? Жена Жданову или знакомая? Отчего же ответа не ждать? Отчего ответа не будет?»

«Вот и Жданов... того, — огорченно думает дядя Терень, — закружил человек. А какой охотник был! Какой мужик был! Что ж это за сила такая — женщина?!»

Он поднимает глаза на реку, словно ждет от нее ответа.

Но река знай звенит свое. Над ней носятся бесноватые птичьи стаи. Ликующий весенний гомон стоит в воздухе. С каждого камня несется птичий крик. Словно камни поют.

За мысом дядя Терень догоняет белушатников. Их человек сто, они идут скорым маршем по льду, торопятся на зверобойку, на зимовья не заходят, греются и едят у костров на берегу. До Широкой они доплыли по Енисею за ледоходом, дальше лед не пустил, идут пешком.

Дядю Тереня они встречают радостно: многие знают старика. Они окружают его шумной толпой, со всех сторон тянутся руки и кисеты.

— Чтой-то вас много нонче, — смеется дядя Терень, окидывая взглядом пеструю толпу зверобоев. Он замечает в ней много незнакомых молодых лиц. — Колхозники? Ну, а как дома-то? Отпахались?

По случаю встречи объявляется привал прямо на льду. Люди располагаются у большого костра и наперебой расспрашивают дядю Тереня:

— Ну, как нонче — белухи много будет?

Дядя Терень сердито огрызается:

— Колдун я? Откуль мне знать?

— Колдун, колдун... — смеются зверобои, — ты приметы знаешь.

— Приметы! — сердится старик. — Если голова на плечах есть — «примета»: человек умный. Ничего вам не скажу, скажу одно: сайки нонче много.

— Это к чему же... сайка? — робко спрашивает молодой парень с пухлыми губами. Он,

видно, и впрямь считает дядю Тереня колдуном.

— Непонятно тебе, сосунок? — хмурит старик косматые брови (глаза смеются). — Задача! Сайка — рыбешка маленькая, с палец; белуха — зверь большой, с корову. Вот и пойми, что от чего зависимость имеет. — Он с удовольствием замечает, что парень-сосунок даже рот в изумлении открыл, и с торжеством заканчивает: — А вот и отгадка. Что зверь, что рыба, что человек — всяк за пищей ходит. Белуха — за сайкой, песец — за пеструшкой, человек — за зверем. Так-то, сосунок.

Зверобои зовут дядю Тереня идти дальше с ними.

— Вместях веселей! — говорят они, не желая расставаться с веселым стариком.

Но он только качает головой в ответ.

— На том спасибо! Однако мне в сторону свернуть надо. К хозяину тундры на поклон пойду.

— К деду Курашу? — удивляется начальник партии. — Жив еще старик?

— Всех переживет! У стариков кость крепкая.

Он говорит это с гордостью. Подымается на ноги, берет палку и глядит, прикрыв глаза ладонью, на восток, туда, где синеют горы.

— Пойду! — говорит он просто и, не попрощавшись, взмахнув палкой, уходит.

Зверобои долго смотрят ему вслед.

А он идет, высокий, прямой, тощий, и нет износу ни ему, ни его сапогам из белой кожи.

Он не поет сейчас, не смеется в усы, не наклоняется над травинкой и камнем. Он идет на поклон к хозяину тундры, робкий, почтительный, такой, как и тринадцать лет назад, когда впервые шел к деду просить совета, покровительства и благословения. Вот и речушка, которую даже на картах называют речкой деда Кураша, вот и жилье.

Дядя Терень тщательно обивает у порога снег с сапог и входит.

Дед Кураш лежит на кровати в чистой белой рубаше, торжественный и светлый. Эта торжественность пугает дядю Тереня, он поспешно снимает шапку, торопливо кланяется.

— А-а! — приветствует его дед Кураш. — Лешак-шалопут пришел! Все ходишь, молодой человек?

— Хожу, Егор Кузьмич.

— А я, брат, лежу.

Бабка Дарья с грохотом ставит горшок в печь.

— Ты не плачь, — сердито кричит ей дед, — не плачь, слышь? Не люблю.

Но бабка и не плачет (она плакать не умеет).

— Каменная, — ворчит дед, — хоть слезу б уронила. Муж ведь помирает. Не кто-нибудь.

— Я те помру, я те помру, черт! — кричит вдруг бабка. — Ишь время нашел!

— Не я, мать, время нашел, — укоризненно, но мягко выговаривает ей дед Кураш. — Это, мать, меня время нашло. Уж в такую глушь я от него спрятался, а вот нашло-таки...

Дядя Терень осторожно подходит к постели и присаживается на табурет. Он хочет закурить трубку, но не решается. Надо бы что-нибудь сказать, да слов нет. Он вдруг чувствует, что точно: тринадцать лет пролетело, как одна минута... Неужто помрет дед Кураш?

— Да, пожито, — говорит дед Кураш.

Ему хочется поговорить перед смертью, наговориться досыта, надо много сказать: много прожито, много думано было (в тундре думается хорошо), много вызнано, — все надо рассказать, все. И дед Кураш сердечно рад, что пришел к нему человек, пришел послушать старика, — вот и умирать легче.

— Да, пожито... — говорит он, вздыхая. — Пора и того... на тот свет аргишить ^[3].

— Рановато бы еще... — робко вставляет дядя Терень.

— Не рано, молодой человек, чего уж! А прямо, скажу: не хочется. Ведь кто помирает, а? Дед Кураш помирает. Здешних мест владетель. А? Так я говорю?

— Так, так...

— То-то! Пришел я сюда, здесь следа человеческого не было. Было это... Эй, Дарья, в котором мы году пришли?

— В девятьсот втором, старик.

— Вишь. Тридцать лет и три года. Пришли мы сюда с бабой да с дитем. Огляделись. Медвежий край. Баба плачет.

— Врешь, не плакала я.

— Плакала. Ты, черт, слезливая. Плакала, тебе говорю. А я на нее — цыц! Нишкни! Не плакать, дура, надо — петь надо. Ты кто на деревне была? Ты раба была. Всем раба. Помещику — раба. Уряднику — раба. Старосте — раба. Мужу — раба. А здесь? Мы, говорю, с тобой, Дарьюшка, здесь сами помещики, сами цари. Ишь простор какой! От станка к станку сотни верст. А что зверя! Что птицы! И воля! Хошь пей, хошь бей, хошь слезы лей — все на своей воле.

Он задумчиво опускает голову на грудь и долго молчит. Дядя Терень боится нарушить его думы и молчит тоже. Бабка Дарья, нахмурившись, стоит у постели и, подперев кулаком подбородок, смотрит на мужа. Ее лицо точно из камня, и глаза сухие, но у губ сложились две морщинки, и в них все: и великая нежность и великое горе.

— Ты слушай, слушай меня, молодой человек, — вдруг сердито кричит дед Кураш, — ты не перебивай... — Он поводит злыми глазами. Ему кажется, что он все время говорил, а не думал про себя, а его не слушают, перебивают.

— Я и то... молчу... — испуганно оправдывается дядя Терень.

— Не перебивай! Я худому не научу. Не ты один приходил ко мне уму-разуму поучиться. Ты слушай.

И он начинает долгий рассказ о том, как полюбились ему это глухое место, эта речушка и камни на ней, как поставил он избу, а подле избы — капканы, как стал он постигать премудрость тундры и других учить промыслу, как стали к нему люди за советом ходить, а сам он — ездить за умом к ненцам («потому врут, что они — дикий народ, они — самые мудрые люди на земле»), и теперь он может многому научить людей («случись ученый тут, большущие книги мог бы он с моих слов написать»), — да вот умирает, и промысел передать некому. Народила Дарья ватагу ребят, а где дети?

— Где у нас Сережка, Дарья?

— Сереженька на зверобойке, дед.

— А Петрушка где?

— Петрушка на Мурмане летает.

— А Васек?

— Васек на Челюскинском мысу.

— Шалопуты! — ругается дед. — Шатаются по белу свету, а отец помирает один.

— А ты подожди помирать-то, дед, — вкрадчиво говорит дядя Терень. — Сынов дождись. Я их тебе всех соберу.

— Подождать! Это, брат, молодой человек, не от меня зависит. Это как еще смерть резолюцию положит. Однако сынов дождусь, — говорит он вдруг и решительно обводит всех сердитым взглядом. — Опять плачешь, Дарья? Что ты меня раньше время хоронишь? А ты чего, черт, лешак, приуныл? Разве так деда Кураша привечают? Играй песню, песельник. Ну!

Бабка Дарья в возмущении даже руками всплескивает.

— Ты чего выдумал? — кричит она. — Чего выдумал?

— Играй песню, Терень! — властно приказывает дед; и дядя Терень, как и тринадцать лет

назад, откашлявшись, запекает песню:

Гой ты, тундра бесконечная... Эх!
Нам родная мать — не мачеха... Эх!
Наша волюшка — привольная...
Э-эх!

Дед Кураш слушает его, качает в такт бородой, но голова его все ниже и ниже клонится к подушке. Он закрывает глаза и тяжело дышит.

Дядя Терень испуганно обрывает песню и бросается к старику. Дед что-то шепчет, дядя Терень с трудом разбирает слова:

— Сынам напиши... пусть поторопятся... Не смогу я их долго ждать...

С тяжелым сердцем уходит дядя Терень из избы Егора Курашева. И кажется ему, что и дорога стала труднее и ноги слабее.

«Тоже ведь смерть не за горами. Все мы подле ее капканов ходим, и неведомо, когда тебя ее давка придавит».

А тундра звенит и поет. Вот и хозяин умирает, а ей дела нет. Все идет своим чередом: вскрываются реки, тает снег, бегут в залив ручьи, нерпа просасывает во льду лунки, все идет своим порядком. Трофимов о новой бане хлопочет, Митяй — об охотничьем ноже, Арсений мучится ревностью, а Жданов — любовью, сосед Настю ждет, чайка кричит, песец бежит, нерпа на солнце греется. И, если дядя Терень помрет, все будет ждать свою Настю сосед и обрадуется ей, когда она приедет.

Наконец вдали засинел мыс Лемберова. Здесь последнее зимовье на пути к Диксону.

Так и на карте показано: мыс Степана Лемберова. А ведь Лемберова дядя Терень лично знал, не раз с ним подле спиртишка грелся. Был Степан Лемберов простой человек, тобольский плотник и объездчик собак, прожил долгую бродячую жизнь на севере, участвовал в первой экспедиции Циглера на землю Франца-Иосифа, а потом в экспедиции на «Герте», разыскивавшей Седова, жил на Диксоне, построил баню, а в 1920 году умер. На его могиле и сейчас крест из серого плавника, а на карте напечатано его имя.

И деда Кураша имя есть на карте. Может, и бухточку, где живет дядя Терень, когда-нибудь назовут его именем? Все-таки без следа не исчезнет с земли человек, не растает, как снег весною.

Так размышляя о жизни и смерти, подходит дядя Терень к избе Повойниковых.

Согнувшись, входит в низенькие сени, распахивает дверь, из-за которой доносятся крики и плач, и попадает в драку.

Не отскочи он в сторону, быть бы старику покойником: мимо него со свистом проносится табуретка, шлепается о двери и разлетается щепками.

Дерутся братья Повойниковы: у младшего лицо исцарапано в кровь, у старшего по губе течет алая струйка и глаз припух. Бабы визжат и тоже лезут в драку. Баба старшего, худая, злющая, растопырив пальцы, насакивает на противницу, ее когти страшны; баба младшего, пухленькая, маленькая, в растерзанной кофточке, обороняется чем может, но больше слезами.

— Мир дому сему! — хмуро произносит дядя Терень и сбрасывает мешок с плеч.

Повойниковы сразу стихают. Бабы поспешно застегивают кофточки, младшая прячется за занавеску. Братья вытирают кровь с лица и смущенно отворачиваются. А он молча проходит к столу, медленно опускается на табурет и кладет на стол руки.

— Весна нонче ранняя... — говорит он, словно ничего не видел. — В Широкой лед

взломало третьего дня. Белушатники говорят: нынче у Горла лед. — Он обводит избу равнодушным взглядом: поломанные табуретки, поваленные лавки, люльку, в которой младенец плачет, и тем же тоном спрашивает: — Ну? Чего не поделили?

Старший Повойников — огромный, нечесаный, ленивый мужик страшной, тупой силы; младший — проныра и жулик. Вероятно, задирает младший. Он же и бывает битым. Жена старшего — баба-ведьма, жена младшего — овца и дура. Вероятно, заводит старшая, она и подзуживает мужа. Все это дядя Терень знает и спрашивает без надежды помирить братьев и их жен.

Младший Повойников первый начинает выкладывать свои обиды. Говорит он визгливым, бабьим голосом, бросая злые взгляды на брата и на его жену. Старший смущенно молчит, за него говорит его жена. Она всех перекрикивает и сыплет на дядю Тереня ворох сплетен, обид, — все это житейские мелочи, все от шершавости быта. Изба — тесная, а люди — колючие, словно ежи в норе.

В таком деле судьей быть трудно. Но дядя Терень честно пытается разобраться во всем.

— Стойте, граждане, — строго говорит он, надев очки. — Давайте по порядку. Так что ты говоришь, Семен, о капканах?

Но его перекрикивают голоса спорщиков, и он, безнадежно махнув рукой, умолкает и снимает очки.

Спор разгорается с новой силой. Визгливо кричит Повойников-младший, размахивает руками и все время обращается к дяде Тереню, бросая косые взгляды на жену брата. Хрипло ругается жена старшего, шипит из-за занавески жена младшего. Наконец и старший Повойников, все время молчавший, не стерпев, бьет кулаком по столу и орет неведомо что, всех перекрывая своей могучей глоткой. Теперь уж быть драке.

Но дядя Терень, про которого в шуме совсем забыли, слышит плач в углу, встает, подходит к люльке, наклоняется к младенцу и говорит сердито:

— Эх, люди, люди! Дите разбудили... Родители!

Оттого ли, что сказал он это с сердцем, оттого ли, что ссора вдруг выдохлась, но Повойниковы сразу стихли.

И во внезапно наступившей тишине слышно, как плачет ребенок. Он плачет настойчиво и обиженно.

У Повойниковых дядя Терень не задерживается. Некогда, да и не хочется.

В сенях младший брат торопливо сует старику записку.

— Пошли телеграмму, — возбужденно шепчет он, — нехай разведут нас с братом. Убьет он меня.

Старший догоняет дядю Тереня уже за мысом. Он снимает шапку и протягивает старику бумагу. Дядя Терень, не читая, кладет телеграмму в мешок.

— Эх, люди, люди! — качает он головой. — Звери в берлоге.

Повойников смущенно опускает лохматую голову.

— Не осуди! — хрипло просит он и разводит руками.

Долог путь до моря сизого... Эх!

Тяжек путь до острова скалистого... Эх!

Где ты, мачта, где заветная?

Э-эх!

Вот и заветная мачта выглянула из тумана. Вот и черные скалы. А за скалами уж и море

сизое. Путь окончен.

Дядя Терень входит в бухту Диксона. Снег со льда сошел, и бухта — как двор хорошего хозяина — чистая, точно метлой выметенная. Только в ямках во льду чернеет мусор, но и он сверху покрыт тонкой, прозрачной ледяной коркой... Похоже на стеклянные шары, украшение комодов.

Первым делом дядя Терень отправляется на радиостанцию. Здесь вытряхивает он свой мешок и наблюдает, как несутся в эфир и заботы Трофимова, и ревность Арсения, и любовь Жданова. Вот последняя радиограмма отстукана. Теперь дело дяди Тереня — ждать. И слушать.

Он сидит в кают-компании, окруженный полярниками, прихлебывает кофе из большой кружки, лакомится засахаренным лимоном и слушает. Слушает он жадно, все нужно знать ему: и что на свете делается, и какие караваны идут, и где нынче лед. По целым часам сидит он подле репродуктора, окутанный облаками табачного дыма, подолгу простаивает у карты, на которой флажками расцвечены пути кораблей. Расспрашивает синоптиков, радистов, моряков с зимующего лихтера. С ним люди разговаривают охотно, он умеет и спросить, и послушать, и свое слово вставить. Он ничего не записывает, — такой моды у него нет, он и не знает, что можно новости записывать, но что он услышал и понял, то запомнил прочно. Кок говорит, что дядя Терень совсем «нафарширован новостями», — а старику все кажется, что узнал он мало.

Однако засиживаться на Диксоне нельзя. Весна торопит: ныне она ранняя. Она уже во всей красе: дожди и туманы. Это и есть полярная весна. Дядя Терень озабоченно прикидывает в уме сроки: обратный путь будет во много раз труднее.

— Летуй с нами, дядя Терень, — предлагают радисты.

— Мне, мил человек, летовать здесь никак нельзя, — отвечает он. — Меня люди ждут.

Однако и уходить никак невозможно. Вот уж со всех концов получены ответы на телеграммы, только от бабенки Арсения все нет и нет.

— Экая бабенка какая непутевая, — злится дядя Терень, но не уходит с острова, ждет: как без радиограммы к Арсению явишься?

Тоскливо глядит он, как тает под дождем лед на бухте, — он весь уж в дырочках, точно сыр. Почернел и съезжился снег на северных скатах гор. А ответа от бабенки все нет. Пролетел над островом первый косяк гусей, это уж гусь самостоятельный, — а ответа нет. Все сроки вышли, нет и нет ответа. Радисты решили подсобить дяде Тереню в беде.

— Мы ее к телефону вызовем. Врет, явится.

И точно — на другой день дядю Тереня вызвали на рацию.

Он очутился перед микрофоном и услышал женский голос:

— Алло! Я слушаю...

Старик даже растерялся. Ведь это что, ведь это из Москвы голос... Ведь это он сейчас скажет, а в Москве услышат. Тут зряшное слово сказать нельзя, тут весь мир тебя слышит.

— Алло! — нетерпеливо зазвенел в ухе женский голос. — Ну, что же вы не отвечаете?

«Капризная дамочка», — подумал дядя Терень и вдруг рассердился: экая баба! Еще кричит. Лед вот-вот тронется, а тут все сиди, ее листика дожидайся.

— Я мужу вашему сосед... — сказал он в микрофон, не уверенный, что слова его услышат.

— Ах, сосед! Очень, очень рада. Ну, что он, как, бедненький мой? Ах, знаете...

— А то, что нехорошо вы делаете, милая дамочка. Нехорошо, — сказал дядя Терень в микрофон и даже головой покачал. — Я тебе это по-стариковски скажу, попросту. Кабы ты дочка моя была али сноха, я б... — и тут диктор дернул его за рукав, и он остановился. — Ну, то-то, — проворчал он.

— Я не понимаю, — сконфузилась бабенка. — Что это вы говорите?

— А то говорю, — сердито закричал в микрофон дядя Терень, — что нельзя так. Муж тебе,

баба, не игрушка, вертеть им тоже нечего. Радиogramму получила, сказывай?

— Получила....

— А ответ, что же? Я, бабонька, тут прохладжаться не могу. Да и муж ждет. Муж он тебе аль кто?

— Ну, муж...

— А коли муж, уважение к нему иметь надо. Хоть и муж, а все человек он. Тоже сердце имеет. Не пар. Тебе хаханьки, а он не ест, не пьет... сна решил.

— Я напишу, напишу... — заторопилась женщина. — Я сегодня же... Ах он глупый!

— Чего напишу? — закричал дядя Терень. — Нет у меня больше сроку ждать. Ты это понять можешь: скоро лед пойдет. Лед. А... — махнул он рукой. — Что ей про лед толковать-то...

Радисты, корчившиеся от смеха во время этого разговора, и тут решили подсобить дяде Тереню.

— Гражданка, — сказал в микрофон диктор, — вы продиктуйте радиogramму, а мы ее передадим с соседом.

— Только чтоб хорошую телеграмму, — проворчал дядя Терень. — Плохую не понесу.

Радист стал записывать: «Я жива, здорова, по тебе очень скучаю...»

— Скучаешь, как же, — буркнул старик, — ты еще про кино напиши.

«...очень скучаю... жду тебя не дожусь. Деньги получила, но все уже вышли. Но это ничего, хотя трудно мне. А затем оставайся здоров, себя береги. Целую. Твоя Фрося».

— Нет, нет! — закричал дядя Терень что было силы. — Не беру такую телеграмму. Не беру.

— Что ты, дед? — удивились радисты.

— Просто «целую» не беру. Пушай крепко-крепко, горячо целует, тогда понесу. Шалишь!

— Ну, крепко... крепко... горячо, — пролепетала Фрося в эфир. — Какие вы странные!

Радисты вписали: «крепко-крепко, горячо», и довольный дядя Терень через час шагал со своим мешком за плечами по бухте, трогал лед палкой и пел.

Теперь только бы поспеть домой к большой воде! Дядя Терень идет скорым маршем, где можно — напрямик через тундру, где нельзя — напрямик через залив. Он торопится. Надо успеть опять на все зимовья зайти, всем письма раздать и выложить то, что всего важнее, — новости. Капсе, как говорят якуты; пынел, как говорят чукчи.

Великое дело — новость! Человек, принесший новость, — нужный, желанный человек в тундре. Ему — красный угол в избе, ему — почетное место у котка.

Но дядя Терень не чванится новостями, он ими не торгует. Он щедро раздает их встречному-поперечному, и они, сразу став крылатыми, летят по тундре. Новости важные, нужные: о том, где лед идет нынче, и когда каравана ждать, и чем баржи гружены, и какие люди едут, и какие цены на зверя везут, и какие порядки ожидаются. Все дядя Терень узнал; все, что узнал, роздал.

В избе Повойниковых дядя Терень нежданно-негаданно застал мир. Он глазам не верит: за столом дружно сидит вся семья, лица у всех праздничные, светлые, бабы в розовых кофтах, старший Повойников причесан, у младшего на лице умиление, царапины позажили.

— Мир дому сему! — бормочет дядя Терень и уж раздумывает, отдавать или нет радиogramмы из конторы.

— Дядя Терень пришел! — радостно визжат обе бабы и тащат старика к столу.

Ничего не понимая, он садится, обводит всех глазами: мир, мир написан на всех лицах, — и, обрадовавшись, поднимает чарку.

— Ну, — говорит он, — чтоб и нам, и вам, и всем добрым людям! — И пьет.

Обед проходит шумно и дружно. Но после обеда младший отзывает старика в сторону и

спрашивает:

— Ну, как?

— Принес вам развод, — нерешительно говорит старик. — Аль невпопад.

Младший задумывается. Потом говорит:

— Однако давай.

Старик отдает радиogramму из конторы: младшему оставаться на мысе Лемберова, старшему переселяться на зимовье Жданова.

— Это как же? — вдруг громко произносит младший. — Отчего же Ивану ехать? Это и я очень просто могу поехать.

Все в избе настороженно затихают.

— Ишь ты! — криво усмехается младший. — Ивану лафа какая. Промысел Жданова известный, с нашим не сравнить.

Швыряет телеграмму в лицо старшему и шипит:

— Вперед забежал? Ловкой!

Старший Повойников еще и разобраться ни в чем не успел, а жена его уж вцепилась в Семена, а Семенова баба — в него. Драка вспыхивает сразу, трещат бабьи кофты, летят табуреты...

— Стойте! Стойте! — надывается дядя Терень. — Люди вы аль не люди? — Он кое-как выбирается из драки, хватает мешок и ружье. — Тьфу! — плюет на пол и скорее вон.

«Что за люди! — недоумевает он, оставшись один. — Тундра широкая, а им тесно...»

Однако некогда размышлять о Повойниковых. Некогда думать. Теперь только смотри да смотри. Лед тончает, забереги стали огромными, что полыньи, тундра топкая, вязкая, под каждым камнем — лужа, реки вскрылись, разлились, трудная дорога, мокрая.

А времени мало!

«Застану ли еще деда Кураша в живых?» — озабоченно думает дядя Терень.

Деда Кураша он застает подле избы. Старик лежит на лавке, греется на солнышке.

— А-а! — встречает он дядю Тереня. — Долго ходишь, молодой человек! Бывало, раньше шибче ходил.

— Оно раньше ноги ходчее были, — шутит дядя Терень, — теперь самоходы мои выходились. Надо себе автомобиль заводить.

— Заведи, заведи. Ну, как сходил? Счастливо?

— Ничего. Приедут к тебе, Егор Кузьмич, сыновья. Ты дождись!

— А-а! — усмехается дед в бороду и не может улыбки скрыть. — Приедут-таки, шалопуты. Испужались. А вот возьму да, не дождавшись, помру. А? — И он смеется своей угрозой.

Дядя Терень начинает выкладывать новости. Сперва государственные, политические.

— Вот в Москве под землей дорогу выстроили, — сообщает он, — называется метро.

Но деда Кураша новости московские не интересуют. Раз и навсегда он ограничил свои интересы делами Арктики. Здесь его изба, его промысел, его дети.

— Ну, как там... какие полеты будут? — спрашивает он.

«Это про Петрушу вопрос», — отмечает про себя дядя Терень и рассказывает о полетах.

— А что про зверя слышать? Как нонче белуха идет, как нерпа, как морж?

«А это про Серегу», — догадывается дядя Терень и рассказывает о зверобойке.

— Так, так, — одобрительно кивает головой дед. — И о полярных станциях слышал? Как нынче на Диксоне? Али, например, на Челюскином мысу?

«А это уж про Ваську», — улыбается дядя Терень и рассказывает про Ваську, то бишь — про станцию на Челюскином мысу.

Вот и все новости выложены. Можно и в путь. Дед сердится, что гость уходит так скоро, но

понимает — засиживаться ему нельзя.

— Оставил бы я тебя еще на день, — говорит на расставанье старик, — да ноги нонче у тебя не те. Торопись. К большой воде не поспеешь.

Целый день сеется дождь, мелкий настырный, и когда дядя Терень добирается до избы Жданова, на нем сухой нитки нет.

Жданов встречает его, как всегда, молча, ни о чем не спрашивает, ведет в избу и, пока дядя Терень сбрасывает с себя мокрую одежду, достает из сундука свою и дает старику.

Потом оба садятся к огню и закуривают.

— Я послал, — кратко сообщает дядя Терень: с Ждановым научишься краткости.

— А-а! — равнодушно отзывается Жданов.

— Ответа наказывал не ждать?

— Ну?

— Я и не ждал, — заканчивает дядя Терень и протягивает к огню ноги в шерстяных ждановских чулках.

Оба молчат и курят.

Слышно, как стучит дождь в окно.

— Однако, — вдруг говорит дядя Терень, зевая, — однако писулька тебе какая-то пришла...

Лицо Жданова начинает медленно краснеть. Но он ничего не говорит, не торопит дядю Тереня, только трубкой пыхтит, — трубка, как назло, погасла.

Дядя Терень достает из мешка радиogramму и сует Жданову.

«Я получила ваши розы, дорогой друг. Спасибо от всей души. Часто и тепло вспоминаю нашу встречу в тундре и еще раз вам, как тогда, скажу: хороший вы, правильный человек. Будурада вас увидеть в Москве, если случится вам быть там. Сердечный привет.

Татьяна Логинова».

Жданов долго, очень долго читает радиogramму и вдруг сам начинает рассказывать о Татьяне Логиновой, о том, как встретил ее в прошлом году, пятого июля, в тундре (она геолог), как посчастливилось ему оказать ей услугу, пустячную, а вот помнит, и как думал о ней с тех пор, всю зиму думал, думает и сейчас...

— В Москву поеду. Погляжу на нее. Только погляжу. И обратно сюда!

— Один вернешься? — будто невзначай спрашивает дядя Терень.

Жданов бросает на него свирепый взгляд и рычит:

— Один! А ты что думал? Один, черт тебя подери!

В избе Трофимова дядя Терень мешок кладет прямо на стол, вся семья собирается вокруг, и старик торжественно раздает подарки: Митяю — книги, хозяйке — сгущенное молоко в банках и скляночки с лекарствами и присыпками из больницы, Трофимову — хозяйственные мелочи.

Митяй вертит в руке книги и смотрит на дядю Тереня исподлобья.

— Ты чего? — спрашивает отец.

— Ничего, — надув губы, ворчит Митяй, — надул...

— Ах, да! — говорит дядя Терень, хлопая себя рукой по лбу. — Я и забыл!

И, лукаво улыбаясь, вытаскивает из кармана нож и отдает Митяю.

Подарки розданы, теперь — новости. Трофимову нужно рассказывать обстоятельно. Это не Жданов, не дед Кураш. С Трофимовым можно долго и смачно говорить о политике. Гадать,

будет ли нынче война, или нет, и какого урожая ждать в колхозах, и каких цен на зверя.

Как всегда, дяде Тереню не хочется уходить из теплой, домовитой избы Трофимова. Хорошо бы остаться и сидеть вот так у огня, курить, беседовать, слушать, как стучит дождь в окно, как возится девочка в люльке, как повизгивают в сених собаки. И то сказать, довольно уж он походил на своем веку. Место старика у печки.

Но, рассказав все новости, он встает, выколачивает трубку о каблук, надевает мешок на плечи, прощается и выходит.

Всю дорогу от избы Трофимова до жилья Арсения дядя Терень последними словами ругает Арсеньеву бабенку. Это из-за нее потерял он на Диксоне три дня. Три дня, шутка ли сказать. Три дня, когда тут каждый час дорог. Час весну делает.

— Вот чертова баба! — ругается старик, перепрыгивая через трещины и проваливаясь по грудь в ледяную воду. — Ох, баба анафемская! Да коли бы ты дочкой моей была б аль снохой — я б...

К жилью Арсения он добирается из последних сил. Все мокро на нем. Он дрожит и от холода и от усталости, проклиная дорогу, бабу и себя за то, что связался с этими делами.

«Ишь какие дела завелись в тундре: любовь, ревность. Сроду не было. И люди стали беспокойные, и вёсны хуже, и вода холодней — до костей пронизывает, да и кости не те (главное — кости не те), что прежде. Все тело ноет. Совсем застудил ты себя, старик. Ах, дела!»

Но когда Арсений, исхудавший, обросший бородою, страшный, нетерпеливо бросается к нему навстречу и кричит: «Ну? Ну? Ну?», — старик, стуча зубами от холода, первым делом отвечает ему:

— Принес, принес. Крепко целует. Дай отогреюсь, погоди, отойду...

Но прежде всего он отдает Арсению радиogramму, потому что душа у человека болит всегда сильнее, чем кости.

Арсений вырывает радиogramму из окоченевших рук старика и жадно читает.

— Ишь! Ишь ты! — бормочет он, весь расплываясь в улыбке. — Ишь! — сконфуженно хмыкает он.

Вот уж душа и вылечена. А кости — что кости? Кости стариковские, привычные, — отошли и они. Снова можно в дорогу.

— Ты не уходи! Не уходи! — просит Арсений. Нельзя человеку оставаться одному наедине с горем, но еще труднее — с долгожданной радостью. Теперь только бы говорить, говорить, рассказывать о жене, о том, как она любит его и он ее и как они чудесно жить будут...

— Ты не уходи, дядя Терень, золотой ты человек! — просит Арсений. — Теперь как раз нам выпить следует!

Но старик помнит о соседе, который тоже ждет. Тоже, поди, душой изболелся. Надо идти. Надо идти.

Сосед стоит на высоком берегу и смотрит в залив. Над Енисеем — рев. С треском взламывается лед, льдины сталкиваются, со скрежетом переворачиваются, бьются; снежная пыль столбом стоит в воздухе.

«Теперь дядя Терень заливом не пойдет! — грустно думает сосед. — Теперь пойдет берегом, в обход. И ждать сегодня нечего».

В последний раз бросает он взгляд на ледоход и вдруг далеко-далеко в заливе замечает одинокую черную фигуру: она мечется среди льдин, прыгает. Сосед всматривается и с ужасом узнает дядю Тереня.

— Дядя Тере-ень! — кричит он испуганно. — Что это ты?

Но старик не слышит. Кругом грохот, рев, треск. Лед ползет из-под ног, прочные ледяные

поля вдруг раскалываются в самом надежном месте и заливаются водой. Большая вода идет, большая сила идет, как с ней старику сладить?

— Вот проклятая баба! — ругается он, вспомнив жену Арсения, и мечется по льдине.

До берега еще далеко. А на берегу мечется сосед, невольно повторяет движения старика на льдине, всплескивает руками:

«Ах, беда какая! Что же теперь, а? Пропал старик!»

Вдруг он решается, бежит к лодке, сталкивает в воду, прыгает в нее и, отталкиваясь шестом от льдин, торопится на выручку. Лодка скользит среди ледохода, обломки льдин летят в нее со всех сторон.

— Э-эй! — кричит сосед. — Дядя Тере-ень!.. Подержи-ись!.. Держи-и-ись!..

Старик замечает лодку.

— Ты заче-ем? Заче-ем? — кричит он сердито. — Тебя раздавит, че-ерт!

— Ты держи-и-ись! — доносится до него.

И старик, ожесточенно сплюнув, прыгает на соседнюю льдину, а с нее на следующую, и еще на следующую, навстречу лодке.

Через полчаса оба шабра^[4] на берегу. Оба мокрые с головы до ног, оба измучены.

— Приедет Настя... — говорит старик, — вот вода пройдет, она и приедет. — И отдает радиogramму.

Сосед, сконфузившись, читает. Дядя Терень глядит, как проносятся мимо льдины с отпечатками его шагов. Они несутся в море.

— Это хорошо, что Настя приедет. А? Как думаешь? — конфузясь, спрашивает сосед. — Человеку без бабы никак невозможно жить.

— Это верно, — соглашается старик. — Такое уж дело, — и смотрит на ледоход.

Соседу вдруг становится стыдно за свою радость.

«Что ж это я, — все о себе да о Насте! Надо и старика спросить».

— Ну, а ты, дядя Терень, что из дому получил? Хорошие вести?

— Из дому? — смеется старик. — А у меня, мил друг, никакого дома нет.

— А родня?

— И родни нет. Бобыль. Как подорожник у межи, один... так-то!

— А кому же ты радиogramму посылал?

— Я? Никому.

— Так ходил ты зачем? — удивленно спрашивает сосед.

Но старик не отвечает.

Идет большая вода — это всего интереснее.

«Значит, поспел-таки!» — думает старик и снимает шапку, словно приветствует большую воду.

РОДЫ НА ОГУРЕЧНОЙ ЗЕМЛЕ

На Огуречной Земле случилось несчастье. Огуречная Земля — далекий, уединенный островок в Полярном море, — напрасно вы будете искать его на карте под таким названием. На карте у этой крошечной точки есть свое, вполне благозвучное и даже поэтическое имя. Но полярные радисты упрямо зовут ее Огуречной Землей, и попробуйте-ка разубедить их! Это такой народ, радисты! Пересмешники. Скучно в своих рубках, что ли?

Впрочем, странное это название имеет свою историю. Островок открыли недавно, совсем недавно, и начальник партии, лихо и наспех произведя съемку вновь открытой земли (его торопили льды, убедительно смыкавшиеся вокруг ледокола), тут же составил донесение, в котором писал: «Вновь открытый остров имеет форму огурца». И радисты, — а через их руки неминуемо проходит все, — окрестили нового гражданина семьи полярных островов Огуречной Землей.

Островок вскоре приобрел немалое значение, — он был так далек! Исследователи потирали руки: теперь-то мы доберемся до многих тайн Ледовитого моря. Синоптики облегченно вздохнули: еще одна печь появилась на кухне погоды. Молодые полярники мечтали об Огуречной Земле, как о невесте. Им грезились несказанные ее прелести, и не было таких подвигов, на которые не пошли бы они, только бы ее завоевать. Они снисходительно говорили: «Что Диксон, Тикси, Челюскин? Это уж освоено. Это все равно что дома. А там...» И волнуящим шепотом прибавляли: «Шутка ли! Семьдесят восьмой градус...»

Итак, земля, имеющая форму огурца, стала обитаемой. На нетронutom снегу, рядом с большими, круглыми, как чаша, следами медведя появились острые, напористые, человеческие следы. Возникли здания. В торосах родилась жизнь. И были уже у людей свои будни, и кипел кофе в медном начищенном кофейнике, и свои радости, и вечерние часы за шахматной доской, и свои заботы, волнения... И вот было уже и свое несчастье. Или скорее — счастье. Ну да, счастье!.. Впрочем, ничего еще не было известно, — как обернется. Дело в том, что женщина кричала страшным, нечеловеческим криком, а бледный толстый мужчина стоял над ней, и его руки беспомощно тряслись, а по лбу катились тяжелые круглые капли пота.

Тот очень ошибается, кто думает, что в Советской Арктике на далеких островах люди живут уединенно, ничего не зная о своем ближайшем соседе. Правда, от соседа к соседу, от острова до острова, подчас тысячи километров — и каких километров! Но — радисты! И благодаря им вся Арктика знала, что на далекой Огуречной Земле женщина в муках рождает нового гражданина. И вся Арктика, затаив дыхание, следила за исходом этих родов, словно все они, эти хмурые, мужественные люди, горняки Нордвика, ученые Челюскина, радисты Диксона, строители порта Тикси, зимовщики Белого, стояли, стараясь не кашлянуть, не шелохнуться, у кровати роженицы и ждали появления на свет ребенка, чтобы услышать его первый требовательный крик и ласково, отечески ему улыбнуться.

— Ну, как? Ну, как? — спрашивали и утром, и в полдень, и вечером со всех зимовок.

Но женщина кричала, и казалось, ее стоны слышны во всей Арктике, муж ее, беспомощный, как и все мужчины в таких случаях, только плакал над нею, а доктор ничего не мог сделать, суетился и нервничал. Бедняга, он не был акушером, а случай выдался исключительный — поперечное положение плода.

С Огуречной Земли в этот день на радиоузел приняли отчаянную радиограмму.

«Спасите! Спасите! — радировал муж роженицы. — Сделайте что можно тчк Спасите мать зпт ребенка».

Что можно было сделать? Радист, принявший радиogramму, страдальчески сморщился, снял наушники и пошел к начальнику. Что можно сделать? Ведь женщина... Ведь ребенок...

Начальник и парторг задумались. Как помочь роженице? Лететь туда не на чем. На зимовке — ни одного самолета. Зима. Полярная ночь. Разве долетишь? Парторг хмурился и пошел в больницу к доктору.

Доктора звали Сергеем Матвеичем. Что сказать о нем? То был обыкновенный врач, из тех, которых ничем уже не удивишь, не расстроишь и не испугаешь. И внешность у Сергея Матвеича была обыкновеннейшая: брюшко в меру, руки красные, большие, настоящие руки резника-хирурга; голос жирный, благодушный; лысинка благообразная, покрытая реденькой прядью; очки роговые черные; одежда, руки — все пахнет карболкой, лекарствами, больницей, — одним словом, партикулярная внешность врача. Так что, когда встретишь Сергея Матвеича в кают-компании в форменной тужурке с якорями, невольно подумаете: «Отчего он не в халате?»

Одно было необыкновенно в докторе: уж очень он был... обыкновенен для арктического врача. Все-таки арктический врач — это, как хотите, фигура романтическая. Взгляните на карту. Среди имен полярных исследователей, память о которых нам хранит красноречивая карта, найдете вы имена врачей: остров доктора Старокадомского, мыс доктора Исаченко. На Диксоне вам покажут могилу фельдшера Владимирова, скромного северного героя, и вы с почтением поклонитесь знаку на могиле из серого плавника. На острове Врангеля вы уже сами первым делом станете искать могилу доктора Вульфсона, героя, самоотверженно погибшего в борьбе с врагом народа, проникшим в Арктику.

Но в Сергее Матвеиче до обиды не было ничего романтического. Обыкновенный прозаический врач. Не был он похож и на бравых корабельных врачей, привыкших ко льдам, штормам, качающейся палубе, консервному пайку и к запаху океанской соли. Но, может быть, он был врач-исследователь, врач-ученый?

В последнее время в Арктику охотно едут ученые-медики. Они и биологи, и зоологи немного, и ботаники. Одни собирают рачков, любопытных земноводных, ящериц и увозят эти трофеи в спирт на материк; другие распластывают на листе гербария карликовую иву, которая вся — с корнями и «кроной» — уместается на ладони; третьи изучают заболевания в условиях Арктики, поведение людей, психику, возможности инфекции, влияние полярной ночи и полярного дня на человека...

Но Сергей Матвеич не заспиртовывал рачков, не засушивал лишайников и, кажется, даже не записывал в дневник «любопытные фактики из врачебной практики». Он, впрочем, кое-что попробовал было сделать, да времени... времени не было. Больные. Заботы. Больница. По всему было видно, что его зимовка не обогатит науку новыми открытиями.

Еще на корабле молодой магнитолог Модоров, один из тех бескорыстных энтузиастов науки, которые особенно ярко раскрываются именно на зимовках, подошел к врачу и, весело улыбаясь, сказал ему:

— А я понимаю вас. И ваш взгляд на всех нас, зимовщиков, понимаю. Вы ведь на нас смотрите, как на кроликов. Будете изучать нас, так ведь? Щупать пульс до и после аврала, слушать сердце во время полярной ночи и после нее. И потом напишете, конечно, научную работу? Так? Ну, так, что ли? Я рад, доктор, служить вам кроликом.

Сергей Матвеич испуганно посмотрел на него, смутился и ответил, что да, конечно, он кое-что, батенька, этакое затеял, но при этом он так неопределенно щелкнул пальцами, что и Модоров и все остальные «кролики» больше не спрашивали Сергея Матвеича о научной работе. Было похоже на то, что он приехал сюда с единственной целью: лечить людей, буде они заболеют, принимать у рожениц ребят, рвать зубы и вырезать аппендициты.

Для всего этого ему нужна была больница, ибо врач без больницы — «это, батенька,

Колумб без корабля». И больница ему была нужна не какая-нибудь, а вполне благоустроенная, потому что Арктика там или не Арктика, а если человек заболевает, то надо чтобы лечили его по-настоящему. Поэтому он сам при разгрузке баржи таскал на своей спине ящики с оборудованием и, если ему помогали, сердито кричал:

— Осторожно, осторожнее! Не разбейте!

Он сам и строгал и пилил, мастерил какие-то палочки, сутился около плотников, сам выкрасил белой масляной краской стены, покрыл линолеумом пол. Людей было мало, а дел у всех много. Строился радиоцентр, гремели взрывы в порту: строилась угольная база. То был тысяча девятьсот тридцать четвертый год — исторический для Арктики, когда, словно по волшебству, возникали на пустынных берегах Ледовитого океана среди диабазовых скал здания, порты, мастерские, шахты.

Возникла и больница. Она была маленькая, на пять коек, но этого было вполне достаточно. И все в ней было как в настоящих больницах, в которых поседел, полысел и пропитался запахом йода и карболки Сергей Матвеич. Так же поблескивали маслом белые стены, так же играло солнце на никеле инструментария, на склянках с этикетками в стеклянном шкафу. И чистота. И тишина. И запах карболки. Появились и больные. Все больше женщины. Из отдаленных промысловых избушек, за сотни километров, на собаках приезжали они сюда загодя, за месяц, за два до «срока», и жили на зимовке. Приезжали и мужчины — с грыжей, с аппендицитом, с отмороженными пальцами, с увечьями, с больными зубами. Он лечил и зубы и даже пломбировал их; и многие, не успевшие на материке починить свои зубы, сделали это у Сергея Матвеича. Но чаще всего он говорил:

— Эх, батенька. Ну к чему вам этот дрянной зуб? Давайте-ка мы его... того...

А перед тем как выдернуть зуб, он выдавал больному для храбрости тридцать граммов спирта. Это было традицией. Но потом Сергей Матвеич заметил, что его стали обманывать. Спирт выпьют, а зуб рвать не дают. «Знаете, говорят, доктор, а зубу-то легче стало. Давайте-ка в следующий раз». С тех пор он стал выдавать спирт только после операции.

Как хирург по профессии и по складу души, он всегда предпочитал хирургические меры и даже, как смеялись на зимовке, оживлялся, если предстояло кого-нибудь «порезать».

— Мы, батенька, вас сейчас почищем немного, и легче вам будет. Ну вот! Вот и отчищали. Вот ваша болячка.

К внутренним же болезням он относился подозрительно.

— Это там всякая терапия, панська хвороба. К чему вам этим болеть, батенька? Этакая дрянь! — И утешал: — Предоставьте это природе... Природа — она мудрее. Все рассосется... Климат здесь чудесный... Здоровый климат-с!

И было уж так заведено, что каждый день во время обеда кто-нибудь громко через стол говорил:

— Доктор, у меня что-то голова сегодня болит. Рассосется?

— Рассосется, батенька, рассосется, — убежденно отвечал он.

Таков был Сергей Матвеич, наш обыкновеннейший доктор. И если было в нем что-либо непонятное, то только — зачем он поехал в Арктику?

Собственно, Арктики он так и не видел. Больница, кают-компания, квартиры зимовщиков, больница... Собирался было на охоту сходить, да не собрался. Думал было промысловые избушки объехать, да не на кого было больницу оставить — все роды (удивительно много стали рожать в Арктике), и по промыслам поехал фельдшер. Один раз только, осенью, во время хода белухи, увязался доктор с молодежью на промысел, но только мешал всем, промок, чуть было сеть не упустил и, мокрый, но очень довольный, вылез на берег. Зато, когда белухи были уже на берегу, он, окруженный чуть ли не всем населением зимовки, стал ножом разделять морского

зверя. («Смотреть, нет ли у белухи аппендицита», — смеялась молодежь.) Опытной рукой он вскрывал внутренности и показывал собравшимся легкие зверя, желудок: «Все знаете, батенька, довольно похоже на человеческие органы».

Однажды, после вечернего кофе, когда в кают-компании было как-то по-особенному тепло и уютно, магнитолог Модоров подсел к доктору.

— Вы не обидитесь, Сергей Матвееч? Скажите: зачем вы поехали в Арктику?

Сергей Матвееч смутился и развел руками.

— Как вам сказать, батенька, — пробормотал он. — Кругом говорят: Арктика, Арктика... Думаю: дай-ка и я. Ведь не стар. Как находите: ведь не стар еще? — Он молодцевато покрутил усы. — Потом в больнице у нас, знаете, врач появился. Только что с Севера. Восторженный этакий. Большое поле, говорит. Интересные случаи... Отчего же не послужить? Я и на фронте был... Всяко бывало... И потом... — Он поднял на собеседника свои честные голубоватые глаза и прибавил просто: — И потом — материальные условия очень хороши. Два года прозимую — ведь это, батенька, капитал. Домик мыслю себе купить под Москвой. Знаете, этак садик... гамачок... клумбы... Обожаю настурции. И еще — ночную фиалку под окном.

После этой беседы доктор показался всем еще более скучным и прозаичным.

Но какой бы он ни был будничным и прозаичным, вот такой, каков он есть, — с большими красными руками, с брюшком под халатом, с запахом карболки и йода, — он был все-таки единственным человеком на зимовке, который мог бы помочь женщине, рожавшей на Огуречной Земле, хотя и не было ясно, как он сможет это сделать.

Парторг зимовки, дядя Вася, пришел к доктору в больницу и уединился с ним в кабинете.

— Надо помочь, — сказал он, поднимая на доктора усталые глаза.

— Позвольте, позвольте, батенька! — удивился Сергей Матвееч. — Вы говорите, помочь. Давайте-ка сюда вашу больную. Пожалуйста. Но ведь не могу же я принимать роды, которые, извините... находятся... э-э-э... где-то в пространстве.

— Но надо помочь, доктор, — настойчиво повторил парторг.

— Нет. Это чудесно, право! — рассмеялся доктор и даже всплеснул руками. — Дайте мне руки длиной в тысячу километров, чтоб я мог протянуть их... э... к ложу больной. Дайте мне, батенька, глаза-телескопы... э... э... чтоб увидеть за тысячи километров, и я готов-с, готов.

— Мы вам дадим такие руки и такие глаза, доктор, — сказал парторг. — И тогда...

— Я вас не понимаю, батенька... Какие руки? Какие глаза?

— Радио. Вам будут говорить о состоянии больной и, как это, о положении плода, а вы будете руководить.

Опешивший Сергей Матвееч долго и молча смотрел на парторга.

— Вы как это... серьезно?! — наконец осведомился он шепотом.

— Вполне. Иного выхода нет.

Сергей Матвееч встал, надел халат и решительно направился к двери.

— Идемте к больной, — сказал он. Потом остановился. — Впрочем, зачем же халат? Ну, все равно. Экие странные вещи на свете. Первый случай в моей практике... э... заочные роды... Роды по радио. Представляю, как удивятся мои коллеги... Ну, все равно. Идемте.

Огуречная Земля была вызвана к аппарату. Диспетчер объявил всем полярным станциям: «Ввиду того, что радиоузел будет все время работать с Огуречной Землей, связь с остальными станциями временно прекращается до... до исхода родов».

Все замерли. Тихо стало в эфире. Затаив дыхание, следила Арктика за родами на далекой Огуречной Земле. Сергей Матвееч подошел к аппарату.

— Ну-с, — произнес он, заложив руки за пояс халата, и растерялся.

Он чуть было не спросил по привычке: «Ну-с, как вы себя чувствуете, больная?» — но

вспомнил, что, собственно, никакой больной перед ним нет. Пустота. Эфир. Некоторым образом... э... пространство.

Он был явно не в своей тарелке. Не было привычной рабочей обстановки, той, которая давала ему необходимое спокойствие. Он должен был видеть роженицу, слышать ее стоны, мольбы, привычно сочувствовать ее мукам, видеть кровь в тазу, ощупывать своими руками плод — это маленькое, скользкое, беспомощное тельце.

Ничего этого не было сейчас. И он чувствовал себя, как старый солдат, который спокоен под пулями, но пугается зловещей, недоброй тишины засады; как мельник, который может мирно дремать под шум жерновов и просыпается от тишины.

Здесь, на радиостанции, он был как белуха на берегу. Ровным светом горели лампы. Потрескивало что-то в репродукторе. И тишина. И ни больной, ни стонов, ни мук.

Ни мук? Но она мучится там... в пространстве. Очень мучится... и ждет помощи. И все вокруг ждут. Что же, доктор, Сергей Матвеич, ну-ка?

Он наклонился к радисту и сказал:

— Э... батенька... спросите доктора: а в каком положении сейчас плод?

И с любопытством посмотрел, как его слова, словно горох, рассыпались точками и тире и понеслись в эфир. Через несколько минут был уже и ответ.

Сергей Матвеич прочел его и сморщил лоб. Так началась эта необыкновенная «заочная консультация».

— Плод в поперечном положении, — размышлял вслух доктор. — Да-да... Случай! Спросите-ка у моего коллеги, — обратился он к радисту, — знает ли он, хоть понаслышке, поворот плода по методу Бракстон-Хигстона.

«Э, да откуда ему знать? Молодой человек. И терапевт к тому же», — размышлял он сам с собой.

Терапевт! Как все хирурги, он относился к ним с легким недоверием.

Ответ пришел, какого и ждал Сергей Матвеич: «Понаслышке знаю, но прошу во всем, без стеснения, руководить мной».

— Вымойте руки спиртом и йодом. Все пальцы смажьте йодом. Минут десять мойте, батенька, — продиктовал доктор, и радист, послушно и словно священнодействуя, передал все, и «батеньку» в том числе. Кто его знает, может быть, и в этом «батеньке» есть свой медицинский смысл.

Доктор Огуречной Земли почтительно сообщил, что руки вымыты.

— Так! — удовлетворенно кивнул головой доктор. — Теперь асептика женщины. — Он подробно написал на бумажке инструкцию и передал радисту. И снова, любопытствуя и удивляясь, смотрел, как его слова, мысли, те, что еще минуту назад находились в одном его мозгу, сейчас чудодейственной силой переносятся за тысячу километров. И он впервые с уважением посмотрел на радиста.

Радист, ощущая важность момента, даже напрягнулся весь и покраснел от натуги. Он отчетливо выстукивал каждую букву, боясь ошибиться. Принимая отчет с Огуречной Земли, он записывал медленно, без той лихости телеграфиста, какой хвастался всегда. Он просил:

— Давай медленнее. Ведь тут букву изменишь, а ребенку и роженице повредишь.

— Ну-с, — сказал доктор, — теперь сделайте внутреннее исследование. Введите левую руку...

Вот он надвигается, решающий момент.

«Что, если шейка матки недостаточно открыта? — озабоченно думал доктор. — Ах, отчего я не там?! Ведь это что ж... Ведь не могу же я отвечать, батенька, за то, чего не вижу даже».

Ожидая ответа и непривычно волнуясь, он, чтобы успокоиться, отошел к окну и стал

глядеть на улицу. На улицу? Была ли здесь улица? Сугроб снега под окном. Дальше амбар, бухта, а еще дальше — снег, снег, только снег. На крышах складов снег, на бухте снег, в тундре снег. Зеленоватый. Луна.

«Ах, и далеконожько же ты забрался, Сергей Матвеич!» — вдруг подумал он и удивился даже, что так далеко забрался, словно эта мысль впервые пришла к нему, словно он не второй год зимует, а только первый день.

— Сергей Матвеич! — позвал его кто-то шепотом.

Он оглянулся. Перед ним стояли две женщины: жена радиста и жена геофизика.

— Голубчик, Сергей Матвеич, ну как? — волнуясь, спросила более смелая — жена радиста.

— Что — как? — рассердился доктор. — Вы у мужа спросите, Марья Ильинишна. Он вот у радио колдует. Он лучше меня знает. А я не вижу... ничего не вижу... Снег-с.

— Мы хотели только... — смутилась жена геофизика. — Видите, у меня подруга была. Так, знаете, она рожала, и такой же случай. Я все подробности знаю... может быть, вам пригодится? Я расскажу.

— Ох, голубушка! — поморщился доктор. — Вам-то что? Не подруга же ваша рождает. Вы-то чего?

— Как — чего? — удивилась женщина. — Это даже обидно, Сергей Матвеич.

Но радист в это время подал ответ с Огуречной Земли. Хороший это ответ или плохой, он не знал. Он ничего не понимал в медицинских терминах, но уже заранее волновался, как будто знал, что ответ плохой.

— Ага! — прочел доктор и улыбнулся. — Открытие два с половиной пальца. Ну что ж, голубушка? Будем делать поворот по методу Бракстон-Хигстона.

Он подошел к аппарату. Ему торопливо подвинули стул. Все как-то сразу поняли, что наступил, наконец, решительный момент. Радист побледнел. Парторг прохрипел: «Тише», хотя и без того тихо, удивительно тихо было в комнате, где столпилось столько людей. Все замерли. Все с надеждой, с тревогой, с беспокойством глядели на доктора.

У него мелькнула мысль: «Откуда у меня такая смелость? И такая власть. Вот я сейчас скажу, и он там все сделает... И, может быть, все будет благополучно. И это я... я...»

Он произнес:

— Введите два пальца правой руки и старайтесь поймать ножку ребенка.

Застучал ключ, рассыпались в эфире точки, тире, и больше уже не было у доктора посторонних мыслей. Он видел перед собой роженицу. Это он вводил два пальца. И слышал стоны. И почувствовал мягкость детской ножки, такой беспомощной, такой...

— Да не ошибитесь! — закричал он (радист послушно постукивал). — Не спутайте ножку с ручкой. Найдите пятку. Пяточку, батенька. И зафиксируйте. А то еще за руку потянете... Это бывает...

На Огуречной Земле возле радиста также сгрудились в тревоге люди. Муж роженицы, потный, всклокоченный, бегал от аппарата к постели больной и обратно. Он передавал доктору радиogramму, выслушав ответ, бежал обратно к аппарату, шепча про себя слова доктора, боясь забыть их и перепутать.

Доктор был взволнован, но поддержка Сергея Матвеича его ободряла. Он видел устремленные на него налитые слезами и страданием глаза роженицы.

— Ничего, ничего, — бормотал он. — Мы с Сергеем Матвеичем поможем вам... Ничего... Вот и пятка... Какая нежная...

«Захватил ножку», — пришла радиogramма Сергею Матвеичу.

— Ага, — произнес он. — Захватил ножку. Молодец.

И по комнате прошелестело приглушенное, радостное:

«Захватил ножку. Захватил ножку». Все задвигались, заулыбались, готовы были поздравлять друг друга. Но лицо Сергея Матвеича уже снова было хмурым, и все стихли.

— Так, — произнес он. — Теперь поворачивайте за ножку, а наружной рукой...

Он забыл уже о пространстве. Он словно стоял у постели роженицы и отрывисто бросал указания ассистенту. «А он молодец, молодец! — думал он при этом об ассистенте. — Хоть и терапевт, а прямо хоть куда. Молодец». И в нем уже росла уверенность, что все будет благополучно. И ему уже казалось, что он и раньше был уверен в полном успехе. Это пришло, наконец, рабочее спокойствие. Он снова был в привычной обстановке.

Проходили минуты, казавшиеся всем вечностью. Уже час сидел Сергей Матвеич у аппарата.

«Все ли я предусмотрел? Каких ждать сюрпризов? Справится ли терапевт? Ах, отчего я не там! Все ли я спросил?»

Он устремил взгляд на репродуктор, словно от него мог услышать ответ. И услышал: точки, тире, точки, тире... китайская грамота. Он заглянул через плечо радиста на бланк.

— По-во-рот, — читал он, следя за каракулями, — про-из-веден бла-го-по-по...

— Благополучно! — закричал, не выдержав, радист.

— Благополучно, благополучно, — всполошились все в комнате. — Доктор! Сергей Матвеич! Голубчик!

— Следите за сердцебиением ребенка! — закричал доктор сердито.

Это он на себя рассердился за то, что сам обрадовался радиogramме, как студент-первокурсник, как куратор на первой операции.

«Стыдно! Стыдно-с, врач! Срам-с!»

— Следите за сердцебиением ребенка! — крикнул он опять радисту, и тот, спохватившись, начал послушно выстукивать.

— Еще не родила. Да-с. Рано, батенька, рано, — произнес Сергей Матвеич укоризненно, обращаясь ко всем, И снова в комнате воцарилась тишина. — Рано, — пробормотал он уже тише и устался в репродуктор.

И вдруг он почувствовал, что страстно, до боли, до неистовства, желает, чтобы ребенок родился живым. Живым, живым — и мальчиком! Кудрявым таким... Он мечтал о нем, как будто был его отцом... Женщина спасена, но ребенок, ребенок...

— Следите за сердцебиением. Внимательно следите за сердцебиением!

— Сердцебиение отчетливое, ясное, — услышал он слова радиста.

Нет, нет, не слова радиста. Это он слышал биение сердца ребенка, еще находившегося в утробе матери. Это билось сердце человека, еще не появившегося на свет. Но человек сейчас появится и ликующе закричит, утверждая свои права. Какое у него будет сердце! Сердце человека, самую жизнь своей обязанной родине, — вот этим радистам, этому парторгу с трубкой, этому доктору-терапевту (а он молодец, молодец!) и... и... да, и ему, Сергею Матвеичу. И он засмеялся. Засмеялся так, как никогда еще не смеялся. И не торжество, не гордость, не удовлетворение были в его смехе. Было что-то такое, чего он и сам еще не понимал.

Начались схватки. С Огуречной Земли теперь летели радиogramма за радиogramмой. Доктор кратко сообщал о состоянии роженицы, о том, как проходят схватки, а муж роженицы от себя прибавлял: «Ужасно мучится... ох, как это ужасно! Кричит криком... нечеловечески... Что делать? Что делать, доктор? Как она мучится, бедная! Сделайте что-нибудь. Я не вынесу этих криков!»

И казалось: и здесь, у репродуктора, слышны были нечеловеческие стоны рожавшей женщины. Сергей Матвеич оглянулся и увидел бледное лицо парторга, стиснувшего зубами свою трубку.

— Ну, а вы что? Вы что, батенька? Что с вами? Ведь не ваша же жена рождает.

— Это верно, — слабо улыбнулся парторг, — не моя. Но ведь и женщина и ребенок, как бы вам сказать... наши.

Сергей Матвеич смутился и рассердился на себя за свой дурацкий вопрос, за то, что не понял чувств парторга и, может быть, обидел его. Но некогда, некогда было думать об этом.

— Следите за сердцебиением ребенка!

...Уже три часа прошло. Три часа назад он сел к аппарату и сейчас чувствовал себя необычайно уставшим, измученным, словно вымолоченным. Скоро ли, скоро ли это все кончится, эти необыкновенные роды по радио?

И вдруг он услышал, как радист вскрикнул, радостно ликуя:

— Сын! Сын! Вот! Сын! — Он протянул Сергею Матвеичу радиограмму, и тот прочел:

«Доктор, товарищи, родные! У меня родился сын, сын, мальчик. Спасибо, спасибо вам всем за все! Сергей Матвеич! Спасибо, спасибо вам, родной вы человек. Спасибо!»

Со всех сторон тянулись к Сергею Матвеичу руки. Горячие, дружеские, взволнованные. Его поздравляли, им восхищались, его благодарили. Парторг долго тряс ему руку и улыбался, приговаривая:

— Ах, Сергей Матвеич!.. Ну и человечие вы! Ну и чудесно!.. И поздравляю... Вы действовали, как... как... как большевик, Сергей Матвеич!

А он сидел, растерявшийся и сразу обмякший; смотрел, ничего не понимая; читал радиограмму и не понимал ее; слушал поздравления и не понимал их. Он растерялся. Хирург, он потерял спокойствие.

Вдруг представилась ему в новом, неожиданном свете вся его жизнь, и сам он, и его профессия, и студенческие мечты, и все, что он делал, делает и может сделать.

Неужто это он вчера мечтал о спокойной старости, о домике — как бишь, батенька: с настурциями и ночной фиалкой под окном?

Когда все корабли отплыли, все самолеты улетели, а на бухту, скованную льдом, пал первый зимний пушистый снег, в арктическом эфире наступила тишина и порядок, радисты облегченно вздохнули, а Степан Тимофеич, впервые за три месяца, взглянул в зеркало. И обомлел.

— Рыжая... — изумленно пробормотал он и придвинул зеркальце к самому носу.

Сомнений не было: борода была рыжей.

В горячие дни арктической навигации Степану Тимофеичу некогда было ни бриться, ни смотреться в зеркало. Как и все радисты узла, он дневал и ночевал на радиостанции, а между вахтами спал в аккумуляторной, скорчившись на узкой скамейке, подложив форменную тужурку под голову. Через несколько часов его уже будили; он окунал голову в пожарную бочку со студеной тундровой водой, фыркал, как морж, обтирал усы и заступал на вахту.

У него был «тяжелый» стол, стол № 3 — связь с судами.

По Северному морскому пути в это лето сновало великое множество судов: ледоколы, пароходы, теплоходы, лесовозы, гидрографические скорлупки, буксиры с караванами баржей и лихтеров, зверобойные боты, шхуны, экспедиционные суда.

У всех у них были радиостанции, у всех скопилась корреспонденция, деловая и частная, всем нужны были метеосводки, прогнозы погоды, всем немедленно требовалась связь с материком, все нервничали, торопились, злились и злость свою обрушивали на Степана Тимофеича — единственное ухо, которое их слушало.

Им были отведены короткие сроки, недостаточные по мнению судовых радистов, скачущих в своих рубках, и они контрабандой пытались всучить Степану Тимофеичу все.

«Маруся, Маруся! — настойчиво выстукивал радист с гидрографического бота пылкую телеграмму второго помощника. — Шлю арктический привет и горячий поцелуй, которого не охладят льды, окружившие...»

— Да пойдя ты к черту со своей Марусей! — взрывался Степан Тимофеич. — Деловые есть? Нету? Тогда куырыкс^[5].

Но судовые радисты не унимались. То был народ характерный, своенравный, и Степану Тимофеичу с ними было много беды. Особенно бесновались радисты иностранных лесовозов. Пустячная льдинка, забелевшая где-нибудь далеко на горизонте, приводила их капитанов в неописуемую панику: они требовали немедленной, срочной, экстренной присылки ледокола и отправляли радиограмму за радиограммой.

С иностранцами надо было быть сугубо вежливыми — дипломатия, честь рации, и Степан Тимофеич, стиснув зубы, покорно принимал панические радиограммы и только плечами пожимал в ярости.

— Ничего не поделаешь! Не русский народ, не рисковый, ко льдам непривычный.

А тут опять из эфира лезло в уши... точка, тире, точка, тире... «Маруся, помню, люблю тебя на семидесятом градусе северной широты».

Но совсем особый, ни с чем не сравнимый гвалт поднимали суда, столпившиеся поблизости на рейде. Их «пикалки» были оглушительны, суда перебивали друг друга, все звали Степана Тимофеича, все что-то выстукивали ему, и вся эта какофония звуков, визг, писк, свист, дикая кутерьма, в которой не было ни смысла, ни лада, врвалась в бедное ухо Тимофеича.

Он в ярости бросал наушники на стол и кричал диспетчеру:

— Не могу я, Емельяныч! Как хотите... форменный аврал! Сбесились, что ли? Дай им милиционера.

Невозмутимый Емельяныч включал «радиомилиционера». Тот немедленно, но вежливо

заглушал своими мощными звуками все рации и произносил насмешливым голосом диспетчера:

— Алло! Соблюдайте в эфире правила уличного движения. Не все сразу. Ледокол «Садко», вы имеете слово. Вас слушаем на волне... Кончили? Слово имеет «Хронометр». Волна...

Но теперь все это кончилось: все корабли отплыли, все самолеты улетели! И Степан Тимофеич смотрел в зеркало на свою неожиданно рыжую бороду.

«Ну разбойник! Ну чистый бандит! Главное дело: рыжая. Почему рыжая? Где в этом сообразность? Вот тебе и зепете!»

Он долго оглаживал, охорашивал нежданное украшение своего лица и в конце концов пришел к выводу, что совсем у него не разбойничий вид, а даже, напротив, эдакий героический... Морской волк. Старый полярник.

Успокоившись, он подбрил щеки, расчесал бороду, подкрутил усы, подмигнул себе в зеркале и направился в кают-компанию.

На следующий день он был уже на новой вахте. Его определили на старую рацию — на «курорт», как пошутил диспетчер.

Старуха рация, древняя, заслуженная, одна из самых старых в Арктике, доживала свои последние дни. В ней давно уже сменили всю аппаратуру; ничего, собственно, старого, кроме почерневшего здания да стен, пропахших чесноком и бензином, тут не осталось.

А старушка рация все еще скрипит, бодро шлет в эфир свои позывные, обслуживает целый район — маленькие, близкие зимовки, расположенные в стороне от широкой, морской дороги. Она — словно нянька на старости лет ходит за маленькими ребятами.

Степан Тимофеич уселся за стол, вытащил трубку, раскурил ее. Он был один теперь в старом пустынном здании. Здесь было тихо, немного грустно и непривычно одиноко после новой рации. Там все время толпились люди, за столами, под зелеными абажурами, склонялись над бумагой товарищи, стучали ключи, стучал пуншир, стучала пишущая машинка, кричал в микрофон диктор, и то и дело звенел телефон.

Здесь же, в старом здании, царила нерушимая тишина, такая, вероятно, как и десять лет назад. И Тимофеич невольно подумал, что, если выглянуть в окно, пожалуй увидишь еще медведя, бесстрашно приковылявшего на запах одинокого жилья.

Тимофеич даже невольно бросил взгляд в окно, но сквозь легкие морозные узоры увидел только ажурные мачты радиостанции да неясные очертания домов. Он рассмеялся, отложил трубку, взглянул на расписание, потом — озабоченно — на часы и взялся за ключ.

И сразу же исчезли тишина и одиночество. Мир ожил. Заговорил. Зашумел в наушниках. Точки, тире торопливо стали складываться в буквы, буквы строились в слова. Это происходило само собой, без всяких усилий Степана Тимофеича. Он слышал не точки и не тире, а готовые слова, угадывал окончания длинных, предчувствовал следующие, словно слышал голос и интонации человека.

Эфир был населен дружескими, знакомыми голосами; Тимофеич узнавал приятелей-радиостов по стуку ключа, как узнают человека по почерку, художника — по кисти, мастера — по работе. Ему не нужно было спрашивать, кто у ключа. Он сразу называл радиста по имени, — это были давние знакомцы. Иных он знал лично по совместным зимовкам или выпивкам на берегу, других — только по ключу, по старым встречам в эфире.

Теперь он снова здоровался с ними, перекликался, дружески перебранивался. Он вел с ними шумные разговоры, принимал метеосводки, корреспонденцию, а в комнате по-прежнему было тихо, только слышалось робкое чириканье ключа да скрип карандаша по бумаге.

Но то, что нельзя было услышать и понять в загадочном чириканье, можно было прочесть на лице Тимофеича. Оно менялось все время: озабоченность, смех, сочувствие, лукавое ожидание, тревога — все отражалось попеременно на его подвижном добром лице. Радость,

труд, успехи зимовки, любовь, болезнь, смерть, выздоровление, известия об удачной охоте, родившемся сыне, — мир жил в его наушниках. Мир любил, страдал, болел, рожал детей, строил станции, боролся, побеждал и во все эти тайны посвящал Степана Тимофеича, приобщая его к своим радостям и печалям.

«Маруся, Маруся, как сын? Как здоровье?» — принимал он радиограмму и ласково улыбался. «Метеоролог станции заболел, срочно помощь», — и он озабоченно хмурился. «Сообщите способы консервации мяса белого медведя», — и он беззвучно хохотал, размахивая дымящейся трубкой.

В этот день все станции явились по расписанию, со всеми он обменялся корреспонденцией, со всеми управился и поспел, кроме одной.

Не явилась станция бухты Надежда. Это была новая и незначительная станция. Ее построили, чтобы заткнуть какую-то дыру в метеосети. Где-то между двумя важными пунктами оставалось белое пятно, которое приводило в отчаяние синоптиков. Они утверждали, что именно здесь, в бухте Надежда, ломаются циклоны, решается погода. Впрочем, они имели обыкновение говорить так о каждом пункте, где не было метеостанции. Станцию поставили. И вот она не явилась в назначенный срок в эфир.

Тимофеич долго и тщетно звал ее. «УКЛ! УКЛ!» — стучал он с досадой, но УКЛ молчал. Тимофеич рассердился и записал в журнал: «УКЛ не явился».

Вечером он доложил диспетчеру:

— УКЛ не было сегодня. Там, видать, радист — сапог.

Диспетчер подхватил:

— Вот, вот! Посылают «сапогов» в Арктику. Разве место им здесь? Давно я говорил... — То был любимый конек диспетчера, и он мог долго на эту тему распространяться.

Не явился УКЛ и на другой день и еще в три следующих дня. Тимофеич бушевал, злился и размахивал трубкой. На пятый день УКЛ «вылез» в эфир и сам позвал узел. Тимофеич ответил бурей ругательств.

«Ты что же пропадал пять дней? Где метео? Такой-сякой!» — вот что должно было означать в переводе с телеграфного то, что выпалил Тимофеич радисту бухты Надежда.

Тот робко оправдывался:

— Один... один я... неполадки. Сам чинил. Извините, товарищ.

Он говорил вежливо, как и подобало радисту незначительной станции при обращении к радисту всесильного радиоузла. Кротость провинившегося умаслила Тимофеича.

Он постучал:

— Га! (давай!) — и усмехнулся при мысли, которая вдруг пришла ему в голову: «А ну-ка, запарю я его в наказание!»

— Га, быстрее! Еще быстрее! Что какдохлый даешь? — простучал он и расхохотался. — Ну-ка, ну-ка, дружок!

И вдруг он услышал отчетливую, быструю, самую быструю дробь.

— Ого! — побледнел он. — Знаков на полтора гонит, — и торопливо стал записывать, боясь, что отстанет.

В полсрока были переданы все метеосводки, скопившиеся за пять дней. «А он молодец!» — невольно подумал Тимофеич, впрочем больше довольный собой, что успел все записать.

У него ничего не было для бухты Надежда. Он решил израсходовать оставшийся срок для знакомства с радистом.

— Новый? — спросил он. — Что-то не знаю твоего ключа.

— Да. Зимую по первому году.

— Как звать?

- Колыванов.
- А меня Тимофеичем все зовут.
- Очень рад... Тимофеич!
- Боюсь, теперь Степкой Разиным будут звать... Борода, понимаешь, отросла. Рыжая.
- У Разина черная.
- А у меня рыжая.
- Ты покрась!
- И то.

Очень довольный новым знакомством, Тимофеич решил, что приличие требует, а время позволяет, чтобы он угостил нового друга музыкой, показав ему свое искусство, как было принято между радистами Арктики. Тимофеич выстукал на ключе «Тореадор» — свой обычный номер, своеобразный пароль, герб радиста, его познавательные знаки. Окончив, он подождал немного — сумеет ли радист Надежды ответить тем же? Не всякий умеет музицировать на ключе. Но вот он услышал мелодию, отстукиваемую с бухты Надежда. То был «Турецкий марш» Моцарта. У радиста был хороший вкус. И хорошая рука. Тимофеичу показалось, что он когда-то слышал эту руку.

«Колыванов? Нет, не знаю такого», — покачал он головой, подумав.

Так началась эта дружба. УКЛ теперь являлся точно в сроки, и радисты сердечно приветствовали друг друга и между делом перебрасывались дружескими фразами. Эти ставшие теперь ежедневными приятельские разговоры, конечно, не были похожи на те, что ведут друзья вечером в кафе за кружкой пива или где-нибудь дома, раскуривая трубки и вытянув ноги под столом. Их разделяло пятьсот километров. Расписание строго ограничивало время для их бесед. У них были то одна, то целых три минуты, но и это немало для радистов, умеющих простучать полтора знака в минуту. Иногда разговор их обрывался на полуслове, истекал срок (а дело прежде всего), и Тимофеич не успевал ответить на шутку товарища. Он ходил потом целый вечер и улыбался. Он обдумывал свою завтрашнюю шутку, оттачивал ее, ибо дружба мужчин не нуждается в телячьих нежностях и сентиментальных признаниях. Крепкая, ядреная шутка верней и теплей. И она действительно согревала их сердца.

Каждый день радист Надежды спрашивал:

— Как борода?

И Тимофеич неизменно отвечал:

— Ничего. Вашими молитвами. Растет. Чернеет.

— Ваксой пробовал?

Корреспонденции для бухты Надежда всегда было мало. Тимофеич знал уже, что зимуют там только двое: его приятель, радист Колыванов, и метеоролог Савинцев. Савинцеву частенько случались радиogramмы — то от матери, то от Лиды, в которой Тимофеич угадывал невесту, то от приятелей. Радиogramмы были бодрые, шутливые. И Савинцев аккуратно отвечал на них, всегда повышенно бодро, немного напыщенно. И, так как вся эта переписка шла через Тимофеича, он смело мог представить себе внешний облик Савинцева, товарища Колыванова по зимовке. Ему казалось, что он видит его перед собой: этакий молодой, очень молодой паренек, хороший, здоровый, с девичьим чистым лицом, немного увлекающийся, порывистый, обожающий свою морскую форму и галуны на рукаве, один из тех чудесных комсомольцев-романтиков, которые жадно рвутся сейчас в Арктику, за каждым торосом видят медведя, мечтают о приключениях и подвигах и досадуют, что приключений нет. Все это вычитал мудрый, бывалый Тимофеич между строк радиogramм Савинцева и Савинцеву и не сомневался в точности портрета.

Но ни разу не было в ящике под рубрикой УКЛ радиogramм Колыванову, и ни разу

Колыванов не посылал радиogramм. Это удивило и обеспокоило Тимофеича. Он по себе знал, как важно, как необходимо получить здесь вовремя весточку из дому.

Тимофеич был человек добрый и суетливый. Он сразу представил, как томится в безвестии его приятель, как ходит большими шагами по рубке, нетерпеливо поглядывает на часы, ждет срока и, разочарованный, обманывается в своих ожиданиях, но из гордости молчит и не спрашивает.

Одну бы радиogramму ему! Куцую хотя бы. Вот бы чудесно! Можно было бы предварительно позлить его, побесить, поманежить. Танцевать его, конечно, не заставишь, как заставляют плясать в кают-компании счастливых получателей радиogramм. Но «Турецкий марш» пусть обязательно выступит. Как выкуп. А потом уж и радиogramму ему сунуть, что-нибудь вроде: «Вася, милый, люблю».

Но радиogramмы Колыванову не было. Напрасно Тимофеич сам ходил на новую рацию, рылся в журнале, перебрасывал пачку радиogramм на столе: не затеряна ли? Ничего не было. И Тимофеич, обеспокоенный этим, в тот же день вместо приветствия Колыванову простучал:

— Тебе нет ничего сегодня, дружище. Но уж завтра...

— А я и не жду, — ответил радист Надежды.

— Что так?

— Не от кого.

— А мать?

— Умерла.

— А жена?

Тимофеич долго ждал ответа, но срок кончился, и он, послав в эфир «куырыкс до завтра», стал вызывать другую рацию.

Во всяком случае, он понял, что не к чему было спрашивать Колыванова о жене и доме. И ему стало жаль приятеля, лица которого он не видел ни разу, но которое теперь представлял себе почему-то бледным, нахмуренным, страдальческим.

Из разговора по радио Тимофеич знал, что Колыванов часто остается один, совсем один на зимовке. Савинцев уезжает на охоту, рыщет по району, ищет подвигов, приключений, мечтает открыть новую бухту или хоть какой-нибудь неизвестный, захудалый мысок. Колыванов остается один в бревенчатом домике. Несет и радио и метеовахту, готовит еду, кормит собак. И все-таки времени остается много, девать некуда.

И Тимофеич представлял себе, как тоскует в одиночестве радист, как глядит в окно, полузаваленное снегом, зевает, пьет чай, вскипаченный им тут же на примусе, и задумчиво посасывает засахаренный противоцинготный лимон. А собака трется о его колени, лижет ему руки... «Да есть ли у него и собака-то? Не упряжечная, а своя, комнатная, что ли... друг?» Эта мысль не давала Тимофеичу покоя, и он, дождавшись срока, тотчас спросил:

— У тебя хоть собака есть?

Колыванов не понял.

— БК. Повтори. Не понял, — простучал он, и Тимофеич смутился, догадавшись, наконец, о неловкости своего вопроса.

— Ничего. Давай сводку. Я просто так, лично интересуюсь, есть ли у тебя на зимовке собака.

— Как же! Есть «Дружок». Ласковый пес. Приятель мой.

И Тимофеич вдруг несказанно обрадовался этому. Обычная шутливость вернулась к нему. Он даже передавал радиogramму Дружку, справляясь о его здоровье.

И с тех пор он часто спрашивал о собаке, передавал ей поклоны — все в те же две-три минуты, которыми они располагали между делом для дружеских слов, не регистрируемых

вахтжурналом.

Иногда Колыванов спрашивал:

— Как у вас погода?

— Пурга, кажется, — отвечал Тимофеич, невольно взглянув в окно: по совести сказать, ему некогда было интересоваться погодой.

— И у нас пурга. Метет, баллов восемь.

— Тоскуешь? — сочувственно спрашивал Тимофеич.

— Нет, ничего.

Но Тимофеич не верил. Пурга? Нехорошо, когда пурга. Он глядел в окно, прислушивался: ветер выл в проводах, бил в крышу, хлопал дверьми. Но Тимофеич пойдет после вахты в теплую кают-компанию, где электричество, люди, музыка, стук домино о стол и толстый франтоватый повар в белом колпаке щегольским жестом подаст ему ужин да приправит еще кашу шуткой. А тот, в бухте Надежда, сидит один и слушает вой пурги и думает: рискнуть ли ему сходить за углем к амбару, или лучше залезть с головой в спальный мешок да уснуть так. Тимофеич сам жил на таких зимовках, — он все это сам испытал. И еще крепче тянуло его к человеку из бухты Надежда, такому знакомому и незнакомому, такому одинокому на земле.

— Колыванов, Колыванов, — бормотал он. — А ведь я когда-то, пожалуй, и слышал это имя? — Но где и когда — вспомнить не мог.

Наступило седьмое ноября. Над Арктикой разразилась буря — буря приветственных радиogramм. Они сыпались на столы радистов в такой изобилии, словно вся страна в этот день только и думала, что о полярниках.

Много приветствий получил и Тимофеич. И от семьи, и от родных, и от друзей. Одна радиogramма — совсем неожиданная — была из Сухуми, от старых товарищей, уже давно забытых Тимофеичем, но вот вспомнивших его:

«Встретились на курорте вспомнили тебя старина зпт нашу фронтовую молодость тчк Поздравляем праздником пьем твое здоровье».

Растроганный Тимофеич смущенно вертел в руке листок.

— Ишь ты! — бормотал он. — Из Сухуми. У них сейчас, может быть, магнолии цветут. Или там персики... А вот поди ж ты, вспомнили же!

Так, с радиogramмой в руках, он и направился на вахту. Приближался срок УКЛ. Тимофеич полез в шкафчик и вытащил тоненькую пачечку радиogramм. «Савинцев», «Бухта Надежда Савинцев». Еще Савинцеву. Савинцеву же.

— Постой! А Колыванову? Что ж Колыванову? — обеспокоился вдруг Тимофеич. — Колыванову ничего?

Он снова перелистал пачку. Нет, ничего.

— В такой день — и ничего?! Ах ты, бедняга! Одинокий ты на земле человек.

И вдруг, охваченный внезапным порывом, он бросился к столу и одним духом сочинил радиogramму:

«Бухта Надежда. Радисту Колыванову. Дорогой товарищ, сердечно приветствуем тебя и поздравляем праздником днем Великой Октябрьской революции. Желаем бодрости, здоровья».

И подписал:

«Радисты узла».

Потом подумал и прибавил: «88», что на языке радистов всего мира означает — «лучшие пожелания».

Волнуясь, он передал эту радиограмму Колыванову и тотчас же получил ответ:

«Спасибо дорогие товарищи тчк Ваши теплые слова поддержка окрыляют меня тчк Уверенно несую свою вахту и буду нести с честью тчк

Радист Колыванов 88 всем».

В этот праздничный вечер Тимофеич был весел, как никогда. Он рассказал ребятам о Колыванове и о своей радиограмме ему. И все одобрили ее, и даже всегда невозмутимый диспетчер сказал, волнуясь:

— А ты это правильно сделал, Тимофеич. Подумать только: все через нас, радистов, идет, а много ль нам пишут?

Тимофеич весь вечер не расставался с радиограммами: с этой, из бухты Надежда, и с той, из Сухуми. И одна напоминала ему о сегодняшнем дне, о пурге за окном, об одиноком радисте с далекой бухты, а другая... другая — о далеких днях... о фронтовой молодости... о тачанках... о походах...

«Карякин. Самойлов. Чубенко», — читал он вновь и вновь подписи под радиограммой и шептал про себя:

— Карякин, Самойлов, Чубенко. Радисты Южного фронта... Ребята!.. Полевой штаб... И ночь... И рожь кругом... Карякин... Самойлов... Чубенко... Колыванов...

И ему показалось вдруг, что он вспомнил, напал на след. Он сморщил лоб и стиснул виски пальцами.

— Карякин... Самойлов...

Сначала вспомнились ему почему-то запах вишни... вишни в цвету... И степь и медовый запах трав.... Ночь лунная... серебряная... И голубые хутора... И песни дивчат на селе... И орудийные громы где-то... И вспомнился ему паренек в новенькой красноармейской форме, курносый, голубоглазый, молодой... Тогда не было еще у этого паренька рыжей бороды. И звали его не Степаном Тимофеичем, а Степой, просто Степой. Паренек только что кончил курсы и впервые встал на самостоятельную вахту... Робко надел наушники. Карякин... да, Карякин... подбадривал, помогал. Паренек Степа, подавив волнение, застыл с карандашом в руках над бланком. Вдруг услышал позывные. Звал Скадовск, штаб. Он трепетной рукой ответил. И вдруг посыпалась ему в ухо быстрая пулеметная дробь. На него обрушился целый каскад звуков, букв, слов. Он улавливал только одни обрывки, что-то вроде «пр», «кл», «бы». Ему хотелось закричать: «Погодите! Я не успеваю. Пожалейте! Я новенький». Карандаш суматошно прыгал по бумаге и фиксировал Степину беспомощность: «пр», «кл», «бы». Карякин... Да, Карякин... увидел это и сжалился.

— Погоди, я сам приму.

Опозоренный Степа не сошел, а сполз со своего места. Он чувствовал себя раздавленным. Сидел, уткнув голову в колени. И запах вишни — в окно, вишни в цвету.

— Это Колыванов, — сказал ему Карякин. — Колыванов у ключа. Это — черт. За ним угонишься разве? И мне тяжело. А ты ведь впервой.

С тех пор всякий раз Колыванов из Скадовска предварительно спрашивал перед приемом:

— Кто у ключа?

И Степа, узнав неумолимый ключ, покорно слезал со стула и уступал место Карякину или Чубенко. А сам садился к другому ключу. Разве может он принять Колыванова?

И вот тогда сокровенной, заветной, пламенной мечтой Степы стало: добиться такой работы на ключе, чтобы забить Колыванова. Да, забить. Не меньше.

Все свободное время тренировался он у ключа. 80, 90, 100, 120 знаков в минуту. Но это не удовлетворяло его: 130, 140, 150...

Наконец однажды, когда Колыванов вызвал его, он не покинул, как всегда, своего места, а, покраснев от напряжения и стиснув зубы, стал принимать. Через несколько минут он расхрабрился и потребовал:

— Га, быстрее!

Через минуту еще:

— Га, быстрее!

Он слышал теперь сплошной пулеметный треск в ухе. Карандаш его не бегал, а летал по бумаге. А он все требовал: «Быстрее, быстрее!» Товарищи склонились над ним и молча следили за этим состязанием. А он ликовал. Наконец-то запарил он Колыванова! Да, Колыванов... Скадовск... Южный фронт... Ночи серебряные, лунные. И вишни в цвету.

Но тот ли это Колыванов? Как, каким чудом очутился он здесь? Именно он. Самого Колыванова Степан Тимофеич так и не видел ни разу. Колыванов скоро исчез из штабной рации. Больше с ним не пришлось встретиться ни на земле, ни в эфире.

«Что, если это он? Вот было бы любопытно!»

На следующий день, еле дождавшись срока, Тимофеич спросил радиста бухты Надежда:

— Ты в Скадовске служил?

— Да. А что? — ответил он.

— В каком году?

Оказалось, что это и есть тот самый Колыванов, Тимофеич несказанно обрадовался и разволновался.

— Нет, это чудесно, чудесно! — бормотал он, пыхтя трубкой. — Вот так встреча!

И в самом деле: чудесны эти арктические встречи. Чудесны встречи пилотов в воздухе, чудесен обычай приветствовать друг друга помахиванием крыльев, чудесны нечаянные свидания друзей на воздушных перекрестках, на маленьких неожиданных аэродромах за черным кофе в жестяных кружках, у раскаленной печки в сколоченном из досок скрипучем домике; чудесны знакомства путников у кочевых костров в тундре, когда рассказаны уже все новости, раскурены трубки, а беседа все тлеет и тлеет, как костер, теплая, задумчивая, а над огнем шипит мясо, вокруг скрипит снег и собаки обнюхивают друг друга. Но всего чудеснее встречи радистов в эфире, когда, проталкиваясь сквозь хаос волн, сквозь свист и вой метели, находят друг друга голоса приятелей.

«Вот и встретились мы с тобой, Вася Колыванов! — думал, растроганно улыбаясь, Тимофеич. — Где встретились? В Арктике. В эфире. Юг — север. Ай, страна! Ай, люди! Куда забрались мы с тобой, Вася Колыванов! Где свиделись! А я даже не знаю, каков ты есть. Блондин, брюнет? Высокий, мал? Каждый день беседую с тобой, и странно: я ведь и голоса твоего не знаю. Баритон, альт, бас? Вот встретить я тебя на улице, в трамвае — пройду мимо, не узнаю. А в эфире узнал. Ну, здравствуй, старик! Ну как? Ну как жизнь?»

Теперь главной темой их ежедневных бесед между делом стали фронтовые воспоминания. Им малы сделались сроки, отведенные расписанием, и они изоцплялись в сокращениях, в условных знаках, нечаянно изобрели собственный сжатый код, только бы больше сказать друг другу. Они поведали один другому пути, по которым шли после армии. То были простые

будничные пути, и, однако, они привели обоих в романтическую страну — Арктику, которая для Колыванова была новой, еще непонятной, а для Тимофеича давно стала будничной. После Скадовска Колыванов плавал на подводной лодке. Демобилизовался. Остался в торговом флоте. Заграничные плавания. Балтика. Белое море. Потом вдруг решил нынешней осенью пойти на полярную станцию.

Что влекло его? Он не говорил об этом. Тимофеич не спрашивал. Это «вдруг решил» и так сказало ему, о многом, больше он не допытывался. Для себя же он связал это «вдруг решил» с полным отсутствием радиogramм Колыванову и скорее почувствовал, чем понял, драму в личной жизни радиста из бухты Надежда. Раз навсегда решив не касаться ее, он стал еще заботливее и нежнее к своему одинокому далекому другу.

Они начинали свои беседы неизменным: «А помнишь?»

— А помнишь Барыбу, писаря? — напоминал один из них.

И оба хохотали у своих аппаратов, разделенные пятьюстами километров. Они вспоминали белобрысого щеголя писаря и все анекдоты, связанные с ним. Они не передавали друг другу подробностей своих воспоминаний, давали только скелет; одной фразой они воскрешали забытое, а затем уже каждый наедине вспоминал все с этим связанное и смаковал и перебирал на все лады. Они вспоминали людей, известных им обоим по армии, эпизоды, которые могли быть понятны обоим, те, о которых много говорили в свое время в штабах, на радиостанциях, в комендантских командах. Иногда, впрочем, оказывалось, что это известно только одному из них, — ведь они в конце концов служили в разных местах и даже никогда не видели друг друга! Тогда другой с грустью стучал, что этого он не помнит, и день был потерян для них. Но общих знакомых у обоих было так много, что это случалось редко.

Они жили теперь в атмосфере, которую сами себе создали: среди знойных украинских степей, в серых брезентовых палашах, они лежали в пахучем клевере у полевых аппаратов; они бегали, звеня котелками, к походной кухне за порцией каши без масла, они сдабривали кашу смехом. Они смеялись и пели, как может смеяться и петь только беспечная молодость под аккомпанемент артиллерийской канонады. И тогда над льдами, над торосами Арктики, над белым безмолвием окоченевшей тундры шумели для них степные ветры, и фронтовая молодость, воскрешенная и преображенная, обжигала их своим горячим дыханием. Они нетерпеливо ждали нового свидания в эфире, чтобы весело шепнуть один другому: «А помнишь?»

Если для Тимофеича, имевшего достаточно добрых друзей в эфире, жившего на шумной и дружной зимовке, среди веселых, говорливых товарищей, и регулярно получавшего вести из дому, эти беседы с Колывановым составляли большую радость, то для одинокого радиста бухты Надежда они были всем.

Тимофеич догадывался об этом. Тем ценнее для него была эта дружба. Он принадлежал к тем людям, которые в дружбе больше дают, чем берут, для которых в дружбе нет корысти, и когда они отдадут товарищу последний табак из кисета, то не ждут в обмен последней рубахи товарища. Тем и дорога была Тимофеичу дружба с радистом бухты Надежда, что в ней он давал больше, чем брал. И когда ему удавалось напомнить приятелю несколько веселых скадовских анекдотов, то он и сам был весел и счастлив. Он словно видел улыбку, раздвигавшую губы товарища. Он словно слышал его радостный смех. Он знал, что теперь целый день Колыванов будет улыбаться, мрачные мысли покинут его и ночь, полярная ночь за окном покажется ему светлей и приветливей.

Но вот между вахтами, беседами, шутками растаяла, наконец, долгая полярная ночь, и Колыванов первый сообщил Тимофеичу:

— Сегодня у нас показалось солнце. А у вас?

— Ждем его завтра, — ответил Тимофеич и весело поздравил товарища.

На следующий день Колыванов прежде всего осведомился, появилось ли у них солнце, словно он боялся, что солнце заленится или небесный механизм разладится и Тимофеич останется без солнца. Тимофеич, то ли по долгой полярной привычке к ночи, то ли потому, что жил среди товарищей, в освещенном яркими электрическими лампами доме, мало интересовался, появился ли сегодня узкий краешек солнца за холмами, или нет.

Он ответил, что солнце, кажется, появилось. Но по интонациям, которые он угадывал в вопросе Колыванова, даже не слыша его голоса, он догадывался, чем было солнце для радиста бухты Надежда. И снова поздравил его с солнцем.

Но однажды — это было в марте — Тимофеич пришел с вахты мрачный, расстроенный.

— УКЛ не явился, — сказал он в кают-компании.

— То есть как — не явился? — удивился диспетчер.

— Я его двадцать минут звал, — пожал плечами Тимофеич. — Звал и во второй срок, звал и в третий. И ничего, ничего не слышно. Могила.

— Но, может, просто непрохождение? — предположил кто-то.

— Нет. Все станции западного сектора явились. Отличная слышимость. Не пойму, не пойму — что с ним.

Весь вечер Тимофеич был расстроен, а когда и в ночной срок и в утренний УКЛ не ответил на позывные, он уже не сомневался, что с Колывановым стряслось несчастье. Но что? Что?

— Может быть, аккумуляторы сели, — успокаивали его товарищи. — Может, неполадки какие?

— Нет. Он сказал бы заранее. Третьего дня как раз на эту тему говорили. Недавно рации своей генеральный ремонт на ходу дал.

— Ну, тогда заболел, может быть? Какой-нибудь гриппок?

— И больной приполз бы к ключу, — отмахивался в отчаянии Тимофеич. — Радист он, до мозга костей радист. Приполз бы. А ты не приполз бы? А я? Нет, тут серьезным пахнет. Тут... — но он боялся самому себе сказать, что это катастрофа, и по-прежнему, и в сроки и вне сроков, звал УКЛ, и по-прежнему не получал ответа.

Ему показалось тогда, что он навек лишился друга, лучшего друга. А он даже не знал ни его лица, ни его голоса. Что он мог вспомнить о нем? Только точки, тире, которыми они обменивались. А какой он, Колыванов, — красивый, бритый, бородатый, какие у него глаза, как он смеется, курит, молчит — этого он не знал. Он не знал тех необходимых мелочей, которые сохраняют нам в памяти образ ушедшего друга, создают иллюзию, что он еще жив, здесь, рядом. Но Тимофеич и этой иллюзии был лишен. Точки, тире — вот все, что он мог вспомнить о товарище.

Грустно курил он свою трубку, нес вахту, работал, но думал о Колыванове. Когда подходил срок, в нем пробуждалась надежда. Он вытаскивал радиogramмы для бухты Надежда — их скопилось уже целая пачка — и начинал упорно звать УКЛ. Срок проходил — УКЛ не являлся. Грустно перебирал он пачечку радиogramм, прежде чем положить их обратно в ящик.

И вдруг он заметил среди радиogramм одну, которая ошеломила его. «Бухта Надежда Колыванову», — прочел он. Не ошибся ли он? Нет, точно: Колыванову. Первая за все время. Он бросил быстрый взгляд на подпись. «Галя», — прочел он.

— Галя! — произнес он громко. — Галя!

«Вася, прости. Была душой. Вернись, без тебя жить не могу.

Галя».

Он бросился к ключу. Он снова стал звать УКЛ.

— Вася, вернись! Вернись! Отзовись! Вася! — шептал он, отчаянно стуча ключом. — Тебе радиogramма. Галя любит тебя. Вернись! Вася! УКЛ! УКЛ! Вася!

Но бухта Надежда молчала. Он остановился, ждал ответа, снова звал. Он менял настройки. Он прижимал к ушам наушники, потом бросал их, прижимался к репродуктору, но слышал в ответ только свист в эфире. Он не отчаивался, не терял надежды, теснее прижимал ухом к репродуктору, он хотел услышать пусть хоть слабые, непонятные, но утешительные точки, тире, но слышал только леденящий душу свист; порою ему в свисте слышались даже далекие приглушенные стоны, призывы: «На помощь! На помощь!» — и шепот: «Друг! Друг!» Он готов был поверить в то, что все это слышит, что слышит что угодно, но только не точки, тире. Нет, этого он не слышал. Тонкое ухо радиста не позволяло ему обманываться в этом.

Мрачный, измученный, возвращался он после вахты домой. Валился на койку. Молча курил. Табачный дым окутывал комнату. Синий дым...

Эта радиogramма... Она сделала бы Васю счастливым. Может быть, ее ждал он всю долгую полярную ночь. И вот она здесь, а Тимофеич не может передать ее Васе.

Заходили товарищи. Присаживались к койке.

— Ничего? — спрашивали они сочувственно.

Тимофеич яростно мотал головой.

— Отсутствие известий — лучшие известия, говорят мудрые, — утешали товарищи. — Ведь не один же Колыванов на зимовке. Его товарищ давно бы уже сообщил.

— Как? Как сообщил бы? — взрывался Тимофеич. — Голубями? Святым духом? Ведь он не радист.

Так прошло еще пять томительных дней — всего семь с тех пор, как замолчал УКЛ. На зимовку прилетел самолет, первый весенний самолет-ласточка, предвещающая далекую весну. Голубая птица пронеслась по льду бухты, подымая за собой снежный прах. Из пилотской кабины вылез толстый, неуклюжий, закутанный в меха человек. Он снял шерстяную маску, защищавшую лицо от мороза, и Тимофеич увидел, что пилот молод, красив, белокур. В комнате, отведенной для отдыха, пилот освободился от мехов, сбросил шарфы, опутывавшие его горло и крест-накрест завязанные за спиной, стащил обледеневшие олени боклары, мохнатые чулки из собачьего меха, комбинезон, шерстяную фуфайку, ватные штаны, и Тимофеич увидел, что пилот строен, худощав, молод. С надеждой глядел радист на этого энергичного парня с обветренным лицом, пропахшего морозом, бензином и пространством, настоящего линейного летчика, одного из тех лихих ребят, что летают в любую погоду на северных линиях, берутся доставить в любое место любой груз да еще шутят при этом: «А овес-то нынче почему?»

— Товарищ! — вкрадчиво сказал Тимофеич пилоту, завтракавшему в столовой, в то время как зимовщики уединились по комнатам, чтобы посмотреть привезенную им почту. — Вы как... очень промерзли?

— Нет, ничего... — улыбнулся пилот. — Хороший у вас кофе.

— Торопитесь вы? Нет?

— Как погода.

— А... могли бы вы, товарищ, спасти человека?

Пилот удивленно покосился на него, но ничего не ответил. Тогда Тимофеич рассказал ему все: об УКЛ, который не является в сроки, о Колыванове, одиноком радисте бухты Надежда, об их дружбе, о Гале, которая, наконец, прислала радиogramму, о...

— Но почему вы думаете, — сочувственно перебил пилот, — что с вашим приятелем случилась беда? Может быть, просто рация выбыла из строя?

Тимофеич печально покачал головой.

— Нет, беда! Знаю, что беда. Если бы ваш товарищ — пилот, настоящий пилот, вылетел бы, скажем, с Диксона на Дудинку и прошел бы день, два, три, а его все не было бы ни на Диксоне, ни на Дудинке, ни на станциях по пути, что сказали бы вы? Что пилот заболел? Вы знаете: в полете не болеют... Вы сказали бы: «Беда с моим товарищем». И полетели бы искать его. Так?

— Так, разумеется, — улыбнулся пилот.

— Так вот, я радист. Радист первого класса, позвольте вам сказать. И, когда мой товарищ семь дней не является в срок, я говорю вам: с ним беда. Товарищ, — сказал он вдруг, — спасите моего друга!

Пилот встал и молча зашагал по комнате.

— Хорошо! — оказал он наконец, остановившись перед Тимофеичем. — Бухта Надежда? Напрямик через тундру два-три часа лету. Горючее возьмем здесь. Полные баки. С собой доктора. Найдем вашего товарища! Найдем! Но мне нужно разрешение Москвы.

— Москва разрешит! — закричал Тимофеич. — Москва не может не разрешить. Идет речь о человеке. Хотите, мы сейчас запросим Москву? — Он озабоченно взглянул на часы. — Через пятнадцать минут — прямой провод с Москвой, через час — радиотелефон с Москвой. Хотите, я сам составлю текст запроса? Мы напишем: «Человек в беде. Срочно нужна помощь».

Ночью же пришло разрешение Москвы (Тимофеич взволнованно ждал на рации, выкуривая трубку за трубкой, и, получив радиограмму, бросился, торжествуя размахивая ею, к пилоту), а на рассвете самолет с доктором на борту уже летел, взяв курс на запад, в бухту Надежда. В комбинезоне пилота лежала запечатанная в конверте радиограмма Гали.

— Это лекарство, — сказал Тимофеич, отдавая конверт пилоту. — Лучшее лекарство в мире.

Сам же Степан Тимофеич засел на рации, чтобы держать связь с самолетом. «Пролетели Каменную Губу, — лихорадочно записывал он в журнал. — Летим тундрой — снежные заносы, видимость плохая. Бредем в тумане».

«Вернутся, — в отчаянии подумал он. — Неужели повернут обратно?»

«...Пробиваемся сквозь туман».

«...Ничего не видно».

«...4.40. Идем сквозь метель».

«...5.10. Пробились. Находимся над мысом Чертов Камень».

«Пробились! Пробились! — ликовал Тимофеич. — Ай, люди! Ай, ребята!»

Его мысли, чувства, надежды, страхи — все было сейчас там, на голубых ребристых крыльях самолета, с ребятами, закутанными в меха. Он пробивался вместе с ними сквозь снегопад, проваливался в туман, взлетал, снова падал, надеялся, отчаивался и все-таки продолжал пробираться вперед.

«Скорей, скорей! На выручку! Крепись, Вася! Мы летим. Мы уже над мысом Чертов Камень... 5.40... над заливом Креста... 6.10... над Тихой Губой... 6.40... Видим бухту Надежда... 6.45... Идем на посадку. Буду звать вас через УКЛ».

Идут на посадку. Связь обрывается. Проходят томительные десять минут. Сели? Нет? Все ли благополучно? Еще десять минут неизвестности. Что они делают сейчас? Вылезли из кабины. Идут по снегу к зимовке... Может быть, они сели в стороне... Еще десять минут, равных вечности. Что случилось? Почему молчат?

— УКЛ! УКЛ! — Еще десять минут. — УКЛ! УКЛ!

Что случилось?

И вдруг точки, тире, отчетливые, звонкие:

— Я — УКЛ, я — УКЛ. Узел! Узел! Я — УКЛ! Слышите ли вы меня?

— Ок, ок. Слышу, — радостно отвечает Тимофеич.

И ему кажется, что это, как и неделю назад, его вызывает Вася. Ничего не случилось, все померещилось.... Но он вслушивается в стучание далекого ключа. Нет, это не Вася. Не его рука. Не его голос, не его почерк.

«Передайте немедленно погоду тчк Вылетаем обратно».

— А радист?! Радист Вася?! — задыхаясь, стучит Тимофеич.

— Очень худо. Берем с собой.

— Жив! Все-таки жив!

И вот самолет в воздухе. Теперь на нем Кольванов. Теперь они летят сюда.

«...9.10... Выходим. Тихой Губе... 9.40. Прошли залив Креста».

— Что с Кольвановым? — спрашивает Тимофеич.

— Худо... Был на охоте. Один... Пурга... Очевидно, заблудился... Гора... Упал... головой о торосы... Сотрясение мозга. Ас (подожди) минуту... посмотрю, где мы... Слушаешь? Прошли Чертов Камень... Нашел его Савинцев... Молодчага парень... Не растерялся... Привез на зимовку... Смотался в соседнее стойбище... Послал оттуда ненца с запиской за доктором в бухту Белую... Но мы успели раньше... Сейчас без сознания... Доктор говорит...

— Что? Что говорит доктор?

— Доктор говорит — худо, но есть надежда... Главное — все без сознания. Подходим к острову... Видим ваш костер. Идем на посадку. Связь прекращаю...

Тимофеич без шапки выбежал на крыльцо рации и увидел, как кружит над бухтой машина; ее крылья, освещенные солнцем, казалось, были из расплавленного металла, на них было больно смотреть.

Когда он, одевшись, прибежал к самолету, там уже толпились оживленные зимовщики, догорал костер, ребяташки растаскивали головешки. Тимофеич протолкался к машине и увидел, как из кабины осторожно выносили человека в мехах. Он бросился на помощь, ему уступили место, принадлежавшее ему по праву, и он вместе с двумя радистами бережно понес Кольванова в больницу.

Когда больного освободили от мехов, Тимофеич впервые увидел лицо своего старого приятеля.

— Вот ты какой... Вот ты какой... — прошептал он, всматриваясь в острые, словно высеченные черты бледного лица Кольванова.

Он увидел седину на висках, глубокие, сильные морщины на щеках, сжатые губы. Глаза были закрыты. Он хотел бы увидеть их, почему-то решил, что они голубые. Бороды и усов у Кольванова не было, но на щеках, на крутом подбородке синела щетина, выросшая за дни болезни. И тогда увидел Тимофеич то, что не видно было другим. Он догадался о силе и воле этого человека, лежавшего без сознания перед ним. Он понял все.

Все было здесь, в этих синих щеках. Он брился ежедневно, тщательно, упрямо, боясь опуститься, расклеиться, ослабнуть. Вероятно, он сам часто стирал свои сорочки, менял ежедневно воротнички к форменной тужурке, следил за пуговицами. Вероятно, установил он

для себя железный регламент дня и строго следовал ему. Он боролся с собой, со своими мрачными мыслями, со своим одиночеством и выходил победителем из этой схватки.

— Вот ты какой... Вот какой... — шептал Тимофеич и почесывал бороду.

Он просидел в больнице весь день. Только изредка выходил на крыльцо выкурить трубку, вдохнуть морозный воздух. Потом торопливо возвращался. Сидел, нелепый и толстый, в белом больничном халате поверх ватной фуфайки, у постели больного, боясь пошевелинуться. Его мучили больничные запахи — карболки, хлороформа. Ему хотелось кашлять, чихать, но он сдерживался, боясь потревожить больного, нарушить таинственную и, вероятно, необходимую тишину больницы. Он сидел и испуганно озирался. Люди приходили и уходили, неслышно, как тени, а он все сидел, скорчившись на своем стуле, и глядел...

...Когда к Колыванову медленно, очень медленно вернулось сознание, он увидел, что лежит в незнакомой ему комнате, в которой он, наконец, признал больницу. Он не мог вспомнить, ни что с ним, ни как он очутился здесь.

Над ним склонялось какое-то незнакомое, но очень доброе лицо. Он увидел бороду. Рыжую бороду. Он вспомнил.

— Тимофеич! — прошептал он и улыбнулся.

Вот рассказ о Косте Лобасе, о парне, который мечтал стать героем, а был приказчиком интегральной кооперации в Хатангской тундре. Он говорил о себе с горечью: «Кузнец ковал из меня клинок для войны, а жизнь сделала нож для открывания консервных банок».

Он попал в Арктику с отчаяния. Вся жизнь Кости Лобаса складывалась раскосо, черт знает как. Где-то рядом, совсем близко от него, свершались подвиги, но его товарищам доставалась слава, а ему — одни мытарства.

Даже когда, убежав из дому, стал он беспризорничать, якшаться с ворами, мечтать о лихой, знаменитой краже, чтоб весь блатной мир содрогнулся и ахнул: «Вот это да! Вот это мастер!» — даже тогда ничего не вышло. Противно вспомнить: мелкие «ширмы», форточная работа, оборванные старушки с трясущимися ридикюлями и неизменный привод в милицию, где вежливые милиционеры составляли очередной протокол.

Он подался тогда на восток — искать форта и славы на золоте. Он побывал на Урале, на Лене и даже на никому не ведомом Аллах-юне. С разведческой партией бродил он по тощим речушкам Якутии, спал на земле, дрожал от холода в холщовых палатках, голодал, мерз... Если он все это вынес и не сдох, значит был-таки Костя Лобас парнем настоящих кровей. Отчего ж тогда не было ему удачи?

Уж он ли не старался! Эту проклятую мерзлую землю он мог бы растопить жаром своих желаний. Он кайлил вечную мерзлоту до тех пор, пока кайло не становилось горячим, но землю нельзя было согреть. Он раздувал гигантские костры, устраивал «пожог», багровые языки пламени лизали верхушки кедров, вокруг становилось жарко, как в чертовой печи, но он мог все леса сжечь, всю тайгу окрест подпалить, и все-таки ему не отогреть эту мерзлую, равнодушную землю.

Самый пламенный любовник отступился бы от такой ледяной красавицы. Но Костя упорствовал. Он был изворотлив и упрям, как черт. Он накаливал на кострах огромные камни и клал их на ночь в забой, чтобы порода оттаяла. Утром от земли шел пар; она потела, сочилась, становилась вязкой и податливой. Он обрушивался на нее — и встречал лед. Опять лед! Опять эти тонкие, но упрямые, колючие прожилки, похожие на веточки серебристого кварца. Кайло не могло их взять.

Да, то был дьявольский труд, а удачи не было.

Он мечтал: «Однажды, в грязи и глине, среди черных обманных кристаллов пирита, вдруг тускло блеснет самородок в два, в три, в пять, в десять фунтов». Чем дальше не было форта, тем тяжелее становился самородок.

Он представлял себе слиток золота так отчетливо, словно уже держал его в горячих ладонях. Тяжелый грязный кусок, похожий и цветом и формой на палый осенний лист. Он даже видел черные прожилки на нем.

Что он сделает с самородком? И это уже было обдумано. Никто не угадает, что сделает Костя Лобас со своим счастьем. Он завернет его в тряпицу, в настоящую тряпку старателя-золотишника, рваную и измазанную глиной, и принесет в ячейку. И швырнет на стол. И этак великолепно скажет: «Жертвую на самолет». Чтоб назывался тот самолет «Мечтатель Лобас», чтоб имя Кости Лобаса гордо сияло в небе.

Мальчишеские мечты! На минуту становилось жалко богатства. Так-таки все и отдать? Он колебался, но недолго. Все, все отдать, чтоб ни пылинки к рукам не прилипло.

Вот какой это был парень, Костя Лобас! Иногда он даже сам себе нравился. А никто и не подозревал в нем большой души. Люди верят фартовым. В перочинном ножике не угадаешь

кинжала.

Однажды эта жизнь осточертела Косте. Он бросил кайло и ушел на Лену. На Лене люди по золоту ходят, на золоте спят, золотом избы кроют.

На Лене было золото, много золота. Его презрительно звали «золотишком». Отчего же оно не далось Косте в руки? Щадил ли он себя? Спросите об этом в Бодайбо, вам расскажут легенды о Косте Лобасе. Он проникал в такие страшные щели, что казались они готовой могилой. Говорят, кровля дрожала над его головой, когда он дышал.

Старики за пол-литра открывали ему места, где некогда были «золотые алтари» — отменно богатые забои.

— Только вход туда запечатан. Все завалило.

Но Костя упрямо встряхивал кудрями: распечатаю.

И распечатывал. В эти мрачные узкие норы он проникал ползком, на животе, по воде и грязи. Его тело билось об острые выступы, мокрые ноги ныли, а он полз. Полз, стиснув зубы, прижав к себе лопату и лоток, привязав на шею коробок со спичками, приладив на спину мешок с едой и свечами. А за ним, гроыхая по камням, тащилась привязанная к ноге «баржа» — банка с водою.

В этой мокрой, вонючей яме Костя жил и работал по целым неделям, пока хватало свечей. Но, видно, зря жег свечи Костя Лобас, зря перетряхивал горы земли. Бог Удачи даже не взглянул на его свечи. Самородка не было.

А рядом, тут же на прииске, на галечном отвале, где роются по праздникам бабы и ребятишки, студент-горняк, приехавший на практику, балующись нашел самородок в три кило весом.

Три кило! Этого не мог стерпеть Костя! Он бросил свою проклятую лопату, бросил лоток и «баржу» и ушел с приисков. Начиналась зима. Но и это не остановило Костю! К черту! Он ни дня не останется здесь, на этой слепой и обманчивой земле.

Он обернул ноги газетной бумагой, натолкал в сапоги сена и пошел пешком, сквозь тайгу, в Киренск. Он шел много дней, и другому человеку, не Косте, одного этого перехода через гольцы и тайгу достало бы на всю жизнь, чтобы считать себя по горло сытым приключениями.

А Костя ворчал:

— Невезучий я человек! Перочинный ножик.

Так добрался он до «жилухи»^[6], до Иркутска, где пешком, где с обозом, где с ямщицкой гоньбой, а потом даже на самолете.

Но лучше бы ему и не лететь. Подошел к самолету этакой небрежно равнодушной походкой, похлопал варежкой по крылу: ничего машинка! словно всю жизнь летал — заглянул в кабину, а там... трехлетняя девчурка в мохнатом капоре — пассажирка! Так и прошло Костино воздушное крещение в малогероической компании: девочка всю дорогу шалила, ее мама дремала. Костю мутило.

В Иркутске Костя долго слонялся без дела. В три недели прокутил он весь свой фарт, перебрался на окраину, обедал в харчевнях, ел жареного харьюза и седло дикой козы, а по вечерам гулял по набережной Ангары с девушками — якутками и бурятками из национальной школы. От безделья и скуки стал читать. На беду подвернулся «Мартин Идеи».

Эту дьявольскую книгу Костя проглотил залпом, в одну ночь, а к утру решил, что и сам может написать такую же о себе.

Он искурил много трубок и исписал много бумаги. Каждый день он взвешивал написанное на руке: мало! Он знал теперь, что станет знаменитым писателем, но для этого следовало много написать.

Однажды он решил, что написал достаточно. Взял простыню, свалил в нее все написанное,

завязал в узел и поволок в редакцию. Ему сказали: зайти через две недели. Он провел эти две недели спокойно, как человек, сделавший свое дело и ожидающий награды.

Через две недели он пришел в редакцию. Уверенно поднялся по лестнице. Молча выслушал все, что сказал ему вихрастый парень в очках. Потом вынул трубку изо рта и спросил:

— Где у вас печка?

После этого он долго стоял на улице. Мимо прошли знакомые девчата, окликнули его. Он не отозвался. Стоял молча, уставившись в тумбу. Весенний ветер трепал желтый обрывок газеты. Чье-то знакомое лицо глядело на Костю. Подошел ближе. Расправил газету. Так и есть, портрет Васьки Хана!

— Неужто стали печатать в газетах портреты знаменитых бандитов? — усмехнулся Костя. Прочел надпись:

«Василий Ханов — лучший горновой домны № 7».

Он не поверил. Васька Хан — знаменитый горновой! Тут что-то не так.

Для Кости Лобаса не было дальних концов. Огромная страна казалась ему не больше, чем клетчатый носовой платок старателя. Недолго думая, он сел в поезд и поехал искать домну № 7.

Он нашел ее и нашел Ваську Хана.

В кургузом пиджаке и клетчатой пижонской кепке стоял Костя у горна домны и глядел, как орудует ломом у летки Васька Хан, знаменитый горновой. Багровое пламя металось по лицу Васьки Хана, асбестовая шляпа дымилась, а лом в его руках блестел, как шпага рыцаря. И все было послушно Ваське Хану: и печь, и лом, и пушка Брозиуса, заряженная паром; и подручные, торопливо исполнявшие отрывистые Васькины команды. И даже бешено рванувшийся из печи поток сразу же покорился Ваське, послушно побежал по желобу. Словно и не чугун вовсе, а парное молочко.

А ведь и Костя Лобас мог бы стать знаменитым доменщиком, шахтером, кузнецом. Отчего ж не стал? Но теперь было поздно, а Костя нетерпелив. Он даже не подошел к Ваське Хану, а потихоньку, воровски сбежал с домны, сел в поезд и уехал. Куда? Вот этого он и сам не знал. Куда глаза глядят. На край земли.

— Что вы умеете делать? — спросили у него в конторе, куда он пришел «наниматься в Арктику».

— Все! — гордо ответил Костя.

Но ему возразили, что «все — это значит ничего», и предложили ехать продавцом в тундру.

— Приказчиком? — Он горько усмехнулся. — Ну что ж! Все равно. Пусть приказчиком.

Странное оцепенение овладело им. Уж он больше ни о чем не мечтал, ни на что не надеялся. «Все равно, все равно, — думал он, отправляясь в далекий путь, — только бы от людей подальше!»

Равнодушно глядел он, как разворачиваются перед ним синие берега Енисея. Вокруг ахали люди: «Ах, тайга! Ах, медвежья глушь!» Он презрительно улыбался: то ли он видел! Тайга кончилась, началась тундра. Опять ахали люди: «Ах, тундра! Ах, просторы!» Он зевал и отправлялся спать в твиндек.

Так доехал он до моря, но и море не удивило и не возбудило его. Безучастно глядел он, как плещется о борт холодная, сизая карская волна. Что ему в ней? Он не моряк, а приказчик.

Потом он плыл по глухой реке в глубь Таймыра. Плыл долго, пока на реке появилось «сало» и караван не заторопился обратно. Косте сказали, что дальше он может добраться на оленях.

— Все равно, — ответил он лениво.

Пристал к оленьему арпишу, побрел за ним.

— Все равно, — шептал он, укладываясь спать где придется. — Все равно, — говорил он утром, трогаясь в путь.

По первому снегу добрались до фактории. Костя ожидал увидеть большой поселок с магазином посреди площади, вроде сельского универмага, а увидел одинокий бревенчатый домик с бочками на крыше вместо труб.

«Ну что ж, тем лучше!» — подумал Костя и впервые за всю дорогу улыбнулся.

Его встретил заведующий факторией, юркий человечиска с клочковатой бородкой и бегающими глазами.

— Очень приятно. Оч-чень, — сказал он Косте, протягивая потную руку.

Они пошли по берегу, к дому. Там и сям валялись ящики, бочки, груды мешков. От мешков исходил запах прели.

— Гниет, — равнодушно заметил Костя, а заведующий бросил на него быстрый взгляд.

Запах прели недолго преследовал Костю — он сменился запахом псины. Пахло псиной в лавке, и на складе, и в избе. Даже юкола^[7] на вешалах пахла не рыбой, а почему-то псиной.

— Воняет, — сказал Костя, а заведующий захохотал.

В жаркой избе был уже накрыт стол. Суетилась жена заведующего, полная и рыхлая дама, Таисия Павловна.

Пришел мрачный, молчаливый радист Игнатийч. Сел, положил на стол, уткнулся в тарелку.

— Пьете? — спросил заведующий у Кости и, не дожидаясь ответа, налил спирту в стакан. Стакан сразу заголубел.

— Олень — и тот пьет, — ответил за Костю радист, и все чокнулись. Косте показалось, что заведующий следит за тем, как он пьет; и, когда он поставил пустой стакан на стол, заведующий одобрительно крикнул.

Закусывали омулем и пирогами с рыбой.

— За орденом приехали? — спросил Костю заведующий.

Костя не понял, заведующий захохотал.

— Ну-с, орденками тут и не пахнет. И не мечтайте! Комсомолец небось? Нет?

Косте показалось, что заведующий продолжает его ощупывать.

«Ну, да черт с ним! — подумал он, снова чокаясь. — Будет приставать, набью морду».

К вечеру они, впрочем, сдружились. Изрядно выпили. Заведующий Тихон Петрович (жена его звала Тишей) безостановочно болтал, Игнатийч усердно ел, Таисия Павловна кокетливо

вздыхала: «Ах, разве здесь жизнь? Ни театра, ни модистки. Вот когда Тиша был председателем советской власти в Тюмени...» — и жала под столом Костины коленки. Костя отодвигался.

Три дня продолжался пир по случаю приезда Кости, три дня бесновалась за окном пурга, а на четвертый день Костя, шатаясь, выполз на улицу и увидел, что мир изменился.

Все было бело вокруг. И лодка на берегу, и ящики, и мешки — все исчезло, все спряталось под снегом. Костя оглянулся назад, на домик, из которого он сейчас только вылез, но и домика не увидел. Наружу торчала только антенна, флажок на шесте да бочки, две дымовые и три вентиляционные. И Костя понял, что он навеки похоронен здесь под снегом. Стало ли ему страшно? Он и сам не знал. Поглядел-поглядел и проворчал:

— Э, все равно!

Он поселился в маленькой каморке подле склада. Чтоб не сдохнуть от безделья, затеял генеральный ремонт жилья. Вычистил каморку от грязи, соскреб плесень со стен, вымыл пол, но запаха псины истребить не мог (впрочем, он быстро привык к нему и уже не замечал). Потом сколотил себе стол, стулья, смастерил деревянный абажур для лампы. Подумал: «Что бы еще такое сделать?» Решил вдруг, что ему обязательно нужна качалка. Сделал качалку, старательно выточил ручки, обил их оленьим мехом. Качалка понравилась Таисии Павловне, и он, не задумываясь, подарил ей. Потому что в самом деле: на кой черт ему качалка? Потом он прибил вместо ковра на стену серое одеяло. На «ковре» повесил ружье, логи. Что еще? Фотографии? Но фотографий не было у Кости, потому что не было у него ни родных, ни друзей, ни знакомых.

Он долго и старательно возился с жильем, но однажды его испугала мысль: «А зачем все это? Неужто ты здесь помирать собрался, Костя?» И он бросил на пол молоток, так и не прибав к стене затейливо сделанную полку.

Снова стало скучно. Снова не знал, что делать, куда девать себя. Вдруг придумал, что займется спортом. Из веревок стал плести гимнастические кольца. Плел долго и упорно, а когда сплел и ввинтил в потолок, они уж ему опротивели.

На полке в фактории случайно нашел фотоаппарат. Начал возиться с ним и возился долго; но, когда научился владеть аппаратом, настала полярная ночь, а с ней и конец съемкам, а когда ночь кончилась, он уже забыл о своем увлечении, и аппарат мирно пылился в углу. И ружье пылилось на «ковре», так и не снятое ни разу, и лыжи покрывались изморозью в сенях, так и не тронутые, и книги валялись кучей в углу, так и не читанные Костей.

А независимо от его желаний и порывов жизнь на фактории уже сложилась и текла размеренно и рутинно. Ему оставалось только покорно пристать к ее течению и плыть без дум, без желаний... Он так и сделал. Днем — возня с ящиками на складе, вечером — преферанс и спирт.

И Костя знал уже, что Игнатъич будет пить молча, и чем больше будет пить, тем будет мрачнее, пока не закричит: «Все вы сволочи! Все Течека», — что означает предел Игнатъича. А Тиша, напиваясь, будет все болтливее и болтливее и станет рассказывать, как был он председателем исполкома в Тюмени и все его уважали и боялись, а потом объявили «правым уклоном» и вышвырнули вон. «Как тряпку, да-с, как вонючую тряпку», — и заплачет, и это будет предел Тиши. А Таисия Павловна, хмелея, начнет тискать Костины коленки и будет распухать, как опара, а потом, жарко дыша, полезет к Косте целоваться, и это уж будет ее предел, потому что очнется пьяный Тиша и полезет с Костей в драку, а Костя стукнет кулаком о стол и пошлет всех... и это уж будет предел Кости, после чего он очнется на койке у себя в каморке и будет плакать пьяными слезами, и ругать себя перочинным ножиком, и проклинать незадачливо, раскосо сложившуюся жизнь.

А на следующий день к вечеру все снова сойдутся за картами, и снова станут пить, и снова пойдет все то же самое, мрачное, противное и неотвязное.

Иногда на факторию приезжали ненцы, привозили пушнину. Их олени табором располагались вокруг избы. Становилось шумно, оживленно. Костя с любопытством смотрел на косматых, нечесаных людей.

— Дикари! Самоеды! — презрительно кричал Тиша. — Ну, чего привезли?

Они кланялись и называли его «купес», — он и в самом деле был похож на купца. Становился даже шире в плечах, величественнее. Брезгливо выхватывал песцовые шкурки из рук, встрахивал, глядел на свет, потом небрежно швырял на полку.

— Войва! — кричал он ненцу. — Войва ннохо... Плохой песец... Ну, чего тебе дать за него? Бери вот... — Он совал в руки ненца мыло, розовые подтяжки — все, что попадало под руку. Ненец ворчал, не хотел брать ненужные ему вещи.

Тиша сердился:

— Бери, бери! Бери, что дают... А то вовсе ничего не дам.

И они брали. Брали, ворча, бросая гневные взгляды исподлобья, но это только потешало Тишу.

А если ворчание становилось угрожающим, Тиша подмигивал Косте, и тот приносил синюю бутыл. Тиша подносил ворчуну чарку огненной влаги, ненец проглатывал ее и моментально пьянел. И Костя смеялся, глядя, как косолапит пьяный и выкрикивает пьяные песни.

Иногда ненцы оставались гостить на два, на три дня. Таисия Павловна не пускала их в жилые комнаты, кричала, что они вшивые и вонючие, и гостей укладывали на ночь в грязном закутке подле собачьего катуха. Они спали там, дрожа от холода, «Что ж, — думал Костя, — это Арктика, проклятый край, медвежий угол. Какого черта забрался я сюда?»

Иногда Тиша уезжал на несколько дней в тундру «по торговым делам», и тогда ночью в дверь Костиной каморки раздавался осторожный стук, входила Таисия Павловна в одном капоте, кралась к Костиной кровати, Косте были противны и ее мокрые губы, и потная спина, и липкие, жадные руки. И всякий раз, провожая ее к двери, он говорил угрюмо:

— Ты больше не ходи.

Но она только хихикала в ответ и на следующую ночь являлась снова. И не было у Кости сил выгнать ее.

Однажды он не пустил к себе Таисию Павловну. Она долго стучалась, звала его и, наконец, ушла, расплакавшись. Он слушал ее всхлипывания, стиснув зубы. Потом ему стало жаль ее.

«Ну за что я ее обидел? — подумал он. — Старая баба, кто ее пожалеет? Последние свои ночки догуливает. Может быть, она и в самом деле любит меня?»

Ему стало нехорошо и тревожно, в ушах все время звенели обиженные всхлипывания женщины. Он встал и тихонько пошел в ее комнату. Там никого не было. Он испугался: уж не бросилась ли она от обиды в ночь, в тундру.

Он стоял, взволнованный, и прислушивался: жалобно скрипела крыша, ветер выл за окнами. Ему показалось вдруг, что он слышит смех. Смеялись в комнате Игнатича. Он узнал сытое хихиканье Таисии, услышал возню... И тогда он вдруг расхохотался. Расхохотался зло и громко. Вышел на улицу, стоял без шапки под ветром и хохотал, упершись руками в бока...

Теперь он старался вовсе не выходить из своей комнаты. Лежал по целым дням на койке и глядел в потолок.

— Зачем ты живешь на земле, Костя? — спрашивал он себя громко, и скрипы в углу отвечали ему: «Зря!»

«Зря?»

«Да, зря! Каждое существование имеет смысл. Эта койка существует для того, чтобы я спал на ней. Не ее вина, что спит на ней бездельник, — она служит честно. Собака — везет нарту, Игнатич — три раза в день отшлепывает свои метеосводки. Таисия — и та знает свое призвание: печь пироги с рыбой. А ты, Костя? Что делаешь ты?»

«А ведь есть, — думал он, ворочаясь на койке, — есть и высокие предназначения в жизни. Не все же пироги да сводки. Есть вещи, за которые люди и на смерть, как на праздник, идут».

— И я пошел бы! — кричал он, вскакивая. — Ну? Укажите, пойду!

«Укажите? Ишь ты, какой ловкий! Сам найди!»

Так он ссорился сам с собою, пока, измученный, не засыпал. Но и сны были страшные, бредовые. Он просыпался в холодном поту и долго не мог сообразить, где он и что с ним.

Все чаще стали находить на него приступы страшной тоски. Ему казалось тогда, что облипает его со всех сторон липкая, тягучая тьма. Дрожащими руками зажигал он лампу, но тени не уходили из комнаты, а угрожающе сгущались в углах. И Косте казалось, что ночь никогда не кончится, никогда не блеснет здесь солнечный луч; снег, придавивший их избу, никогда не растает: навеки суждено Косте жить в полуночном, мраке, погребенным под сугробами. И ему становилось страшно. Он понимал: это полярный психоз. Но он знал от него только одно лекарство: спирт.

И Костя стал каждый вечер напиваться. Но и пьяный, он не знал покоя. Он остро ненавидел себя и свое пьяное, беспомощное тело; хотелось вышвырнуть это тело на мороз, бросить эту темную голову в петлю, положить эту шею под нож.

Все чаще стали являться мысли о самоубийстве.

«Лучше умереть, чем так жить, — думал он. — Зачем живешь?»

«А умрешь зачем?»

«Умирают не зачем... а... а просто умирают. Исчезают с земли, как снег весной».

«Врешь, Костя. И умирают „зачем“. Какое оправдание твоей жизни? Одни люди оправдывают свою жизнь тем, что жили правильно, другие тем, что умерли правильно. А ты? Люди спросят: что сделал в жизни Костя Лобас? Хотел славы — не добыл, искал золота — не нашел. Играл в преферанс с сукиным сыном Тишей да пил спирт? И не будет оправдания твоей жизни».

«Значит, и выходит: надо мне умереть».

«А какое оправдание твоей смерти? Умер потому, что не умел жить? Ой, плохо о тебе вспомнят люди, Костя Лобас! Вспомнят? Да кто вспомнит-то? То-то и горько, что никто не вспомнит. Одинокий я человек на земле. Перочинный ножик».

И тогда ему становилось до боли жаль себя. Он жалел и свое тело и беспокойную голову и уж не думал бросать ее в петлю, хотя и не знал, куда же ее кинуть, где найти ей приют и покой.

Однажды он понял, что пропадет здесь: «Сопьюсь или сойду с ума». Ему стало страшно. Он заметался по комнате. «Бежать! Бежать! Бежать отсюда, от этого мрака, от этих людей, от всей этой проклятой, ненужной жизни...» Он бросился к календарю: «Сколько еще осталось?» Лихорадочно рвал листы. «Август, сентябрь, октябрь, ноябрь, декабрь — прочь, прочь, прочь...

Сколько еще осталось? Какое сегодня число?» Он сбился со счета. «Проклятая, вечная ночь... Но скоро конец этому». Он уедет. Точка. Он уедет отсюда.

И тогда сразу, от одной мысли, что бред его скоро кончится, ему становилось легче. Он стал чаще ходить в тундру. Подолгу простаивал на холме, нетерпеливо всматриваясь в восточный край неба. Как ребенок, обрадовался он первому серому лучу солнца. «Не уходи!» — готов был закричать он, но солнце ушло, не побыв с ним и трех минут.

Ему хотелось поторопить весну. Он искал ее признаков во всем и всюду. С волнением отмечал каждую новую трещину во льду на реке, радовался, замечая, как понемногу съезживается и чернеет снег, прогретый солнцем, как появляются на корке наста пупырышки. Первая оттепель чуть обнажила землю, и из-под снега на холмах выглянули черные прогалинки. Это был первый клочок земли, который он здесь видел за девять месяцев. Земля была покрыта бурым мхом, жалким, сморщившимся, но она показалась Косте прекраснее заволжских степей. И долго стоял он, склонившись над этим маленьким черным клочком, жадно вдыхая в себя запах земли, самый чудесный, самый волнующий запах в мире.

А потом наступило лето, пришел и ушел август. Настал сентябрь. По целым дням теперь простаивал Костя на высоком берегу реки, ожидая каравана. Каравана не было.

Тревожные вести приносил к столу Игнатъич.

— Не будет каравана, — твердил он. — Пролив Вилькицкого забит льдом. В Карском — лед. В устье Пясины караван еле прошел третьего дня. К нам не успеет. Тяжелый год. — И, прихлебывая чаек из алюминиевой кружки, спокойно спрашивал Тишу: — Что будем делать, начальник?

— А смерть придет, помирать будем, — смеясь, отвечал тот.

И Костя в сердцах швырял о стол ложку и уходил на берег.

Наконец окончательно выяснилось: каравана не будет. Об этом ехидно сообщил Косте Тиша.

— Еще позимуете с нами, Константин Иваныч, уж не побрезгуйте, — хихикнул он.

— Уж позимую! — ответил сквозь зубы Костя. И вдруг представилась ему зима, и ночные кошмары, и скрипы в углу. Захотелось завывать, заскрипеть зубами, но он сдержался. Не распускаться же на радость Тише.

За столом в этот день царило тягостное молчание. Таисия Павловна сердито швыряла на стол тарелки. Игнатъич хмурился. Костя мрачно ковырял вилкой в тарелке. Один только Тиша чему-то улыбался.

— Вы чему радуетесь-то? — крикнул на него Костя.

— А что ж, плакать мне? Не баба. Не пижон. Умею глядеть в лицо трудностям.

— Радиogramму пошлем, а? — спросил Игнатъич.

— О чем это?

— Да вот... о бедственном положении. Сами знаете... Остались мы без подвоза.

— Нет, радиogramму я посылать не буду. Начальство не любит получать огорчительные радиogramмы.

— А жевать чего будем? — крикнула Таисия.

— Жевать будем, котик, чего нам настряпаешь, — кротко ответил Тиша. — Еще хватит на нас с тобой на окладе. Проживем.

— А тундра? — мрачно спросил Костя.

— Тундра голодает. Не скрою. Но в том, брат, не я причинен. Не я, — развел он руками. — Да вы о тундре, милый Костя, не беспокойтесь. Это ведь только по нынешнему времени им название ненцы, а допрежь звали их самоеды. Сами себя едят. Если с них ножом грязь да жир соскоблить, так и тем можно зиму питаться. Не пропадут! — И он захохотал, радуясь своей

шутке.

И таким нестерпимо противным было в эту минуту его лоснящееся жиром лицо, что Костя не вытерпел и швырнул в него тарелку. Завязалась драка, завизжала Таисия, и только Игнатийч невозмутимо глядел, как катаются по полу мужчины, и сосал трубку.

А вечером снова все вместе пили, и Костя, напившись, бахвалился, что уйдет из этого проклятого места пешком через тундру, как раньше уходил с прииска через гольцы. Но не тот теперь был Костя, да и некуда ему было уходить. Охмелев, он начал сочинять стихи:

Скука, скука, скука...

Скоро и ночь придет, паршивая сука.

— Вы поэт! — кричала Таисия Павловна в восторге. — Клянусь жизнью, вы поэт, Костик! Но успех Кости взбесил Тишу.

— Поэт! — заорал он. — Вот не давать ему завтра жратвы — и нет поэта. Это я, я один поэт. У меня склады. У меня мясо, сахар. У меня мука. Я! Я один! Один на всю тундру. Го! Ко мне все придут. Все поклонятся — спасай! Ха! Мехом кланяться будут, пушнинкой... Хо-хо! Горы мехов... Песцы, росомахи, горностаи, волки — га! Лисицы голубые, белые, серебристые... Все у моих ног. Несите! Несите! — замахал он руками, захлебываясь. — Несите! У меня мясо и хлеб! Я дам, я добрый. Я сильный. Мой закон над тундрой. Я — хозяин. Го! Я — власть! Я — поэт. Когда я был председателем в Тюмени...

И снова потянулась прошлогодняя рутинная жизнь. Тиша оказался прав: «жевать было чего». По-прежнему подавались к столу жирные, масляные пироги и розовая строганина. Если и был в чем недостаток, так только в спирте. Его запасы таяли удивительно быстро, Тиша только плечами пожимал.

— Экую прорву выпили. Ну, люди! Орлы!

Стали пить денатурат, выпили весь одеколон и духи из лавки, пить, стало нечего. Тогда Игнатийч научил Таисию варить бражку. Костя заикнулся было, что преступление в голодное время тратить зерно и сахар на брагу, но Тиша закричал:

— Пей, гуляй! Раз живем!

И Костя замолчал.

Подоспели именины Таисии. Тиша затеял пир на весь мир и назвал гостей.

«Что ж подарить имениннице? — думал Костя. — Цветы? — Он усмехнулся. — Духи?»

Он пошарил на полках в лавке — ничего не нашел, все выпили. Тогда он вспомнил, что в сенях стоит непочатая трехпудовая бочка варенья. Прикатил бочку в избу и торжественно преподнес имениннице.

Таисия Павловна была тронута подарком, а Тиша меланхолически отметил в грессбухе: «Взято К. И. Лобасом из лавки: бочка варенья, 3 пуда».

Приехали гости: фельдшер с женой, промышленник с Восточного берега, охотовед из Белужьей с женой. Зашумел пир. Зазвенели бокалы. А Костя, в котором все время плясал чертик задора, нашел в груди пыльных книг томик Пушкина и объявил, что хочет декламировать.

— Просим, просим! — закричали гости.

Вызывающе блестя глазами, Костя стал читать «Пир во время чумы» и, читая, все время глядел на Тишу. Но никто не понял его демонстрации, все шумно зааплодировали, когда он кончил, фельдшерша взвизгнула: «Браво!», а Таисия наградила чтеца горячим взглядом. Он яростно швырнул Пушкина в угол и стал мрачно хлебать брагу.

«Сволочи! Все сволочи! — думал он. — И я сволочь. Перочинный ножик».

Шатаясь, встал он из-за стола, опрокинул чашку, что-то разбил, зацепил рукавом, кого-то толкнул и пошел, покачиваясь, к дверям. На воздух!

Стояла тихая, ясная, морозная ночь. На синем снегу мерцали лунные блики, и казалось, что этот снег цветет, расцветает невиданными узорами заструг.

Костя взглянул на небо — там вокруг истинной луны встало семь ложных лун. Но Костя уже видывал это и не удивлялся. Он не был философом, — что думать ему о ложных лунах? Все лживо, вся жизнь Кости Лобаса сложилась лживо, раскосо, черт знает как. Хотел стать героем, стал сволочью...

Он прислонился к косяку двери и замер. Великая тишина стояла в мире, — такая тишина бывает только на Севере. Тишина тундры, закованной в снег. Тишина реки, скованной льдом. Тишина неба, скованного морозом. Тишина могилы. Синяя тень на всем...

Но один звук все же нарушал эту тишину. Костя прислушался: звуки повторялись механически мерно. То были звуки удара чем-то мягким о что-то мягкое. Он обернулся и увидел: у дорожной нарты, согнувшись и опустив руки, стоял высокий приезжий ненец, а вокруг него молча прыгал маленький, яростно оскалившийся Тиша и хлестал ненца по голове и щекам пушистым песцовым хвостом. Ненец стоял неподвижно, не уклоняясь от ударов, он только втянул голову в плечи, и Костя увидел, что эти плечи дрожат мелкой дрожью, а по щекам катятся грязные слезы и замерзают.

А вокруг людей, присев на задние лапы, сгрудились похожие на волков собаки. Они не лаяли, не шевелились, а только смотрели, как один человек бьет другого. И Косте показалось, что в их глазах прыгают огоньки. И все вокруг пахло псиной. Этот запах, к которому совсем уже было привык Костя, сейчас был невыносим, Невыносима была вся эта молчаливая сцена — и замерзающие слезы на щеках ненца, и вздувшиеся скулы Тишки, и блеск собачьих глаз, и запах псины, псины, псины... Костя оторвался от косяка и одним прыжком был подле Тишки.

— Брось! — закричал он, хватая его руку, и сам не узнал своего голоса — таким он был тонким и натянутым, как струна.

— Прочь! — прохрипел Тиша и оттолкнул его.

И тогда Костя, не помня себя, вырвал из его рук песцовую шкурку и яростно начал хлестать начальника по голове, по плечам, по морде... Ключья рваного меха посыпались в стороны, Тиша завизжал, упал на снег, и тогда Костя стал топтать его сапогами... А вокруг них все теснее смыкалось кольцо похожих на волков собак, все нестерпимее становился удушливый, жаркий залах собачьего тела. И тогда очнулся Костя. Ему показалось, что от него самого, от его рук исходит терпкий запах псины. Брезгливо швырнул он песка на снег, небрежно ткнул сапогом вздрагивающее тело Тиши и ушел к себе. А за ним послушно побрел ненец, так и не сказавший еще ни слова. Они вошли в Костину каморку. Костя заложил дверь бревном и грузно опустился на кровать.

Ненец сел на корточках у порога и не отрываясь смотрел на Костю.

— Тебя как зовут? — хрипло спросил Костя, потому что надо было что-то сказать.

Ненец долго не отвечал, потом произнес тихо:

— Яптуне... Василий...

— Что ж ты молчал, Василий? — продолжал Костя. — Что ж ты ему сдачи не дал?

Ненец ничего не ответил.

— Ты ведь сильнее его, Василий! Он маленький, дохлый. А ты вон ведь какой!

Ненец опять долго молчал, качал головой, потом сказал, не улыбаясь:

— Однако он сильнее.

— Он?

— Купес сильнее Яптуне. У купса мясо, мука, каросин...

— Врешь!.. — закричал Костя, вскакивая с постели. — Ты сильнее. Не его это мука. Твоя мука. Тебе ее государство прислало. А он, рыжий черт, из нее брагу варит. И пьет. — Он вдруг остановился, вспомнив, что полчаса назад он сам пил эту брагу. Ну что ж! Он прямо посмотрел в лицо ненцу и прокричал: — И я пью! И я сволочь. Ну?..

Но Яптуне не трогался с места. Он сидел у порога, раскачиваясь всем телом, и курил. А потом начал говорить тихо, размеренно, словно песню или молитву:

— Плоха... Шибко плоха... Голудно... Очень шибко голудно тундре... Помираем, однако. Патронов нет — охоты нет. Охоты нет — мяса нет, табаку нет. Зверя нет — муки нет, чаю нет. Чаю нет, табаку нет — шибко скучно Яптуне. Помирает он. Голудно, очень голудно.

В его голосе не было ни жалобы, ни стоны, только покорность судьбе, но было страшнее крика это равнодушие обреченного. И Костя заметался по комнате.

— Войва... — продолжал свою песню Яптуне. — Плохой купес Тиша. Недобрый. Что сделаешь? Взял Тиша у Яптуне песок, ничего не дал Яптуне. Ай, неправильно то! Шибко плоха. Раньше лучше начальник был. Добрый был, Лексей Иваныч звали. Большевик, однако, был. Ничего... Правильно... Яптуне за руку брал, за песка деньги давал, за деньги — товар давал. Правильно... Ничего... Правильно...

— Какой Алексей Иванович?

— Начальник был... С нами жил... Караван пришел — уехал Лексей Иваныч. Ай, жалко Лексей Иваныч!.. Плачут люди в тундре... Тундра плачет... Ветер плачет... Вода о берег бьет, плачет... Нет Лексей Иваныча... Ой, худо нам! Шибко худо-о, однако.

Костя почувствовал вдруг острую зависть к неведомому Алексею Ивановичу. «Вот жил человек здесь же, может быть на этой койке опал, в это окно глядел, а уехал — и рассказывают о нем песни в тундре. А про меня скажут: жулик был, вместе с Тишей брагу хлебал. О!..» Он заскрипел зубами и еще яростней заметался по комнате.

В это время в дверь постучали. Изба наполнилась шумным пьяным гомоном, и медовый голос Таисии Павловны произнес:

— Что же вы покинули нас, Константин Иванович? Ах, как невежливо!

Костя замер. Ничего не ответил. Прислушался. За дверью пошептались. Кто-то сказал: «Ну конечно же!» — а затем послышался веселый голос Тиши:

— Ну, брось дурака валять, Костя. Выходи. Побуянил спьяну, и хватит. Я не сержусь.

И все весело закричали:

— Мир! Мир! Мир!

«Мир! — Костя криво усмехнулся, взглянув на съездившегося у порога ненца, потом на дверь. — Нет, братцы, не мир!» Он молча шагнул к постели, сорвал с «ковра» пылившееся две зимы ружье и подошел к двери.

— Если хоть одна собака, — спокойно произнес он в дверь, — посмеет перешагнуть мой порог, я уложу ее на месте. Амба!

И для убедительности щелкнул затвором.

Сразу стало тихо за дверью. Потом перепуганные голоса: «Он с ума сошел!» Смятенный топот ног. И снова тишина.

А Костя весело, от всего сердца расхохотался. Он стоял с ружьем в руках у заложенной бревном двери и хохотал чисто, легко, радостно. Ну вот! Очень хорошо. Война.

Стерплю. И свидетеля позову, Игнатъича».

Костя яростно махнул рукой и выбежал. Что было делать теперь? Он снова бросился к Игнатъичу. Убеждал, просил, грозил, но радист только пыхтел трубкой и изредка ворчал:

— Уходи. Нельзя. Точка.

— Ссориться не хочешь? — наконец презрительно спросил Костя. — Боишься?

Игнатъич поднял на него глаза и ответил коротко:

— Боюсь.

И Костя подумал, что прав, пожалуй, Яптуне: «Купес сильнее — у него спирт».

Спирт! Только бы достать спирту. Игнатъич передаст радиogramму. Он побежал в лавку и начал шарить по полкам. В пыльном углу попался ему старый спиртовой компас. Он обрадовался находке так, как не радовался еще ничему в жизни. Вылил из компаса спирт и пошел к Игнатъичу. Теперь и он владел могучим оружием.

— Хочешь спирту, Игнатъич?

— Огонек? — недоверчиво поднял голову радист.

— Нет, чистый.

— Вре-ешь!

— Вот! — показал Костя голубую бутылочку. — Хочешь?

— Пирт тара, — по-ненецки ответил Игнатъич, и глаза его стали влажными.

Костя медленно поставил бутылочку на стол и посмотрел на Игнатъича.

— Понимаешь? — спросил он тихо.

Игнатъич взглянул на Костю, потом на бутылочку, потом опять на Костю, почесал щеку, облизнул сухим языком губы, сморщился.

— Понимаю.

— Ну?

— Хорошо.

— Когда?

— Ночной срок будет... Тогда и передам:...

— Правда? — закричал Костя и от радости отдал радисту весь спирт.

Но когда пришел ночной срок, Игнатъич был уже пьян и не мог работать, а когда протрезвился, и слышать не хотел о Костиной радиogramме.

Что было делать Косте? Он вдруг горько почувствовал свое бессилие. Броситься в тундру, выть, кричать? Но никто даже не услышит его криков. Биться головой о стену, драться, ломать табуреты на Тишиной плешивой голове? А в ушах все звенело: «Голудно тундре, шибко голудно...»

Началась страшная жизнь, вся исполненная глухой, потаенной борьбы. Молча сходились за общим столом обитатели фактории. Ни на минуту теперь не расставался Костя с ножом. Потом ему подумалось, что Тиша может отравить его пищу, грозился же он: «Уничтожу, изведу». И Костя перестал выходить к столу, сам себе стряпал, на ночь закладывал дверь бревном, чутко спал. И не смерть была страшна Косте. Сколько раз за свою раскосую жизнь глядел он курносой в глаза! Страшна была мысль: «Пропаду, так ничего и не сделав. И никто не узнает, за что погиб Костя Лобас, путанный человек! И даже Яптуне Василий не узнает. Еще сукиным сыном обзовет».

Как жалел он теперь, что отпустил ненца, не всучив ему писульки. Она дошла бы «торбазной почтой» до центра и сделала бы свое дело. И тогда не обидно было бы погибнуть. Но ни разу не пришла Косте мысль бросить драку, помириться с Тишей, жить, как раньше жил. Нет, эта мысль ни разу, даже в самые горькие ночные минуты, не вползала в его крутолобую башку. Черт подери! Будь что будет, но война. Несмотря ни на что. Теперь он дышал полной грудью, —

первый раз в жизни он правильно жил.

Но проходило время, а все оставалось по-прежнему. Избу совсем засыпало снегом. Настала вечная ночь. Никто не приезжал на факторию. Похороненные под сугробами, ворочались в тесной избе люди, остро, смертельно ненавидевшие друг друга.

И тогда Костя решил бежать.

Бежать — вот единственное, что ему оставалось. Уйти ночью, добраться до окружного центра, все рассказать.

Он стал лихорадочно готовиться к побегу. Собрал продовольствие, оружие, меховую одежду, нашел компас и однажды ночью, когда все опали, вынес все это из избы, сложил на нарту, взял девять лучших собак, обернулся в последний раз на проклятую избу, погрозил ей кулаком — и уехал.

Он помнил из рассказов ненцев, что до окружного центра надо долго ехать рекой, потом перевалить горы, выехать опять на реку, дойти до «перекрестка», где реки сливаются, и по новой реке уже легко добраться куда нужно.

Но, когда Костя очутился один в полярной мгле, он скоро потерял и реку и горы. Белая пустыня расстилалась перед ним, однообразная и холмистая. Что это было? Торосы или холмы? Он ничего этого не знал. Он был как слепой щенок в этом полуночном мире.

Он бросался то в одну, то в другую сторону, долго блуждал и, наконец, окончательно запутался. Собаки уткнулись в сугроб и стали. Вожак озабоченно обернул морду к Косте.

«Ну? — говорил его взгляд. — Куда же?»

Но Костя и сам не знал куда. Только сейчас он понял, на какое дело решился. Беспомощно огляделся вокруг, но не увидел ничего утешительного. Все было мертво и тихо.

Однако сдаваться было рано. Он вспомнил, что у него есть компас. Компас, черт подери! Что же ему еще нужно?

И Костя побрел за собаками на запад. Перелезал через какие-то обледеневшие бугры, брел, спотыкаясь и увязая в снегу, по тундре — и вдруг очутился среди дикого хаоса торосов (и тогда догадался, что вышел на реку), но через торосы было трудно тащить нарту, и он выбрался на берег, брел берегом, пока не потерял и берега и торосов... Но это теперь не пугало его, потому что компас, за которым он все время следил воспаленными глазами, неуклонно показывал путь на запад.

Так прошло много дней. Странно, что до сих пор он не встретил ни жилья, ни кочевья. Он и не знал, что тундра так мертва. Но, может быть, он проходил стороною, может быть, где-нибудь в пятистах метрах на юг или север были люди? Он ничего не знал, но цепко держался принятого направления: на запад!

Иногда ему удавалось найти плавник, и тогда у костра отогревались и он и его собаки. Костя натаивал в котелке снег, варил себе из консервов похлебку, а собакам бросал юколу. У костра было легче мечтать об удаче. У костра тундра казалась живой и понятной, дорога — легкой, цель — близкой.

Но он покидал костры для дороги и снова брел, — замерзал и падал от усталости и голода, и снова подымался, и снова брел... Собаки обессилели, и он сам теперь впрягался вместе с ними в лямку и тянул, Он тянул честно, изо всех сил. Ему было жаль собак.

Когда Костю застигала пурга, он вырывал в снегу яму и прятался в ней вместе с собаками. Так было теплей и ему и им. И он спал, зарыв голову в их мохнатый мех. Теперь не раздражал его запах псины, а даже радовал: то был запах жизни, запах теплых, живых тел.

Но жизнь еле теплилась в Костином теле. Все труднее стало тянуть нарту. Он стискивал зубы и кричал на себя:

— Ну ты, кляча! Тащи! Еще! Еще немножко! — а потом, обессиленный, валился на снег;

вокруг, дрожа от холода, сбивались измученные, голодные собаки и жалобно глядели на него. А он не знал, к кому эта жалость — к себе или к нему, к их хозяину и другу...

Он лежал на снегу, тяжело дышал и разговаривал с ними:

— Ну, ничего... Вот отдохнем немного... Потом в путь... Теперь скоро...

Ему казалось, что они понимают его, как он понимал их.

И, отлежавшись, Костя снова впрягался вместе с собаками в лямку и трогался в путь. Его щеки обморозились и болели. Ноги, ни разу не бывшие сухими, покрылись ранами, на них было мучительно ступать. Но он все еще не хотел сдаваться, и упрямо тащил нарту, и глядел то на стрелку компаса, то вперед на дорогу.

И теперь часто стали мерещиться ему города впереди. Он видел, как клубится дым над избами, слышал людские голоса, собачий лай... Он напрягал последние силы, весело кричал:

— Эгей! Ну вот... Ну вот и добрались!

Но города исчезали так же быстро, как и появлялись, дома оказывались острыми торосами, а дым — снегом, сдуваемым со скал. После миража было еще труднее идти и надеяться, что придешь.

Он решил больше не верить обманчивым видениям. Так было легче, спокойнее. И, когда однажды увидел на высоком берегу избушку, он и ей не поверил.

Но то было настоящее, реальное жилье. Он добрался до него, истратив последние силы, и упал на снег у самого порога.

То было брошенное на зиму рыбацье летовье, почти по крышу занесенное снегом. Хватит ли у него сил отрыть вход в избу? Есть ли в ней продовольствие, дрова, спички?

Он сказал себе:

— Костя Лобас, это твой последний шанс жить... — и с трудом поднялся на ноги.

Лопата... А ведь была у него лопата. Хорошая, железная. Он стал искать ее на нарте. Шарил коченеющими руками. Еще и еще раз перетряхнул вещи. И, наконец, понял: потерял.

Потерял... Он стоял, совсем подавленный этим новым несчастьем, и с тоской глядел на избушку. Ему вдруг представилось: в избе, на столе, лежат горы снеди. Караваи душистого хлеба. Башни консервных банок. Гирлянды колбас. Розовые круги сыра. И мясо, мясо, мясо, сочное, окровавленное, жирное... Он почувствовал, как запахи пищи раздирают его ноздри. И тогда, не помня себя, он бросился к избе и начал руками отбрасывать снег. Он погружал руки по локоть в сугробы, потом упал на колени и по-собачьи стал рыть снег, пробираясь ко входу. Вдруг его осенила мысль: собаки! Он бросился к упряжке, сорвал лямки и освободил собак.

— За мной! — прохрипел он им и вместе с собаками бросился к избе.

Теперь они работали рядом, он и собаки, тело к телу. Его руки околенили, он сбросил варежки и стал дуть на пальцы, но его дыхание было чуть теплым, оно не могло согреть. Тогда он спрятал руки на груди, закашлялся и почувствовал, как холодеет тело и чуть теплеют руки. И снова стал рыть снег.

Он рыл долго, но все не уменьшались сугробы, все далек был вход в избу. А сил уже не было. В последний раз обвел Костя Лобас мутнеющим взглядом мир и увидел, как равнодушно дремлет полуночная тундра.

«Вот где нашел ты могилу, Костя!» — подумал он и обессиленно опустил на горы развороченного снега...

Он очнулся оттого, что стало жарко. Его нос щекотали запахи дыма и мяса. Он открыл глаза и увидел, что лежит на шкурах в чуме. Над ним склонились незнакомые косматые головы. Он понял, что жив и спасен. Он простоиал:

— А собаки?

Ему сказали, что собаки целы. Он улыбнулся. Ему подвинули миску с мясом, он стал есть. Его челюсти отлично работали. Не такой это парень, Костя Лобас, чтоб умереть зря. Он еще повоюет.

И, поев, он сразу же сказал хозяину чума, что должен ехать.

А так как никто не спросил его, откуда, куда и зачем едет, он сказал сам.

От стойбища к стойбищу полетела весть о том, что едет в окружной центр Костя Лобас за продовольствием для тундры. «Оленье радио» опережало Костю, и всюду, куда б он ни приехал, его уже ждали: кипел жирный чай в ведрах, плавало мясо в котлах, лучшие шкуры готовы были стать его постелью.

Так он брел по большой дороге тундры, узнавал людей, и чем больше узнавал, тем больше любил, потому что все они были честные и простые люди. Он сидел у их костров и слушал их речи и жалобы, иногда — если то было по пути — брел за их стадами. Он ночевал в дымных чумах, в берестяных, обшитых шкурами тордоках, в походных балках. Ему особенно понравился балок, этот легкий домик на полозьях.

Он спросил:

— Отчего все живут в грязном чуме, когда можно жить в балке?

— Оттого, однако, купес, — ответили ему, — что балка взять негде.

И Костя подумал, что, будь он заведующим факторией, балки были бы у всех жителей тундры.

Расставаясь с хозяином ночлега, он спрашивал:

— Что привезти тебе, хозяин, из центра?

О! Что привезти? Охотник просил новое ружье, женщины — железный котелок для варки пищи, ребятишки — игрушек. Велики были нужды тундры, и, чтоб не забыть их, Костя стал все записывать. У него скоро получился длинный список. Тут было все: и брезент для чума, и подползки для нарт, и посуда, и стальные иглы, и сукно, и бусы, и чай, и табак, и музыкальный ящик охотнику Афанасию Хатангскому, и медный чайник Федору Яру... Хотел этого Костя иль нет, а он должен был все это привезти людям в тундру, чтоб оправдать их гостеприимство и надежды.

Наконец добрался он до окружного центра. Олени весело вбежали в большое село над сонной рекой, и ненец проводник спросил Костю:

— Куда?

Костя подумал-подумал и махнул рукой.

— В энкаведе.

Но в НКВД не оказалось начальника.

— Он уехал в тундру, — сказал дежурный. — Скоро вернется. Есть помощник.

— Ну что ж, давайте помощника! — закричал Костя, и его пропустили к помощнику.

Это оказался молодой паренек, весь в ремнях. Ремень для нагана, ремень для сумки, ремень поясной, и даже оленьи бокари были подвязаны к поясу ремнями. Все ремни были новенькие, желтые, все скрипели, когда помощник вертелся на стуле.

— Я Лобас из фактории Трех Крестов, — объявил Костя.

— А-а! — засмеялся помощник. — Тебя-то мне и надо.

— Ну, вот я и приехал! — обрадовался Костя.

Помощник еще раз внимательно посмотрел на него, вызвал дежурного и приказал арестовать Костю Лобаса.

— Как? — закричал Костя. — За что?

— А ты сам знаешь за что! — крикнул ему вдогонку помощник, и Костя очутился за решеткой.

Странная судьба выпала Косте Лобасу; ему ничто не удавалось. Вот добрался он, наконец, до цели. И что же? Очутился в тюрьме. Он ни в чем не повинен, он выйдет, конечно, отсюда, все объяснится, — это, разумеется, Тишины шутки. Но поверят ли теперь в его рассказ? А если не поверят, какого же он черта умирал и не умер в дороге?

Через три дня его вызвали к начальнику, он уже приехал. Тут же в кабинете находился и помощник в скрипучих ремнях, только выглядел он очень смущенно. К своему удивлению, Костя заметил здесь и ненца проводника: тот обрадованно закивал ему головой, и Костя в ответ приветливо улыбнулся.

Начальник поднялся навстречу Косте.

— Извините нас, товарищ Лобас! — сказал он, протягивая руку. — Тут опечатка вышла. — И он бросил взгляд на скрипучего помощника; тот покраснел. — Вот прочитайте.

Костя взглянул на лист, протянутый ему начальником. То была радиограмма Тиши: «Сбежал, захватив кассу, продавец Лобас».

— Это вранье! — закричал Костя.

— Знаю, — ответил начальник и засмеялся. — Проводник у вас хороший. Где вы такого взяли? Три дня он тут бушевал: «Куда вы нашего купса дели?» А ко мне сегодня прямо на квартиру ввалился...

— Правда, правда, — закивал головой ненец. — Наш купес... Костя... Все одно брат мне... Товары... это правильно... Ничего...

— Ну, пошли! — сказал начальник и повел Костю и ненца по коридору в окружном.

Здесь, в кабинете, собралось много начальников. Костя никого из них не знал, но догадывался, что тут все окружные власти.

— Ну, рассказывайте, товарищ Лобас, — обратился к нему председательствующий на собрании.

Но в Косте еще не улеглась обида за арест, и он сердито пробурчал:

— Какая же вы власть на местах, если сами не знаете, что в тундре делается.

Многие — это заметил Костя — нахмурились, а один проворчал даже:

— Тундра большая... Ваш район далекий. Не везде так.

Но председательствующий перебил его:

— Значит, плохая мы власть на местах. Однако рассказывай.

И Костя начал рассказывать. Его выслушали, расспросили и, пообещав принять меры, отпустили.

Ну вот, теперь он свободен. Он сделал свое дело. Что ж дальше? Он вышел из окружка на улицу и тихо побрел по ней. Что делать с собой дальше? Он больше никому не нужен.

Дождаться весны, пароходов и уплыть на Большую землю, о которой так исступленно мечтал в тесной каморке фактории? Можно даже не дожидаться весны, а сесть на линейный самолет и улететь.

Но он откладывал и откладывал свой отъезд. Что держало его здесь? Он и сам не знал этого. Он подумал, что, вероятно, задерживают обещания, которые дал он ненцам. Да, да. Вероятно, это.

Он вытащил из-за голенища «скорбный лист», как называл список нужд ненцев, и перечел его. На него пахло дымом костров, он обрадовался этому запаху и, растроганный, улыбнулся. Со «скорбным листом» направился он в контору Интегралсоюза, нашел начальника, передал ему список, долго растолковывал, что нужно тундре, получил обещание, что все будет послано, и все же не уходил.

— Значит, сделаете? — спрашивал он начальника. Опять уходил и опять возвращался. — Но вы поняли, что нужно? Если чай, то кирпичный, если сукно, то яркое, если ружья, то обязательно с патронами к ним...

Наконец он ушел. Ну, вот и это сделано. Что же теперь еще? Уезжать?

Но мысли его неизменно обращались в сторону тундры: от них нельзя было отвязаться.

«У Федора с Крестов сейчас последнюю муку доедают, — думал он, обедая. — У одноглазого Яптуне уже кончился чай, он тогда еще говорил, что осталось на двадцать заварок».

Он знал запасы и нужды тундры, все, что варится там в котлах. Тогда он поспешно одевался и шел в окружном.

— Что же вы медлите? — кричал он секретарю.

В окружном уже знали Костю. Секретарь устало глядел на него и отвечал:

— Скоро, Костя. Теперь скоро. Подожди.

Ждать? Зачем было ждать Косте? Разве это его дело? Он был свободная птица. Он мог сесть в самолет и улететь на магистраль, чтобы снова броситься искать удачи и славы. Зачем же он оставался?

Он сказал себе: «В тот день, как уйдет караван с продовольствием в тундру, я уеду».

Однажды его спешно вызвали в окружном. Он не пошел, а побежал. Секретарь встретил его, сияя, и закричал:

— Ну, все в порядке, Костя! Есть директива центра.

— Ну?

— Нам разрешено взять пять тракторов со стройки... Разрешено мобилизовать оленей... Даны три самолета.

— Ну вот, — облегченно вздохнул Костя.

Теперь он может и уехать. Отчего же ему стало вдруг грустно?

— Садись, Костя. Что ж ты стоишь? У нас с тобой разговор долгий. Мы решили назначить тебя начальником транспорта, с тем чтобы, доставив грузы, ты принял дела на фактории и стал ею заправлять.

— Я? — испугался Костя.

Что испугало его? Нет, нет, только не транспорт, не дорога!

— Значит, — сказал он дрожащим голосом, — вы меня окончательно и бесповоротно записали в торговцы?

— А разве ты не хочешь этого? — удивился секретарь.

Хочет ли он? Черт его знает, он сам не знает, чего хочет! Он знает только, что не хочет уезжать отсюда, из этой тундры, от этих людей. Значит, прощай слава, мечты, надежды?..

Но ему некогда было думать об этом. Секретарь торопил его. Они погрузились в сметы, карты и расчеты. Через час он вышел отсюда начальником транспорта и заведующим факторией.

Транспорт тронулся в путь.

Впереди полетели самолеты и на головном — уполномоченный НКВД, имевший кое-какие дела на фактории, — Костя знал какие. Затем тронулась в путь легкая оленья упряжка начальника, а за ней — длинный и шумный олений аргиш. И, наконец, с грохотом и визгом пошла тяжелая артиллерия — тракторы.

Все это — летающее, ползающее и бегающее — подчинялось Косте. Перед ним лежала большая дорога тундры, та дорога, по которой три месяца назад брел он, умирающий, на обессиленных собаках. Теперь он шел по ней как победитель; его сани были тяжелы от грузов; скрипел снег под железными гусеницами машин; хрипло кричали механики, погонщики оленей, и, как ни трудна была дорога, Косте она казалась легкой.

То был переход, о котором и сейчас еще говорят у костров в тундре.

Олени падали на льду. Тракторы проваливались в наледь или увязали в торосах. Стояли такие жестокие морозы, что стальные тросы лопались, словно фарфоровые. Механики ворчали: «Дьявольский переход!» Но Костя не устал.

Он первым бросался выручать оленей, первым подставлял плечо под тракторные сани, он вел транспорт сквозь пургу по проклятой дороге и не замечал ни пурги, ни морозов.

По всей колонне звенел его веселый голос:

— Вперед! Вперед, товарищи, вперед!

Кто не испытал того, что чувствовал сейчас Костя Лобас, тот, значит, никогда не был на гребне.

О, он был теперь на гребне, на самой высокой волне своей жизни! По всей тундре летела весть о веселом «купсе Косте»; целые стойбища выходили на его дорогу.

Он узнавал старых приятелей.

— Эгей, Яптуне Василий! — кричал он с нарти. — Ты просил новое ружье. Вот я привез ружье. Счастливой охоты, Яптуне Василий! Я жду тебя с добычей на фактории.

— О? Кто это там? Федор Яр? Ты просил медный чайник, Федор. Вот чайник! Пей чай на здоровье, Федор Яр!

Он становился коробейником, первым коробейником тундры. Он уже мечтал, как будет носиться зимой по тундре со своим кочевым магазином-балком и в каждом чуме его будут принимать как желанного гостя. Он будет таким торговцем, какого еще не видали здесь! А слава? Что слава? Слава — дым. И он отмахивался от этих мыслей, как от дыма.

Он и не знал, что в эти дни имя Кости Лобаса не сходило со страниц газет. Вся страна следила за движением его продовольственного транспорта, и, когда на Волчьем перевале транспорт замело снегом, это знали все в стране.

...Он узнает о своей славе только через год, когда придут в тундру старые газеты.

Если вы попадете когда-нибудь на Тихий мыс, спросите у начальника тетрадку в черном коленкоровом переплете — «летопись» зимовки. На первой странице вы найдете наши имена. Мы основали станцию на Тихом мысе, мы были первой сменой, зимовавшей там.

Справьтесь по тетрадке, нас было шестеро: Федор Черных — геофизик, начальник и парторг станции; Валерий Петровский — метеоролог; Абрам Исаич Старк — врач; Яков Ставраки — радист; Алексей Богучаров — механик, и Капитон Павлович Макаров — кок. Скажу, не хвастаясь, что на всем Северном морском пути, от Уэллена до Югорского шара, не было зимовки дружнее нашей. Нас называли «мужским монастырем на Тихом мысе», но то был единственный в мире монастырь без свар, зависти и грязи.

Как родилась наша дружба? Во всяком случае, не из сходства характеров, потому что не было на свете более несхожих меж собой людей, чем мы шестеро. Мы были людьми разных профессий, разных возрастов, разных биографий, разных вкусов и привычек. Но все мы не были полярными новичками. Мы знали закон зимовки: «Не страшны полярные метели, страшны полярные склоки». И мы решили: пусть будут метели и пусть не будет склок.

У меня сохранилась фотография (она в дорожном мешке, и я потом покажу вам): на фоне черного осеннего моря, по берегу, обнявшись, идут шестеро. В центре, возвышаясь над остальными, белокурый длиннорукий и узкоплечий человек в мохнатом свитере, без шапки, с русой курчавой бородкой и застенчивыми голубыми глазами — Федор Черных, наш парторг и начальник. Он обнял маленького человека, прижавшегося к нему, — то наш милейший и ученейший доктор Старк. Он в пальто, обязательном воротничке и галстукe с булавкой, изображающей змею. Рядом с корректнейшей фигурой доктора — мохнатая экзотическая личность с рыжими пушистыми бакенбардами, вся в пегих мехах, в меховых штанах, в меховой рубашке, отороченной у воротника белым пушистым зайцем, что придает ему вид маскарадного Пьеро, Это — Валерий Петровский, зверобой и медвежатник. Ему жарко в мехах, но он презирает европейские пальто и тужурки. На поясе у него болтается охотничий нож с черенком из моржовой кости и костяной рожок для табака в медных колечках. Рядом с Черных, слева, радист Яшка Ставраки, прозванный на зимовках Яшкой Неунывако, на кораблях — Яшкой Ставраки. Говорят, что он родом грек, достоверно — что одессит. Форменная куртка небрежно висит у него на плече, левый глаз кому-то подмигивает. Он обхватил за толстую талию кока Капитона Павловича Макарова, которого все зовут Капитоном Павловичем или адмиралом Макаровым. «Адмирал от кулинарии» — ему нравится эта кличка. Ну, а шестой? Шестым был я, Алексей Богучаров, механик, вот такой, каким вы меня видите.

Так мы шагали, обнявшись, по морскому берегу, словно кричали: «Шире дорогу! Зимовка Тихого мыса идет!» Так мы и жили, крепко обняв друг друга за плечи, одно хитро слаженное тело, имя которому — зимовка. Нашим сердцем был Федор Черных — и это, друзья, было честное, мужественное сердце; нашим мозгом — доктор Старк; глазами, жадными, охотничьими, — Валерий Петровский; Яшка — беспокойные уши; я — просто руки, а кок Капитон Павлович — язык. И, надо отдать ему справедливость, язык этот был ловко подвешен.

Чудесно мы жили, друзья, на Тихом мысе. Мы отзимовали уже год, не сговариваясь, как будто это само собой разумелось, остались на второй и уже подумывали о третьем, когда девятнадцатого ноября произошло событие, резко изменившее нашу жизнь, а может быть, и судьбу каждого из нас.

В этот день, в полдень, я зашел в радиорубку к Яшке Неунывако покурить и поболтать или, если хотите, даже помолчать на людях, — это все равно. Когда долго живешь на маленьких

полярных станциях, научаешься разговаривать молча.

Одиноким человек — либо великий болтун, либо великий молчальник. Болтуну вовсе не нужен живой собеседник: вещи умеют прекрасно слушать. Наш кок, например, целый день беседует с кастрюлями. И то правда: никто не станет выслушивать вашу житейскую повесть терпеливее медного кофейника, из которого вы три раза в день пьете свой обязательный кофе.

Что касается меня, я люблю помолчать и послушать. Я люблю слушать человеческую речь, гудение ветра в проводах, поскрипывание снега, шум ломающегося льда. Вещи умеют прекрасно рассказывать, если вы любите слушать. Но они бывают и несносными болтунами. Вот старый движок в моей силовой, — он тараторит без умолку весь день. В его размеренной болтовне вы можете услышать все, что пожелаете. Он, словно подслушав, отвечает мыслям, только что родившимся у вас в мозгу.

В конце концов это становится нестерпимо скучным. Я давно слушаю его воркотню и знаю наперед, что он может сказать мне. «Че-пу-ха! Че-пу-ха! Че-пу-ха!» — пыхтит он. Тогда я встаю, вытираю паклей руки и иду к людям. Чаще всего в радиорубку.

Здесь за столом одиноко сутулится Яшка. Он оборачивается на стук двери. Я молча киваю ему головой. Он продолжает работать, я хожу большими шагами по комнате. Тикают часы.

Изредка радист раздражается гневным восклицанием: «Черт подери!» Карандаш с треском ломается. Я останавливаюсь и вопросительно подымаю глаза. Но Яшка уже по-прежнему стучит ключом, как дятел клювом. Тогда я произношу: «Д-да» — и снова начинаю ходить по комнате. Так мы беседуем. Потом я подхожу к столу и, заглядывая через плечо радиста, читаю радиogramмы, которые он принимает. Это очень забавно. Слова проступают на бумаге, как детали переводных картинок. Иные не окончены, другие пропущены, но уже угадывается общая связь слов, как угадывается в переводных картинках птица по клюву, китаец с ведрами — по коромыслу и косе.

Редко, совсем редко, но случается, что радиogramма, подсмотренная мною через Яшкино плечо, имеет непосредственное отношение ко мне. Проступают слова: «Тихий мыс. Алексею Богучарову». Яшка ухмыляется, а я, волнуясь, гляжу на чудодейственный бланк. На нем томительно медленно появляются слова. Кажется, что кто-то очень издалека (очевидно, мать — больше мне никто не пишет), заикаясь, говорит их мне. Хочется поторопить ее. Ну, скорее, мать, что там в конце — «целую» или «лежу при смерти»?

Так и в тот памятный день девятнадцатого ноября заглядывал я через плечо радиста и читал жизнь, скупую рассказанную телеграфными знаками. Вдруг я увидел на чистом еще листе бумаги слово, заставившее меня вздрогнуть. Сразу стало жарко и тревожно в радиорубке. Яшка взъерошил волосы и припал к бумаге.

Испытали ли вы это необъяснимое тягостное чувство — чувство неизвестной беды? Оно возникает у вас, едва вы прочли в заголовке радиogramмы зловещее слово «аварийная». Вам хочется сорваться с места, бежать, кричать, звать на помощь, бить в рельс. Вы еще ничего не знаете, но уже чувствуете на своих щеках горячее дыхание беды. Вы не знаете и людей, которых постигло несчастье, но они стали уже вам близкими и родными.

Я впился глазами в бланк радиogramмы. Что случилось? Где? На бланке появилось еще раз: «аварийная», потом: «всем, всем, всем», потом опять «аварийная», словно неизвестный радист заклинал всех, кто его слышал, отнестись со вниманием к его сообщению.

— Это в бухте Колючей, — прошептал Яшка. — Что у них там стряслось?

Наконец, на бланке стал появляться текст радиogramмы:

«Всем, всем, всем. Передать Москву Главсевморпуть тчк Невьясненным причинам зимовке бухты Колючей вспыхнул пожар тчк Горит жилой дом и примыкающие к нему склады тчк Сильный ветер препятствует тушению тчк Принимаем меры тчк Сейчас пламя подступает дверям рации зпт радиорубка дыму. Слышите ли меня тчк Передайте Москву зпт ждем указаний тчк Продержимся если надо без жилья тчк Все здоровы тчк Сейчас...»

Карандаш с треском сломался, Яшка схватил другой. Сейчас... Что происходит там сейчас?

Но больше ни звука не донеслось до нас из бухты Колючей. Напрасно звал ее Яшка — бухта молчала. Задохнулся ли радист в дыму, или, оставив аппарат, ринулся на помощь товарищам, или обрушились на рацию стропила пылающего дома и заставили замолчать, — ничего не было известно. Яшка в отчаянии бросил наушники на стол.

Я приложил ухо к репродуктору. Зачем — сам не знаю. Было тихо в эфире, тихо, как в гробу. Вот это и значит «станция выбыла из строя». Мы слышали ее агонию, ее предсмертный хрип. Это почти так же страшно, как смерть человека.

— Войнич... Вогнич... Вовнич... — бормотал Яшка.

— Что ты? — испугался я.

— Я хочу вспомнить, как звали радиста Колючей.

— Ты знал его?

Мы говорили шепотом, словно у постели больного.

— Нет. Новенький.

— Жив ли?

...В эту ночь в кают-компании на Тихом мысе было тревожно. Молча шагали мы по комнате, думали о товарищах из бухты Колючей. Что они делают сейчас? Одинокие, вероятно, бродят по пепелищу, греются у догорающих костров, вокруг того, что было раньше домом, складом, рацией и что сейчас — только дымящиеся головешки, собирают жалкие остатки продовольствия, подсчитывают драгоценные банки консервов? Спасли ли они хоть палатки, спальные мешки? Как будут жить?

Аварийная телеграмма медленно поползла по длинной цепочке полярных станций в Москву. Вместе с ней брела и наша радиogramма. Мы писали, что коллектив Тихого мыса горит желанием помочь потерпевшему соседу, — бухта Колючая была от нас всего в двухстах километрах по побережью. Мы ждали ответа и приказаний. Яшка не покидал радиорубки. Кок отбирал ящики с продовольствием. Я на всякий случай готовил к походу трактор, Валерий Петровский — «комендант мыса» и брандмейстер нашей пожарной дружины (потому что

каждый из нас был не только геофизик, механик, радист, а и топор, насос, багор, ведро), хмуро осматривал пожарный инвентарь и ворчал под нос что-то о нашей беспечности. Все нетерпеливо ждали сигнала Москвы. В такие минуты чувствуешь, что живешь в Арктике, на краю света.

Наконец пришел приказ Москвы. Он несколько озадачил нас. Нам предлагалось помочь бухте Колючей продовольствием и вывезти радиста Вовнича к себе. Остальным погорельцам — перебраться на соседнюю факторию и там готовиться к весенним геологическим работам.

Телеграмма эта озадачила нас. Почему Вовнича? Почему именно Вовнича? Яшка Неунывако даже обиделся.

— Кажется, я и один неплохо работал, — сказал он, надувая, губы. — Почему же именно радиста?

Но некогда было ни обижаться, ни гадать. Надо было немедленно собираться в дорогу.

Через три часа я уже был в пути.

Я не стану описывать вам путешествие до Колючей. К рассказу это отношения не имеет, а вам неинтересно. Скажу только как механик, что нет на земле машины честнее трактора «Сталинец». Что касается меня, то, когда я добрался до Колючей, у меня, как и у Пири, когда он достиг полюса, было только одно желание — выспаться.

Но меня так горячо встретили погорельцы, что об усталости я и забыл.

Они устроились на пепелище всерьез и надолго. Из снежных кирпичей сложили себе «Тинь-тинь-ярангу» — ледяной дом, кухню и продсклад — целый снежный город. Выглядели они бодро. Всего их было семь человек, среди них я заметил одну женщину. В кухлянке ^[8] она казалась очень толстой и старой, но лицо было молодое и нос синий-синий от мороза. Помню, тогда же я невольно подумал, что, вероятно, из-за этой востроглазой девицы немало было хлопот на зимовке. Нет, нет, не поймите дурно, я вовсе не враг женщин. Знаю, что бывают женщины куда дельней и талантливей мужчин. Но, знаете, честное слово, на зимовке, особенно на маленькой, женщине, право, нечего делать. Не нужно их там. Сколько я этих историй слышал, пережил, знаю!

Когда первые восторги встречи прошли, начальник спросил, грустно заглядывая мне в глаза:

— Вывозить нас будешь, механик?

Я молча протянул ему радиogramму Москвы. Он окинул ее беглым взглядом и закричал:

— Ура! Товарищи! Нам разрешено продолжать работу.

Черти, они радовались тому, что их не вывозят.

Начальник стал читать радиogramму вслух в напряженной тишине, прерываемой лишь свистящими порывами ветра, а я окидывал взглядом столпившихся вокруг людей, пытаюсь угадать: кто Вовнич? Мне понравилось смелое, открытое лицо одного молодого парня; несмотря на мороз, он был без кухлянки, в меховой рубаше и в очень кокетливой вязаной шапочке, какие носят лыжники в столице. Я решил, что это и есть Вовнич, и обрадовался. Славный будет у нас товарищ! Я весело подмигнул ему, он улыбнулся.

— Все, — сказал начальник, окончив чтение. — Ну, в дорогу, на новые фатеры!

— Я не поеду на Тихий мыс, — сказала толстая женщина в кухлянке.

Что? Я даже не понял сначала. Это Вовнич? Значит, в нашем мужском монастыре появится...

Ну что ж, я ничего не сказал вслух, друзья; я даже виду не подал. Но сердце мое тревожно сжалось. И до чего уютными и неповторимыми вдруг вспомнились мне тихие вечера у нас на зимовке, когда мы, бывало, шестеро мужиков, дымя трубками, сидим в теплой кают-компании у печки (а на дворе мороз, пурга, брр!) и чешем языки и хохочем. Или поем. Уральские песни, которым научил нас Черных, волжские — Валерия, блатные — Яшкины или старинные матросские, — их заводил жалобным, надтреснутым голосом наш старый капитан камбуза. Будем ли мы теперь петь, ребята? Будут ли они теперь, эти согласные, дружные вечера, после которых и зимовать легко и погибать не страшно? И недоброе предчувствие защемило душу. Но виду я не подал.

— Я не поеду на Тихий мыс, — повторила Вовнич. — Вместе работали, вместе горели, вместе и дальше жить будем.

Начальник грустно взглянул на нее.

— Ничего не поделаешь, Оксана, — сказал он и даже, как мне показалось, вздохнул. — Придется тебе ехать. У нас больше нет рации. Тебе нечего делать с нами... погорельцами.

Они долго еще спорили, да я уж не слушал. Во всяком случае, через неделю, когда я, закончив переброску погорельцев, стал собираться домой, Вовнич уже была готова к дороге.

— Садитесь, — пробурчал я, по совести сказать не очень вежливо, и махнул рукой.

Подошел старик повар, поглядел на девушку, покачал головой и сказал мне:

— Эх, механик, увозишь ты от нас наше солнышко!

А я только покосился на это посиневшее от мороза «солнышко» и ничего не ответил.

Вот едет охотник тундрой,
Славный, сильный охотник.
Его олени быстры...

Не помню теперь, ненцы ли научили меня этой дорожной песне, или сам я ее придумал, но только всегда в пути я ее пою. Едешь тундрой, поешь бесконечную, как дорога, песню, дышишь ядреным морозным воздухом и чувствуешь себя молодым и сильным, хозяином всех дорог и путей, веришь, что все в твоей жизни сбудется. Мечтаешь.

Говорят, что перед величием природы человек чувствует себя маленьким и жалким, песчинкой в океане. Не знаю. Не испытывал. Когда скрипят на снегу мои сани, когда покорное эхо в горах повторяет песню моего мотора, когда за моей спиной остается длинный волнистый след моих шагов, я, Алексей Богучаров, вот такой, каким вы меня видите, понимаю себя хозяином мира, и земли, и неба, и чувство гордости за то, что я человек и механик, наполняет мою душу до края... Хочется петь.

Надо, чтобы при этом была тишина, та торжественная и величавая тишина тундры, в которой столько затаенных шорохов. Все живущее спряталось и оцепенело — медведь в берлоге, мышь в норе, тюлень подо льдом, и только ты один, человек на своей машине, властно идешь по тундре, ломаешь снег и поешь:

Сильный, смелый охотник.
Его олени быстры...

По привычке я и тут запел свою песню. Да не пелось.

Рядом сидела девушка Вовнич, радист. Сокровище, которое я везу в наш монастырь на Тихом мысе.

Но не о ней я думал. О другой девушке думал я, о девушке, которую так никогда и не встретил на своем пути.

Знаете, в душе каждого мужчины, даже самого завязанного холостяка, живет своя девушка. Моя была очень простая, каких, вероятно, тысячи; странно, я так ее никогда и не встретил на своем пути. Я знал, какие у нее глаза — серые, которые для меня умеют быть синими; и какие у нее руки — сильные, загорелые, умеющие работать; и какой нос — курносый, смешной, ребячий; и румянец во всю щеку; и волосы светло-каштановые, стриженные по-мальчишески, и лоб крутой, высокий, и улыбка ясная, тихая... Я знал ее повадки, манеры, знал, что она любит (вероятно, то же, что и я) и чего не любит. Я слышал даже запах ее кожи. Почему-то этот запах вызывал в моей памяти аромат украинской черешни в цвету. Ее наряд? Мне почему-то мерещились кожаные рукавицы, спецовка, китель с якорями, иногда короткая юбка и легкая шелковая кофточка или вышитая сорочка... Простите, давно не был на Большой земле, не знаю, что нынче носят... Короче, я видел ее, мою девушку, по частям, но никогда, ни разу из этих частей не складывался живой образ, потому что не было такой девушки на моем пути. И будет ли?

Вот о ней я и думал.

«Как славно, — думал я, — было бы вместе с ней брести вот так большой дорогой, тундрой и не зная, придешь ли, нет ли, и верить, что придешь, и делить последний, покрытый

изморозью мерзлый сухарь...»

Вдруг моего плеча коснулась рука Вовнич. Я очнулся.

— В чем дело?

Она молча протянула мне кусок хлеба с мясом. Я с удивлением взглянул на нее и машинально взял хлеб. Помню, мясо было мерзлое, снег скрипел на зубах, когда я ел.

Я проворчал:

— Спасибо, — и тотчас же догадался, что так не благодарят. — Большое спасибо! — прибавил я, стараясь придать мягкость своему простуженному голосу.

Но она равнодушно отвернулась от меня и закуталась в кухлянку.

«Однако, — подумал я, — надо что-то сказать ей, завязать разговор. Нельзя же в самом деле ехать молча. Еще обидится. Сказать ей о тундре... Вот небо...» Но у меня вдруг не оказалось слов для этого. Черт подери, ни единого слова!

«Ну, — успокаивал я себя, — она сама начнет разговор. Они поболтать любят». Но девушка молчала по-прежнему. Она молчала, даже когда моя машина («...Его олени быстры...») с разбегу влетала в торос или завязала в снегу. Вместе со мной, без слов, девчонка вылезала из машины и бралась за дело. И вот что я вам скажу: эта девочка умела держать лопату!

Отчего же меня это злило? Не знаю, смогу ли объяснить. Видите ли, когда я увидел ее без кухлянки и шапки, стройную, тонконогую, быструю... я не мог не заметить, что она очень похожа на мою девушку.

Но я вгляделся в нее и увидел, что это не та. Не та! Все врозь — мое, все вместе — чужое. Непохожее. Теперь понимаете? Чем больше «моих» черточек угадывал я в ней, тем больше злился. Потому что ведь это не она, ведь это обман, товарищи... Похожая конструкция, не больше... но без души, без души моей девушки.

Я знаю, что все это рассказал вам бестолково. Но если вы когда-нибудь любили и мечтали, и сделали эту мечту самой дорогой для себя, и пронесли ее через всю жизнь, по всем вашим путям и тропам, и вдруг однажды встретили ее наяву и увидели с горечью, что это не та, что это чужая, что ни вам до нее, ни ей до вас дела нет... — словом, если вы любили и мечтали, вы поймете меня.

Я не заметил, как началась пурга. Задуло с запада, с гнилого угла. Мокрый снег повалил хлопьями, дорога заплесала передо мной. Я прибавил скорость, но все, что я мог выжать из «машинки» по этой дороге, — семь километров в час. А до избышки Павлова было добрых тридцать.

«Черт! — выругался я про себя. — Что я буду делать с девчонкой?»

— Когда в тундре пурга, — вдруг сказала Вовнич, — люди не ездят, а ждут...

Я сердито обернулся к ней.

— Вы всегда такая умная?

— Всегда, — ответила она, улыбаясь. — А вы?

Ее лицо чуть выглядывало из обледепевшего, покрытого снегом капюшона кухлянки. Разрумянившееся, оно казалось окруженным ледяным сиянием. Но это еще больше разозлило меня. Я рванул вперед, раздался треск, машина вздрогнула и стала — мы врезались в торос.

— Нервы, механик? — немедленно раздался насмешливый голос Вовнич.

— Какого черта! — заорал я, но остановился. В конце концов я сам виноват, что, как дурак, беспокоюсь о ней больше, чем она сама о себе. — Извольте, — сказал я, стараясь быть спокойным, — в пургу люди не ездят, а ждут.

Она блеснула глазами и соскочила в снег. Я пошел к мотору. Минут через пять я обернулся, потому что услышал звон лопаты. Оксана Вовнич, сбросив кухлянку, рыла яму для ночлега. Она правильно выбрала место — за подветренным скатом. Она работала споро и умело, ни суеты, ни

истерики не было в ее движениях. Пурга нещадно хлестала ее лицо, но она только снег с ресниц стряхивала. Знаете, это некрасиво, когда человек моргает, а у нее получалось мило. А я? Нет, ничего, товарищи, ничего, — молча взял лопату и стал с ней рядом.

Когда яма была готова и оборудована для ночлега, я пробурчал ей:

— Спокойной ночи. Я накрою вас кошмой.

— А вы?

— Я? Я буду спать в машине...

— Бросьте дурака валять, механик, — рассердилась она, — машина не защитит вас от снега.

Лезьте сюда. Яма просторная, поместимся.

...И вот мы лежим рядом в снежной яме, а над нами беснуется пурга. Девушка возится. Я лежу пластом, словно оледенелый. Ей неудобно, но я боюсь ей помочь. Глупеешь, знаете... Наконец она сама потянулась ко мне, положила голову на мое плечо, что-то проворчала и уснула.

И тогда в вое пурги я слышал ее тихое сонное дыхание. Она по-детски, совсем по-детски посапывала во сне, причмокивала губами и вздыхала. Что снилось ей? Далекая мама, и хутор с вишнями, и тихий вечер над рекой? Какая-то небывалая, отцовская, что ли, нежность вспыхнула тогда во мне. Спи, девочка, спи! Пусть приснится тебе наша черешня в цвету, белая-белая, как снег... Спи...

Только я не могу уснуть. Мысли мои были путанные, горячие. Вспомнилась мне молодость, и дорога, и девушки, мимо которых я прошел, и девушки, которые прошли мимо меня, и снежный путь, и скрип полозьев, и дым костров... Все было в моей жизни, все. Только этого не было — девочки, доверчиво прикорнувшей на моем плече.

На мое лицо сыпался мокрый снег и полз по щекам, а я не вытирал его, чтоб не шевельнуться. Смятенный, сбитый с толку, растерявшийся, лежал я, боясь шелохнуться, и прислушивался к сладкому сонному дыханию девочки, шептал ей: «Спи, спи!..» — и боялся, чтоб она не проснулась. И сам себя не понимал я в эти минуты. То хотелось мне, чтоб поскорее кончилась пурга, а с нею и дорога, то — чтобы не кончилась никогда, была бы вечно...

И только одно я знал твердо: никогда никому я не дам в обиду эту смешную девочку, сладко посапывающую на моем плече. А там — похожа она или не похожа, все равно!

Встречать нас высыпало все население Тихого мыса, Валерий пришел даже с флагом. Торжественно ввел я нового зимовщика в избу, она скинула кухлянку, ребята глянули на нее и вдруг... Вдруг все исчезли из кают-компаний. Все до одного! Словно я привез не девушку, а чуму.

Мне стало неловко перед Вовнич за наших дикарей. Я прохрипел что-то вроде:

— Два года женщины не видели. Одичали... — и окончательно смутился.

А она? Она даже бровью не повела. Подошла к печке и стала сушить сапоги.

Наконец дикари начали вылезать из своих берлог. Они не потеряли времени даром. Все успели поцарапать тупыми бритвами свои щеки, пришить чистые воротнички к кителям, доктор переменял галстук, Валерий расчесал банкенбарды цвета древнего кофейника. Явился и повар. Он нес перед собой на вытянутых руках сияющий поднос, и я не знаю, что сияло ослепительней: поднос ли, колпак, или жирное выбритое лицо капитана кухни.

Один я стоял, как был, — бородатый, грязный; на моей фуфайке чернели жирные пятна нефти, пахло от меня ворванью и мазутом и еще черт его знает чем... И в первый раз за полтора года ощутил я в сердце крепкую досаду на ребят.

Поздно вечером, когда наша гостья уже спала, мы собрались на кухне и закурили трубки.

— Д-да... — произнес доктор, — вот тебе и Вовнич! Что же нам теперь делать, друзья?

Черных пожал плечами, а кок сказал:

— Ну, братцы краснофлотцы, чуеете, как под нами палуба заходила? Верьте мне, старому моряку: эта девушка — сигнал бедствия. SOS! Женщина на зимовке, что баба на корабле.

— Угу, — крикнул Яшка. — Пойдет теперь кавалерство, ухаживания, всякая галантерея...

«Ах, нельзя! Ах, я не одета! Ах, подайте мне это... Ах, принесите мне то!»

Я вспомнил девушку с лопатой и засмеялся.

— Нет, этого не будет. Уверяю вас! — и рассказал им о дороге.

Меня выслушали внимательно, и я увидел, что у всех потеплели лица.

— Да, — сказал, вздохнув, Черных, — Славные бывают девушки на земле...

И тогда начался опаснейший разговор — самый опасный на зимовке: разговор о наших девушках. О девушках, которых мы любили, о девушках которые любили нас.

В жизни каждого была такая девушка. Один встретил свою в лаборатории, другой — в радиорубке, третий — в геологической партии, четвертый — в море, пятый — в небе, на перекрестке воздушных дорог.

Мы говорили о них тепло и сдержанно, как и пристало мужчинам. Мы говорили о них с затаенной тоской и неизрасходованной нежностью, как могут говорить только зимовщики. И в синем дыме наших трубок мерещилась каждому эта девушка, прекрасная и неповторимая, смелая и простая, с ясным, открытым лицом и теплыми, нежными губами... О Вовнич мы совсем забыли. Ни слова больше не было сказано о ней. Но отчего в рассказе каждого чудилась мне Оксана Вовнич? Не знаю...

И, когда в разнеженном нашем разговоре наступала вдруг пауза, тихая, ломкая, как ледок весной, я все прислушивался: не донесется ли сюда детское сонное дыхание девушки? Не слышно было... Только ветер за окном да скрип флюгера...

Давайте закурим, ребята. Попробуйте-ка моего табаку, довольно уже я искурил вашего. Что, хорош табачок? О нем еще будет особая история. Вам слушать-то не надоело? Так вы скажите... Не часто разговариваю я. Вот молчу, молчу, хожу, прислушиваюсь, а как начну рассказывать, не могу остановиться.

Да... Вот ведь как...

Что было дальше? Вы небось уже сами придумали конец: все мы в девчонку влюбились, передрались, потом помирились и так далее!..

Так, да не так.

Нет, мы не влюбились в Оксану Вовнич. Мы сделали хуже. Мы сделали самое глупое из того, что могли сделать. Мы... окружили ее мягким, почтительным обожанием. Простую, хорошую советскую девушку мы вообразили королевой нашей зимовки, а себя — ее слугами и рыцарями.

Во всем виноват мой рассказ о дороге и тот памятный ночной разговор на камбузе у потухшей плиты. Именно тогда родился этот насквозь фальшивый, романтический образ неземной девушки.

Но лучше уж я все расскажу по порядку.

Мы отвели Оксане Вовнич лучшую комнату зимовки. Свободные от вахты люди вычистили, вымыли, выскребли комнату и торжественно ввели в нее гостью. Затем, поздравляя с новосельем, стали являться «визитеры». Кок принес ей торт, Черных — библиотечку, Валерий приволок оленью шкуру, мрачно швырнул на пол, пробурчал:

— Осенью убил. Одной пулей, в глаз, — и вышел, зацепившись о дверь своими костяными игрушками на поясе.

Доктор явился с чем-то завернутым в газету.

— Я хотел было, милая Оксана Нестеровна, — начал он, прижимая сверток к сердцу, — я хотел было преподнести вам цветы. Но такая досада: все цветочные магазины закрыты на переучет товаров. И поэтому вот... — И развернул свой пакет.

Там был мох. Аккуратно срезанный квадратик с черными комочками земли на нем. В комнате сразу запахло весенней тундрой. Где он добыл мох? Какие же горы снега пришлось ему перевернуть, чтоб добраться до земли? Ну что ж, он вполне был награжден благодарной улыбкой нашей «королевы».

А я? Что мог подарить я? Я ведь был парень простой. И, пока приходили гости с подарками, я учинил ремонт всей утвари, смастерил качалку, туалетный столик, полочку для книг, подаренных Федором, и ящичек для мха, подаренного доктором.

Один только Яшка Неунывако не принес никакого подарка. Он вошел, заложил руки в карманы, широко расставил ноги и небрежно спросил:

— Ну как, Оксанка, устроилась?

Он с первого же дня стал говорить ей «ты». Еще бы, они ведь оба были радисты.

А мы ей всегда говорили «вы». Вот в чем дело.

Да, эта девушка перевернула нашу зимовку. Мы увидели вдруг, что в наших комнатах грязно и неудобно. Что мы несносно много курим. Редко бреемся. А лексикон, который у нас в ходу... Но не будем касаться нашего лексикона.

Странное дело: мы заметили все это сами. Оксана Вовнич ни разу не поморщилась, не повела брезгливо носиком. Ей было абсолютно все равно, в какой избе и с какими соседями жить. Она скользила безучастным взглядом по нашим вытянутым лицам и только на одном лице

останавливалась с почтением... и страхом. Этим лицом был Яшка Неунывако, ее начальник. (Бедняжка, она боялась, что окажется плохим радистом. Это она-то, работавшая в объётой пламенем рубке.

Озабоченная предстоящим ей экзаменом у Яшки, она, вероятно, и не замечала того, что творилось с нами. Не заметила ни выбритых щек доктора, ни сияющих кофейников повара, не догадалась о причинах приподнятого, праздничного настроения зимовки. А как было не заметить! Мы ходили именинниками.

Почтительное обожание «солнышка нашей зимовки» проявлялось у каждого из нас по-своему, а так как все мы были люди разные, то и по-разному.

Федор Черных проявлял свое чувство тем, что... никак не проявлял. Да, да... будь эта девушка для него безразлична, он и держался бы иначе, проще. А тут он весь был собран — «на взводе». Он боялся! Боялся выдать себя, боялся оскорбить ее взглядом, движением, словом — и оскорблял сухой официальнойностью, пугал напускной строгостью. А может быть, он сам себя боялся?

Зато Валерий Петровский проявлял свое обожание шумно и эффектировано. Он блистал перед Оксаной удалью и молодечеством. Он загонял собак, если рядом с ним на нартах сидела Оксана. На ее глазах он делал безумные прыжки с гор и ломал лыжи. Каждого убитого им зверя он непременно волочил в комнату к Оксане, к ее ногам (оставляя на полу кровавые следы, которые ей потом приходилось замывать). Он глядел на нее странными глазами и то и дело хватался за нож.

А доктор? Он «ухаживал» за Оксаной Нестеровной так и в такой манере, как ухаживал бы дома, на Большой земле. Вечерком он подсаживался к ней и, поминутно поправляя то пенсне, то галстук, начинал разговор о Москве, о театрах, о книгах, о медицине. Он был неизменно ровен с девушкой, вежлив, корректен; без запинки называл ее по имени-отчеству, а когда беседа кончалась, говорил, прощаясь: «Мы провели чудесный вечерок, не правда ли?» — после чего ему следовало бы раскланяться, прижав шляпу к груди, пообещать «позванивать по телефону» и идти в ночь искать заблудившийся трамвай или такси. Но в наших условиях этот стиль, увы, жестоко нарушался, и доктор просто отправлялся спать в соседнюю комнату.

А кок? Бедный «адмирал»! Его времена прошли. Он говаривал мне как-то с грустью: «Печальная мысль, браток, мучит мою старость. За всю мою долгую собачью жизнь ни разу ни одна женщина не поцеловала меня даром, бесплатно». Он привык покупать любовь за чулки и за шали. Теперь уж ему было не до любви. Он служил нашей королеве бескорыстно и преданно, — пожалуй, самый бескорыстный из всех нас. Улыбка «солнышка» была ему наградой.

Только Яшка выпадал из атмосферы всеобщего обожания, созданного нами вокруг гостыи: он говорил Оксане нарочитые грубости, подчеркивал свое абсолютное презрение к «бабам» вообще и к ней в частности, дразнил ее. Отчего же тогда любил он околачиваться подле нее в кают-компании?

Вот так-то все... Что? Вы хотите спросить: а шестой? Не забыл ли я шестого? Ну что ж, скажу и о шестом.

Я любил, когда она приходила в мою мастерскую, трогала инструмент, возилась подле двигателя: ей все нужно было знать. «Что это?» — спрашивала она, тыкая пальцем. Я отвечал. Если не спрашивала, молчал и молча любовался ею. Теперь я не находил, что она не похожа на ту девушку.

Зато мой старый болтун движок тараторил без умолку. Он трещал ей, что она чудесная, мужественная девушка, что у нее ясные, хорошие глаза, что ее нельзя не любить, — и не смел сказать ей. А когда она уходила, он набрасывался на меня.

«Тю-фяк! Пен-тюх! — сердито пыхтел он. — Ну что ж ты сидел, как бревно? Что ж ты ей не

сказал?»

Он ругал меня долго, моими же словами. Потом ему становилось жаль меня, и он полупрезрительно, полусочувственно бурчал, утешая: «Ах, и одинокий же ты человек на земле, Алексей Богучаров. Ох, и одинокий...»

Он и сейчас — много с тех пор времени прошло — все меня и ругает и утешает...

И вдруг мы обидели нашу девушку.

Статочное ли дело? И в мыслях не было... И все-таки мы ее обидели. Кровно. В самое сердце. И вот каким неожиданным образом.

С давних пор на Тихом мысе был установлен обычай: меню обеда заказывает каждый по очереди. Нас было шестеро, следовательно каждый имел один день в шестидневку. В этот день он мог заказать свои любимые блюда. Он был хозяином пира, мы — его гостями. Он угощал нас, мы вежливо хвалили и благодарили. Шестой день — выходной — принадлежал повару. Уж тут он удивлял нас! Впрочем, мы давно разгадали секрет его изысканнейшей кухни: она отличалась от будничной лишь пышной вывеской. В конце концов все эти ризотто, марешали и соусы-пуле означали все те же консервы. Но мы делали вид, что не замечаем этого, ели и восторгались.

— Совсем как в «Метрополе», — лстили мы коку, и он бывал растроган.

Когда на зимовке появилась Оксана Вовнич, все дни сбились в кучу, повар только и думал о ней. Потом мы обжились, разобрались в днях, и один день Лукулла предоставили ей по праву.

— Что же закажу я? — растерялась она, когда к ней за заказом торжественно явился кок.

— То, что вы любите.

— Ну хорошо. Тогда рассольник... Можно?

— Все можно! — гордо ответил кок.

— Потом язык.

— С зеленым горошком?

— Да... И... и мороженое. Можно?

Да, то был пир на весь мир! Мы восхищались выбором Оксаны. Мы до дна съели рассольник (из консервов), и язык (консервы), и зеленый горошек (консервы), а арктического мороженого (сгущенное молоко и снег) потребовали еще.

Следующий день был днем доктора. Все утро Старк шептался с коком на кухне. И мы получили на обед: рассольник, язык с зеленым горошком и мороженое.

— То, что вы любите, — приговаривал доктор, пододвигая блюда Оксане.

Валерий толкнул меня локтем в бок и завистливо прошептал:

— Доктор-то... ловок! Ну, ладно! Завтра мой день.

Надо ли вам говорить, что и назавтра мы ели рассольник, язык с зеленым горошком и мороженое.

И, когда мне пришлось составлять меню, я долго думал, даже ночью... но, каюсь, придя утром на кухню, дал коку все тот же проклятый список: рассольник, язык, мороженое.

На наше счастье, подоспел выходной день — день повара, иначе не знаю, как долго мы состязались бы в изобретательности.

Повар вошел в кают-компанию с дымящейся кастрюлей в руках, и мы, как то было принято, встретили его аплодисментами. Он важно раскланялся.

— Ну-с! — закричал ему доктор. — Чем-то угостишь нас, адмирал Макаров?

Кок поставил кастрюлю на стол, налил в тарелку супу и торжественно-церемонно подал Оксане.

— Кушайте, барышня. Ваше любимое, — прошептал он, умиленно глядя на нее.

— Рассольник? — растерянно пробормотала она.

И мы, не выдержав, расхохотались.

Да, то был хохот — стекла зазвенели у нас в кают-компании.

— Рассольник! — орали мы.

— Язык!

— Зеленый горошек!

А она? Ее лицо стало медленно покрываться красными пятнами. Глаза потемнели. Резким движением она отодвинула от себя тарелку и встала.

Мы притихли.

Она обвела нас пылающим взглядом, что-то хотела сказать, очевидно злое, оскорбительное, да не сказала. Гордо вскинула голову и ушла к себе.

А мы остались за столом, пристыженные и сконфуженные.

Ее не было в кают-компании весь день, и никто из нас не рискнул постучаться к ней.

Она вышла к вечернему чаю. Но за стол не села. Стояла у окна, бледная, взвинченная; ее переменчивые глаза на этот раз были цвета холодной стали — ни искр, ни молний.

— Начальник! — произнесла она напряженно звонким голосом. — Отчего меня до сих пор не поставили на хозяйственную вахту?

Этот неожиданный вопрос застал Федора врасплох. Он пробормотал что-то, да она его и не выслушала. Она все знала, все поняла.

— Врете! — крикнула она, и слезы зазвенели в ее голосе, то были слезы обиды. — Какое право вы имеете считать меня барышней, белоручкой? Я не первый день зимую. Я не барышня. Слышите вы? Я полы на зимовке мыла... я рубахи ребятам стирала... я на аврале не хуже других...

Она была великолепно в своем гневе, мы — жалки в своем «рыцарстве».

А тут еще вошел кок с кофейником. Не разобрав, в чем дело, опечаленный историей с обедом, он заискивающе обратился к ней:

— А вот кофеек приспел, барышня; кофейку, что же?

— Не буду я пить ваш кофе! — крикнула она. — Я не привыкла жить чужим трудом. Вот завтра напилю снега, привезу на кухню дров и тогда, пожалуйста, буду пить ваш кофе.

И, круто повернувшись, ушла к себе да еще дверью хлопнула.

Она не вышла к ужину.

Наутро, выполняя свою угрозу, она явилась к завтраку в брезентовой робе поверх шинели. Ни с кем не поздоровалась. Подошла ко мне.

— Ты свободен сейчас, Человек Плечо? (Она звала меня Человеком Плечо в память дороги).

— Да, — торопливо ответил я.

— Тогда пойдем!

И мы пошли работать. Кололи дрова для кухни, таскали уголь, пилили снег.

— Пара гнедых! — смеялась Оксана, когда мы с нею, впрягшись в лямку, тащили из оврага тяжелую нарту со снегом.

А я глядел на ее пылающее от мороза лицо, на опущенный снегом завиток волос, выбившийся из-под шапки, и думал:

«Эх вот так бы через всю жизнь, вместе в одной лямке...»

Словно угадав мои мысли, Оксана вдруг остановилась и внимательно посмотрела на меня. Ее лицо нахмурилось и опечалилось, мое — поникло.

Так мы стояли у нарты и молчали, думая об одном, но по-разному.

Потом она тронула рукой мое плечо.

— Не надо. Милый, хороший, — прошептала она, готовая заплакать от отчаяния или из сочувствия к ненужной ей чужой любви, — не надо. Пожалуйста... не надо... Зачем? Ну зачем вы все... И вы?

И я пробормотал:

— Извините... Извините, пожалуйста...

Она быстро взглянула на меня и расхохоталась, — в самом деле смешным было мое извинение. В чем извинялся? В том, что люблю ее?

Я даже не обиделся за то, что она засмеялась. Ведь я сам теперь знал: «Не надо!..» Да мало знать. Сердцу не прикажешь.

И вот мы снова потянули нарту на гору, и озверевший ветер бил нам в лицо колючим снегом, и ноги оступались и скользили по обледенелому скату, и нарта была тяжела, и ляжка резала плечо; и знал я теперь, твердо знал, что мою нарту я буду тащить всегда один.

Перед обедом Оксана еще успела вымыть полы в кают-компании (я таскал воду) и затопить печи.

— А в следующий раз, — объявила она мне, — мы возьмемся и за комнаты. Грязно, грязно у вас. Ну, ничего. Я за вас возьмусь!

Теперь она гордо восседала за большим столом. Подле нее стояла кастрюля с супом. Она размахивала разливательной ложкой, как атаманскою булавой. Она перестала быть королевой, стала деятельной и приветливой хозяйкой. Ей это больше шло.

А мы сидели вокруг нее, как большая дружная и прожорливая семья, и протягивали пустые чашки.

Да, что там ни говорите, а такая девушка может стать «солнышком» зимовки. Как сейчас вижу: за окном течет долгая густая ночь, наш домик занесло снегом, в сенях повизгивают собаки, а в комнате, у печки, тепло и дремотно. Потрескивают дрова, от них струится сладкий запах и жар, похожий на колеблющееся стекло. Мы сидим у печки, курим, болтаем. Оксана шьет. Яшка возится у репродуктора, ловит Филиппинские острова — не ближе. Наконец кто-нибудь оттащит его от репродуктора и включит Москву. Доктор вздохнет и скажет: «Москва... Да, Москва...» И начнет очередной рассказ. А мы будем курить и слушать. Или петь. И теперь есть в нашем мужском хоре голос, которого все время недоставало, — нежное женское сопрано.

Потом Оксана вскочит, отшвырнет шитье в сторону и закричит:

— Хватит! Кавалеры, приглашайте дам!

В таком случае, место мое у патефона. И вот единственная наша дама по очереди пляшет со всеми.

С нею танцует доктор. На его лице застыла улыбка. Шаги неслышны, движения плавны и вкрадчивы. Окончив танец, он целует даме руку и ведет ее на место.

Федор танцует иначе. Он застенчиво приглашает Оксану, словно боится, что та ему вдруг откажет. Потом берет ее двумя пальцами за талию и ведет, боясь прикоснуться к ней.

Но лучше всех пляшет кок. Он пляшет с увлечением старика и мастерством матроса. Его глаза становятся блестящими и влажными; я помню, как однажды после танца он торопливо ушел на кухню и долго не показывался. Отшумела его молодость...

А Яшкина манера плясать мне не нравилась. Впрочем, это была даже не пляска, а маскарад. Яшка окутывал шею клетчатым шарфом, подымал воротник пиджачка, надевал кепку козырьком назад и изображал апаша. Чечеточка у него выходила неплохо.

А потом Оксана, вдруг поймав мой грустный взгляд из угла, где я вертел ручку шарманки, крикнет:

— К черту фокс! — и станет в позу, помахивая платочком: она знала, я фокс не танцую.

Тогда к разбитому пианино садится доктор, а я, смущаясь и отнекиваясь, выхожу на середину. И вот уж гремит наш гопак... И полярной ночи нет... и пурги нет... Шумит родной ветер в серебряных тополях... И дивчина... Дивчина в лентах и монистах плывет предо мною, и дразнит платочком, и манит, и зовет... Оксана!

— Оксана — хорошее имя, не правда ли?

Иногда на лыжной вылазке или на охоте, потеряв ее в тумане, встану я, бывало, на скалу и

кричу:

— Оксана-а-а!

И кажется тогда, что это не туман на мертвой бухте клубится, а колышется степь. Седой ковыль стелется. Мохнатый подорожник кивает белой казацкой шапкой. А по узенькой тропинке промеж жита идет ко мне далекая и недоступная девушка в вышитой сорочке, и губы у нее как черешни, а косы золотые, перепутанные спелыми колосьями, и имя нежное — Оксана...

Честное слово, мы чудесно бы закончили нашу зимовку с радистом Вовнич, если бы не Яшка...

Да, Яшка Неунывако.

Что за человек был этот Яшка? Пожалуй, теперь время сказать о нем.

Его любимой поговоркой было: «Э, плевать!»

Он проходил через жизнь, поплеывая да посвистывая, этот беспечный, беззаботный человек, равно способный на подвиг и на подлость. Ко всему в жизни он относился насмешливо: к любви, к дружбе, к чести, к слову. Он знал, что его рассказам не верят, его обещаниям не дают цены и все-таки его любят, с ним охотно дружат, потому что и в дружбе, и в бражничанье, и в работе был он бескорыстен и по-детски беззаботен. С таким парнем весело на дружной зимовке. С таким плохо в серьезном деле.

Вот каков был Яшка Неунывако.

И вот этот Яшка вдруг изменился. Точнее, изменилось его отношение к Оксане. Изменилось внезапно, в один день, да так резко, что нельзя было не заметить. От бывшего пренебрежения не осталось и следа. Яшка стал почтительно нежен к девушке. Это Яшка-то.

Он ходил по кают-компаниям и мягко улыбался, как человек, узнавший что-то новое, осветившее его жизнь, и бросал на Оксану долгие теплые взгляды.

Что могло это означать, кроме... кроме одного: Яшка влюбился.

Не я один — все увидели перемену в Яшке. И тогда каждый невольно спросил себя: «А она?»

Да, как «она» относится к этому?

На зимовке, сами знаете, нет тайн. Мы заметили, что и она расцветает в присутствии Яшки. У них появились какие-то секреты. По вечерам они явно тяготились нашей шумной компанией. Стали подолгу задерживаться в радиорубке. Уединялись в комнате Оксаны, и оттуда доносился до нас такой счастливый, такой молодой, такой звонкий смех, что...

Ну, хорошо. Все это ни о чем еще не говорит. Они оба радисты, друзья, и прочее. Но вот произошел эпизод, который рассеял последние сомнения...

То, что я расскажу сейчас, покажется вам мелочью. Вы, может быть, даже высмеете меня. Но на зимовке редко бывают большие события. Вернее, здесь все — событие: кок новое блюдо придумал — событие. И я вам вот что скажу, друзья: только тогда, когда к каждой новости и к каждому маленькому делу вы относитесь горячо, полнокровно, со всем пылом своих чувств, можно жить и не скучать на Севере.

Мы сделали событием, даже праздником... раздачу табачного пайка. Придумали церемониал. Патефон играл марш. Кок вносил ящик с табаком. Мы выстраивались и ждали появления Федора.

— Здорово, курильщики! — кричал он.

— Здрав желаем, отец командир! — браво отвечали мы.

— Претензии есть?

— Курить охота.

— Ну что ж! Это дело перекурим как-нибудь, — отвечал начальник и приступал к раздаче пайка.

Когда Оксана стала равноправным членом нашей зимовки, табачный паек неукоснительно выдавался и ей. Но она не курила. Свое табачное богатство она делила на шесть равных кучек и отдавала нам.

Но оставалась одна пачка отличного капитанского трубочного табаку, которую нельзя же было разодрать на шесть частей. И мы, затаив дыхание, ждали: кому-то отдаст ее Оксана?

В первый раз она отдала драгоценную пачку мне. Это никого не удивило: разве не я привез ее сюда с пепелища?

Но теперь, кому отдаст она теперь призовую пачку, а с ней и свое внимание? Это не шутя волновало многих.

Она могла, конечно, отдать приз коку. Пожалуй, это было бы умней всего. Мы даже были уверены, что так она и сделает, и уж готовились чествовать старика.

И вдруг... она отдала табак Яшке. Просто протянула ему пачку и сказала, улыбаясь:

— Яша, тебе...

А он расцвел и покраснел даже.

Вы скажете: мелочь, пустяк. Может быть, может быть. Но нам эта пачка капитанского табаку объяснила все.

Да и Яшка держался после этого как «официальный жених». То и дело слышалось: «моя Оксана», «мы с Оксаной». Он не покидал ее ни на минуту, точно оберегал от нас.

— Ну что ж! — сказал Федор Черных в нашем «клубе», на кухне. — Она может любить, кого хочет. Даже Яшку, — последние слова вырвались у него нечаянно, и, вероятно, он сам пожалел о них.

Да, она может любить, кого хочет. Даже Яшку. Что можно было возразить против этого? Только одно: «Почему не меня?»

Но это уж ее дело. И я, вспомнив дорогу, сказал себе тут же: «Ты никогда больше ни взглядом, ни словом не оскорбишь Оксану своей любовью».

И, взглянув на моих товарищей, я по их лицам понял, что и они думают так же.

Мы ждали нетерпеливо, но молча. Мы ничего не требовали, мы только ждали.

Мы не сговаривались, но думаю, что ждали одного: Оксана и Яшка сами скажут о своих отношениях. Как это произойдет, я не знал, но что произойдет, в этом был уверен. Вероятно, это случится за вечерним чаем. Они встанут из-за стола и скажут, сияя: «Ребята, мы любим друг друга. Поздравьте нас!»

Зачем нам нужна была эта церемония, я не могу вам объяснить, хотя тогда был твердо убежден, что она необходима. Видите ли, любое человеческое общежитие, а зимовка тем более, требует отношений ясных и простых, не допускающих кривотолков. Ясные отношения — самые лучшие отношения между людьми.

Однако мы слишком долго ждали. Мы начали терять терпение. Отчего они молчали? Они будто прятали от нас свои отношения, словно было в них что-то нехорошее, нечистое. И тогда шевельнулись во мне недобрые мысли об Оксане.

Теперь мы расплачивались за образ выдуманной нами девушки. Наша девушка не стала бы трусливо играть в прятки. Наша девушка и любила и ненавидела с открытым лицом. У нее была гордая голова и смелые, честные глаза. Она никого и ничего не боялась. Ее нельзя было ни судить, ни жалеть, ни прощать.

Нет, Оксана не была этой девушкой, и Валерий первый сказал мне об этом. Он сидел у меня в комнате на пустой Яшкиной койке и прислушивался к голосам, доносившимся из комнаты Оксаны. Голоса были звонкие, счастливые, мы узнавали в них Оксану и Яшку; они вдруг затихли, и тогда невольно думалось, что там либо шепчутся, либо целуются.

Валерий вдруг расхохотался.

— А мы-то! Мы-то!.. Рыцари, идиоты!..

Так же внезапно оборвал он смех и шагнул ко мне. Его глаза блестели сухим лихорадочным блеском, и тогда я в первый раз подумал, что о состоянии Валерия надо сказать доктору.

— Я тебе никогда не прощу! — прохрипел он, схватив мою руку. — Это ты ее выдумал. А я поверил. Я мальчишка, я жизни не знаю. А ты знаешь. Зачем ты все это сделал?

Я пожал плечами. Что мог я ему ответить?

А он продолжал шептать, глядя мне в глаза и держа мою руку в своей, потной, горячей:

— Мы все поверили тебе. Все, кроме Яшки. Он один знал о ней правду. Он не корчил из себя рыцаря. Вспомни, как он хамил ей. Как они смеются сейчас над нами.

Из-за стены доносился до нас их счастливый смех.

Валерий стукнул кулаком в стену, там стихли, потом опять засмеялись.

— Они не имеют права смеяться над нами! — пробормотал Валерий. — Мы чище, лучше их, хотя и глупей. Отчего они прячутся? Отчего не говорят? Если у них честная, настоящая любовь, зачем они прячутся?

Вот мы сидим с вами сейчас, курим, я рассказываю; вы слушаете, и вам, вероятно, как и мне самому, кажется непонятным и даже диким, отчего нас мучило больше всего именно это молчание Оксаны. Ну, молчит. Ну, не хочет афишировать своих отношений с Яшей, — что тут возмутительного? А тогда это показалось нам всем, и мне в первую голову, настоящим преступлением.

Прозвенел гонг к вечернему кофе.

Валерий встал и сказал, упрямо мотнув кудлатой головой:

— Я сам ее спрошу.

Я не успел ни отговорить, ни удержать его. Он с шумом распахнул дверь и вошел в кают-

компанию.

Все были в сборе, Оксана уже возилась подле кофейника. Был тот тихий вечерний час, который так любили мы раньше.

— Оксана! — закричал Валерий чуть не с порога, и его голос прозвенел, как туго натянутая струна. — Ты жена Яшки, Оксана?

Все вздрогнули и затихли. Оксана подняла голову. В ее глазах я увидел удивление. Только удивление — не больше. Это я отлично помню сейчас.

— Что же ты молчишь? — нетерпеливо закричал Валерий.

Она обвела нас всех долгим взглядом, всех до одного, — этого взгляда мне никогда не забыть! И под этим невыносимо презрительным и немного грустным, брезгливым взглядом мы один за другим опускали глаза. Только на Яшку она не взглянула. Круто повернулась и ушла к себе.

А мы остались у стола, пристыженные и побитые.

Странное дело! Яшка казался смущеннее всех. Я помню, что уже тогда это меня озадачило... Зная его характер, я был уверен, что он немедленно полезет в драку с Валерием. Но он только втянул голову в плечи и вышел. У него была виноватая спина, — я помню это потому, что невольно посмотрел ему вслед.

Мы остались одни. Валерий сидел на диване, охватив голову руками. Я стал у порога, остальные — у стола.

Молчание продолжалось долго, очень долго. Мне кажется, что все прислушивались к тому, что происходит сейчас в комнате Оксаны. Что она делает сейчас? Плачет? Но я не мог представить слез на ее щеках. Что же тогда делает она? Но ни единого звука не доносилось оттуда.

Наконец, Федор Черных нарушил непереносимое молчание.

— Я надеюсь, — сказал он тихо, ни на кого не глядя, — что эта история больше никогда не повторится и ничего подобного не будет...

Да, «это» больше не повторилось. Больше не было ни ссор, ни стычек, ни даже разговоров на запрещенную тему. Мы стали избегать Оксану. Сами собой кончились наши тихие вечера у печки, и танцы, и песни... Все разбрелось по своим углам. Мы словно боялись задеть и обидеть друг друга, и чем больше боялись — тем больше задевали. Зимовка притихла. Каждый уткнулся в свое дело. Никогда еще мы не работали так много и с таким злым азартом, как в эти дни...

И никогда еще не ждали с таким нетерпением прилета Туровского.

Туровского всегда ждут с нетерпением. Надо зимовать в западном секторе Арктики, чтоб понимать, кем был для нас Туровский.

Он был для нас весной, потому что прилетал раньше самой первой пуночки. Он был для нас летом, потому что рулил в бухту раньше самой первой посуды. Он был для нас Большой землей, запах которой приносил с собой на крыльях, и семьей и домом, — с ним мы получали вести от них. Он прилетал к нам первым, а улетал последним, ломая молодой ледок на бухте, и увозил с собой наши письма, просьбы и надежды. Если на зимовке был тяжелобольной, то жил он надеждами на Туровского. Туровский прилетит и спасет: доставит врача или увезет в больницу. Если геологическая партия в тундре терпела бедствие, она знала: на выручку к ней пошлют Туровского.

Вот кем был для нас Вася Туровский, линейный летчик.

Но никогда еще не ждали мы Туровского с таким нетерпением, как сейчас. Видите ли, как-то само собой узналось, что он увезет от нас Оксану. То ли Черных шифровкой договорился с Москвой, то ли там сами решили, не знаю. Но то, что это было решено, знали все, хотя об этом и не говорили. Знала ли Оксана? Мне думается, и она знала.

Вот отчего мы ждали Туровского так нетерпеливо. Скорей бы, скорей бы уж он прилетел! И для нас и для Оксаны будет лучше, если мы скорее расстанемся.

Мы ждали его, как всегда, в марте, но в этом году он предпринял большой перелет и летел к нам по сложному маршруту, прокладывая новую трассу. Мы повесили в кают-компании большую карту и флажками отмечали кратчайший путь. Флажки все приближались к Тихому мысу. На зимовке стало веселей.

Вести о движении Туровского приносил дежурный радист: Яшка или Оксана. Они же передвигали флажки по маршруту. Оксана подолгу простаивала у карты. Видимо, и ей хотелось скорее расстаться с нами.

Мы ждали Туровского со дня на день.

И вот однажды, едва только мы сели за обеденный стол, в кают-компанию вбежал запыхавшийся и бледный Яшка с листком бумаги в руках.

— Туровский потерялся! — крикнул он и вдруг осекся: увидел Оксану.

Оксана вскрикнула и выронила разливательную ложку. Мы изумленно взглянули на нее, — на ней лица не было. Мы и не знали, что у нее такие нервы. Или уж очень хочется улететь?

— Ну да! — сердито закричала она. — Ну да! Туровский мой жених. Что ж тут такого? Что?

С минуту длилось всеобщее обалдение, другого слова я не могу подобрать.

А затем мы все разом поднялись с мест и пошли на Яшку. Он все еще стоял с листком в руках. Заметив наше движение, он попятился. А мы шли на него молча, тяжело дыша. Я не знаю, какие лица были у нас в эту минуту, но лицо Яшки Неунывако выражало ужас.

Мы загнали его в кухню и окружили железным кольцом. Убежать он не мог.

С минуту длилось молчание. Потом Федор спросил:

— Ты знал?

Яшка заметался, пытаясь улизнуть.

— Знал? — закричали мы.

— Ну, знал, знал конечно. Здесь узнал. Однажды в мою вахту пришла радиogramма Туровского Оксане. Я спросил ее, она сказала. А я, понимаешь, работал радистом у Туровского.

Товарищи мы. Ну, и вот... Я хотел как лучше. Думал: долго ль нам обидеть девушку? Я ведь вас знаю. А если скажу, что она — моя, вы и отлипнете... Вот...

Мы выслушали это молча, не перебивая.

— Ты нас знаешь? — только спросил Федор и грустно покачал головой.

Но больше нам нечего было сказать.

Винить во всем Яшку? А мы? Разве мы лучше? Мы тоже думали, что «знаем». Мы думали о себе хуже, чем были на самом деле.

А девушка? Мы совсем забыли о ней. Мы оставили ее одну, потрясенную известием.

Со всех ног ринулись мы в кают-компанию. Оксаны там не было. Тогда кто-то догадался: она в радиорубке.

Ну, конечно. Где же ей и быть в эту минуту! Она сидела у ключа и настойчиво звала самолет Туровского. Ее лицо было спокойное, но какое-то серое: острее выдавался подбородок, на переносице лежала морщинка. Я подумал, что такой, вероятно, она была и тогда, в объятый пламенем рубке.

Но что-то другое, новое, совсем незнакомое было в ней сейчас. И я скорее догадался, чем понял, что это было. Девушки Оксаны не было больше. Перед нами сидела любящая и тоскующая женщина и звала своего друга, затерявшегося в пурге.

Через два дня Туровский прилетел и увез с собой Оксану. А в следующий свой прилет привез нам от нее письмо и подарок: шесть пачек капитанского табаку.

Вот и все.

Мы отзимовали еще год на Тихом мысе; зимовка была дружная, хорошая. Потом разбрелись. Яшка снова летает радистом у Туровского. Изменился ли он, не знаю. В полярной авиации его по-прежнему зовут Яшкой Неунывако. У Оксаны — ребенок, Туровский показывал мне карточку. Доктор уехал на Большую землю и женился. Недавно по радио я слышал о какой-то чудесной операции, которой он удивил научный мир. Женился и Валерий и тотчас же вместе с женой уехал зимовать на Чукотку. Где-то на Чукотке бродит и Федор Черных, начальник большой экспедиции. На Тихом мысе остался один я. Знаете, привыкаешь к месту. Я не женился. Жду. Дороги тундры широкие, большие, — может быть, я еще встречу свою девушку. Только теперь я уж не гадаю, какой она будет. Не угадаешь. Жизнь сложнее.

Ну, кончай курить, ребята, — и спать. Хорош табачок? Это тот самый. Я получаю, его два раза в год с Туровским. А курю его... курю редко. Берегу. Вот уж на доньшке осталось. На три трубки хватит, однако. Ну, да скоро весна. Авось Оксана и на этот раз не забудет.

А теперь спать, ребята. Скоро и пурге конец, завтра — в путь. Залезем в спальные мешки и выспимся. Пусть приснится каждому, что ему любо. А я уж знаю свой сон: ночь, дорога и девушка на моем плече.

Мы склонились с начальником зимовки над картой, испещренной флажками, и гадали, что могло статься с самолетом «СССР Н-2», когда раздался осторожный стук в дверь, послышалось робкое покашливание и на пороге появился человек с тощей бородашкой.

Он, вероятно, только что приехал. Его лицо было красно, обветрено, на бокарах лежал снег, а на меховой куртке таяли льдинки, — куртка казалась стеклянной.

Это был человек с побережья. Достаточно было взглянуть на него, чтобы увидеть: этого человека кормило, одевало и согревало море. От него исходил тяжелый, приторный запах ворвани. В комнате сразу запахло морем, рыбой, тюленьим жиром, сырым мясом, кровью, мертвечиной — сложным поморским букетом, который так присущ береговому охотнику. Одет человек был в потертую, облезлую и побуревшую куртку из плохо выделанного меха нерпы, желтого с черными пятнами и сизыми плешинами, местами запачканного кровью. С нерпы же снял человек мех и на малахай и на бокари, вообще весь он казался тюленем, только что выползшим из воды на берег и поведившим тощими усами.

Глаза у этого человека были круглые, навывкате, подернутые маслом; я знал эти глаза, бегающие по сторонам, оживленные, тоскующие глаза алкоголика. Он снял малахай, обнаружил лысину, плохо прикрытую спутанными грязно-седыми волосами, и, деликатно кашляя в руку, мялся у порога. Охотничий нож с черенком из моржовой кости болтался у него на животе.

— Принимаете гостя, начальник? Нет? — осторожно спросил он, наклонив голову и бегая глазами по комнате. Начальника он угадал безошибочно, каким-то чутьем, хоть и не видел его ни разу.

— Гость на Севере — священная особа, — ответил начальник своей излюбленной фразой, но обычных сердечных нот я не услышал в его ответе. Видно, незнакомый человек сразу не понравился ему.

Человек шагнул от порога — с бокарей посыпались на пол звонкие капли — и торжественно пролаял:

— Удачи в охоте и счастливой зимовки! — Это была, видимо, тоже традиционная фраза.

От этого человека с побережья пахло на нас дремучей стариной, древним Севером, мрачным, необычным и уже непонятным. За всеми его словами угадывались какие-то неясные мне правила северного этикета, законы тундры, обычаи заполярного гостеприимства.

— Проходи, товарищ. Гостем будешь, — снова повторил начальник.

— На том благодарствуйте. И то, пройду. — Он сделал шаг вперед. — Собачошек-то я, начальник, к твоим определил. Собачник-от твой обещал уже накормить их, собачошек-то... Измаялись собачошки... А ничего... Он покормит... собачошек-то. Им ничего... Ничего... хорошо им...

Теперь он мялся у стола, не решаясь сесть. Была ли то робость, отвычка от людей, или хитрость, непонятная мне, или все те же требования этикета, я еще не мог решить.

— Ну и мороз! — крикнул он, видя, что мы молча слушаем, и выжидающе посмотрел на начальника.

Я заметил, что он к одному нему обращался, на него одного смотрел, на меня же бросал косые, осторожные взгляды, словно спрашивал: «А этот кто тут будет?»

— Мороз... морозишко... — говорил он меж тем. — И то, триста верст... километров, потеперешнему сказать. Пуржит, уф! Страсть!

Начальник улыбнулся и молча притянул к себе графин, стоявший на столе. То был обыкновенный пузатый сосуд, из тех, что ставят на трибуну докладчикам, но вся-зимовка знала

о существовании и назначении этой посуды, бытующей всегда здесь на столе. Неписанный закон гласил, что человек, промерзший в дороге, на гидрологической станции, на охоте или на аврале, мог прийти к начальнику, сказать: «Причитается, начальник!» — и получить стаканчик огненной влаги.

Причитался стакан и гостю с дороги. Человек с тощей бородкой торопливо взял стакан, и я увидел, как его руки, красные, волосатые, испещренные мелкими трещинами, нетерпеливо задрожали. Но, прежде чем выпить, он посмотрел стакан на свет, моргнув глазом, снова недоверчиво посмотрел — что-то удивляло его в цвете влаги, — потом, успокоившись, торжественно произнес:

— Карпухин я. С Польшы. Будем здоровы! — Выпятил губы, опрокинул стакан, крякнул и вдруг сморщился. Удивленно облизал губы. Пожевал. И снова посмотрел на графин. — Али стар я стал, али спирт свою крепость потерял по нонешнему времени? А?

Мы рассмеялись.

— Разведен? Неужто разведен? — укоризненно покачал он головой. — Ах, начальник, начальник! Пошто добро портишь?

Я с любопытством смотрел на него. А, так это и есть Карпухин с Польшы? Я много про него слышал. Вот он какой!

Он сидел между тем, чуть съжившись, у стола и все озирался.

— Знатно живете! — сказал он, наконец, все окинув своим бегавшим, нечистым взглядом: и стены, выкрашенные масляной краской, и ковер на полу, и цветы на окне. — И что же, живут цветы, ничего? — полюбопытствовал он.

— Отчего же! Живут.

— Живут? Скажи на милость... А это что? Батюшки-светы!.. Птичка! Постой! Дай-ко поглядеть... Забыл, как и название ей. Кенарь, что ль?

— Да, канарейка.

— Сто лет не видал. Ишь ты, ка-на-рей-ка! — Он с видимым удовольствием произнес это слово. — И живет?

Начальник пожал плечами.

— Вот и я говорю: живет, — осклабился старик. — Птица, а тоже... приспособилась. Да петь-то уж не поет. Не-ет! — И злобно расхохотался. — Петь не поет!

— Нет, поет!

— Не поет! Не-е-ет! Петь не может. Разве тут (он показал в окно) запоешь?

Мы не стали с ним спорить. Он подошел к клетке и стал дразнить птицу длинным черным пальцем, на котором ноготь был сорван.

— Ну-ко... ты... птичка! А ну, спой-ка! А? Не хочется? Не хочется в неволе-то петь? Не сладко? То-то... А ты сдохнешь, птичка, сдохнешь... — ласково бормотал он — Что? Врешь, сдохнешь. Не перезимуешь! Не-ет. Куда тебе! Ты — птичка нежная, деликатная, южная. Сдохнешь, сдохнешь, сдохнешь. — Он искоса поглядывал на нас и все дразнил канарейку. Его длинный, тонкий, колющий палец пугал птицу, она металась в клетке, а он хихикал. Я поверил всему, что слышал о Карпухине.

Зачем он приехал? Он не говорил, мы не спрашивали. Неделikatно было бы спросить гостя, зачем он пожаловал. Я, правда, знал, что не редки на Севере и бесцельные, без нужды и повода, поездки «в гости» за десятки километров. Взгрустнется ли одинокому промышленнику в своем засыпанном снегом домике, или померещится ему, что болят у него зубы и нужно бы спросить врача, или просто захочется повидать людей, услышать новости, голоса, смех людской, — и вот он уж плетется на своих собачках по тундре, спит в снежных ямах, мерзнет, терпит голод и холод и подбадривает себя и собак: «Ничего, ничего! Приедем — отогреемся. На людях теплей».

Не знаю почему, но был я уверен, что не с этим приехал к нам с далекой Польшы Карпухин. Была в его приезде какая-то скрытая цель, еще непонятная мне. И движения старика были неуверенны, и глаза трусливо бегали по сторонам, и палец дразнил птицу с непонятной злостью и ожесточением, и все мерещилось мне, что боится Карпухин кого-то и чего-то, хоть я и не знал чего. Я стал наблюдать за ним.

В его поведении причудливо смешивались и наглость и робость. Он то хвастался, то жаловался, то поучал нас, то прикидывался дурак дураком; обращался к одному лишь начальнику, кланчил, льстил, хихикал.

— Третий год никуда не выезжал, — бормотал он. — Не выезжал, да надумал: дай-ко съезжу. Собачошкам исть нечего. Нерпешки не стало. Совсем нет нерпешки, хоть что. Вот и надумал: не упромыслию ли у вас? У вас нерпешка-то непугана, нестреляна. Вам это ни к чему — забава. А старичку-то немного и надо. Ветчишку (лодку) дашь, начальник? А я и благодарен буду. Патронишков к ружью немного. Ась? Обстрелялся я. Совсем нечем стрелять стало.

Он все называл уменьшительными, пренебрежительными именами, и мне вспомнилось, что так вот и казаки, завоеватели Сибири, писали свои челобитные, называя себя «людишками» и «холопишками». Но то была форма, а у этого, у Карпухина, что? Подобострастие, привычка или презрение ко всему — и к себе, и к вещам, и к нам, людям в форменных тужурках с якорями?

— Ты один приехал? — просил Карпухина начальник.

— А нет, с Семкой, — неохотно ответил Карпухин и вдруг испуганно взглянул на начальника. — А что?

Но тут дверь вдруг распахнулась, и в ней появился огромный рыжий детина. Это, вероятно, и был Семка, сожитель Карпухина на Польше. В этом парне уже ничего не было от моря, кроме разве только приторно жирного запаха ворвани. Он был в зипуне, подпоясанном красным кушаком, в высоких сибирских катанках, в руке он держал мохнатую капелюху, а в сенях, вероятно, оставил теплую медвежью или волчью доху. Чего-то не хватало в его наряде, и я догадался: кнута. Тогда совсем был бы он похож на сибирского ямщика, из тех, что и сейчас еще держат ямщичью гоньбу по замерзшим Лене и Витиму. Так и казалось, что произнесет он сейчас низким, простуженным басом: «А что ж ехать? Лошади-то уже перестоялись, товарищи хорошие».

Но он решительно шагнул вперед и произнес неожиданно тонким, бабьим голосом:

— Начальник! — Он глядел в пространство между начальником и мною, не зная, очевидно, кто тут начальник. — Начальник, сделай милость, разведи ты нас!

— Развести? — удивился начальник. — Это как развести?

— Разведи ты нас с ним, — упрямо повторил Семка, указывая капелюхой на Карпухина. — Сил моих нет.

— Я не загс, — засмеялся начальник, — а вы не муж с женой.

Карпухин подобострастно захихикал.

— Ох, и дурак же ты, Семка, как я на тебя погляжу! — ласково захихикал он. — Ишь выдумал: разведи! Дура-ак!

— Разведи! — опять повторил Семка. — Сил моих нет!.. Не выдержу я! — всхлипнул он неожиданно и так тонко, словно ножом по стеклу.

— А что? — спросил я, невольно сочувствуя ему. — Обижает?

— Бьет, — плаксивым шепотом протянул парень и, закрыв лицо руками, отвернулся.

Тут мы, не выдержав, расхохотались. Хихикнул и Карпухин.

— Бьет? Тебя-то бьет? — закричал начальник. — Тебя-то? — И он окинул взглядом огромную фигуру Семки и щупленькую, квелую Карпухина.

— Бьет! Больно, — шепотом подтвердил парень. — Я спросить тебя хотел, начальник:

имеет он полное право меня бить?

— Вот чудак! Никто такого права не имеет. Ты раньше-то колхозником был?

— Колхозником.

— Что ж, тебя в колхозе разве били?

— Так то колхоз, — вздохнул парень. — Там и правление и сельсовет. А ведь тут, на Севере-то, ведь ни-ко-го.

Он так тоскливо протянул это «ни-ко-го», что я вздрогнул. Страшным показался мне в эту минуту тихонький Карпухин. И с необыкновенной ясностью представилась мне эта Польша, одинокая избушка, до окон заваленная снегом, и в избушке два человека, остро, по-звериному ненавидящие друг друга. Один — большой, сильный, не ведающий до поры до времени ни сил своих, ни прав, напуганный непонятной ему северной природой, рассказами старика, одиночеством, тем, что вокруг «ни-ко-го» — ни сельсовета, ни правления, ни земляков-колхозников. И другой — старый, хилый, но знающий, приспособившийся к Северу и пугающий парня своим знанием, своим острым, колющим взглядом, самозванной властью и нещадно эксплуатирующий его испуг, его тупую, одинокую тоску, его дремлющие силы, мускулы, мышцы. Отчего же они приехали сюда вместе? Как пошел Карпухин на этот «развод»? Какая драма разыгралась перед отъездом? О чем говорили они во время долгой поездки? Как сумели они не убить друг друга, когда брели одни по безлюдной снежной пустыне, когда, спасаясь от пурги, лежали рядом, тело к телу, лицо к лицу, в снежной яме и их дыхание смешивалось?

И как бы в ответ на мои мысли, заговорил Семка. Он осмелел. Он словно отогрелся в этой комнате, где цветы, канарейка, люди. Его лицо уже не выражало тупого испуга, в глазах проступила мысль, щеки дрогнули, морщины распустились, все лицо обмякло, подобрело, словно оттаяло, стало совсем молодым, приветливым, симпатичным. Теперь он уже не был похож ни на промышленника, ни на ямщика. Теперь он просто молодой колхозный парень на отхожем промысле.

Он удовлетворенно произнес:

— Значит, нет такого права, чтобы драться? Ага! И я это ему говорил. Говорил ведь? — Он повернулся к Карпухину с такой угрозой, что тот вздрогнул. — Я давно говорил: «Давай поедem. Давай людей спросим!»

— Не хотел? — улыбнулся я.

— Не хотел, — обрадованно засмеялся парень. — Тогда взял я собак и сказал: сам поеду. Он опять драться. Ну, тогда я... — Он вдруг остановился и, подняв свои пудовые кулаки, решительно шагнул вперед. — Товарищ начальник! Нет, ты разведи нас. Долго ль до греха? Ты разведи...

— Ишь ведь, дурак, дурак! — захихикал Карпухин, но, не услышав ответа, трусливо стих. — Я ведь его только так... поучить... Он ведь, сами видите, дурачок, форменный дурачок... Не в себе... малохольный-с!

— Ты — умный? — закричал Семка, но тотчас же опомнился, очевидно подумав, что неэтикетно кричать в почтенной компании. — Это — точно, — сказал он тихо. — Обещали они, Пантелей Иванович то есть, поучить меня промыслу. Я тут третьего года на рыбалке был от колхоза. Его и встретил. «Идем, говорит, зимовать. Я те научу. Золото загребать будешь. Эвон, говорит, зверья сколько. Песец. Знаешь, грит, почему песец? Сотня, а то и две чистых». Я не поверил, у людей спросил. Верно, говорят: две не две, а сотня верная. Сто рублей?! Эка, думаю, тут сотни рублей по земле бегают. Отчего же не остаться? Я завсегда. Я старательный. Я хоть что хошь. Верно ведь, Пантелей Иванович? Я ведь к вам с полным почтением? А вы драться...

— Дурачок, дурачок-с, — хихикнул Карпухин.

— Был дурачок, да теперь весь вышел, — угрожающе продолжал Семка. — Батрака себе

нашел, как же! Ведь у нас как было, товарищ начальник? Он на печке, а я и по промыслу и с собаками. А промыслу никакого нет. Сам он ничего не умеет и мне ходу не даст. Учи-ил? Непутевому ты меня учил. «Разве ж, говорю, это велено — песцов стрихнином травить? Я дурак, а и то слышал. Как бы, говорю, за это в ответе не быть». А он: «Ты, грит, дурак, Семка, пахарь ты. Тут-ко тебе не колхоз. Тут не посеял, а жни. Тут кто смел, тот два съел, а кто слаб, тот и раб. Медвежий край, по-медвежьи и жить». Вот чему вы меня учили, Пантелей Иванович.

— Это правда насчет стрихнина? — нахмурившись, спросил начальник.

— Врет! Врет-с! Ах, до чего ж нахально врет человек в злобе! Ах, ах! — заюлил Карпухин.

Но глаза его забегали виновато и трусливо, и я знал уже, что о стрихнине Семка говорит правду. Однако старичок-то вредный!

— Вру? — покраснел Семка и чуть не задохнулся, испугавшись, что мы сочтем его лжецом. — Я-то вру? Да едем же, товарищи начальники, в тундру. Я места знаю, где он стрихнин кидал. Сколько он песцов перевел, и сказать страшно! Пойдешь по промыслу, только и видишь: клочья, как пух, лежат, а песца уже зверье съело... А что в клочьях? Какая корысть? Так, только песцам перевод. Много он песцов погубил, товарищи.

— Не стрихнин, не стрихнин вовсе! — закричал Карпухин, засуетившись вокруг нас. — А вот и не стрихнин! Тут старичок один был, изволите ли видеть. Из ссыльных. Так он — химик. И мне секретец сказал. А не стрихнин. Я по-научному, товарищ начальник... не извольте сомневаться... Я по-научному, как химик учил...

— Ну, вот что, — перебил его начальник, вставая: — разберемся мы с вашим делом, рассудим. А вы пока отдохните с дороги. Устраивайтесь, а там разберем.

— Вот и чувствительно вам благодарны! — сладко улыбнулся Карпухин с Полены и прижал малахай к груди. — Рассудите, уж будьте столь любезны. Потому — он ведь чего не наговорит, дурачок... Сами видите, он и людей-то умных не видывал. И слова сказать путного не умеет.

— А только не вру я, — произнес твердо Семка и поднял на меня умоляющие глаза.

— Дурачок, дурачок-с! — захихикал Карпухин. Идем уж, идем. Ах, горе ты мое, пень стоеросовый... Ну, ничего... Ничего... И все по-хорошему, мирком да ладком...

Но в дверях они столкнулись, и Карпухин, отскочив в сторону, трусливо уступил Семке дорогу.

— Дурачок-с, — донеслось до нас из-за двери.

— Видели? Хорошо? — произнес начальник, когда мы остались одни.

— Да-а!.. Николай Васильевич, вы что, знаете его?

— Нет. В первый раз вижу. Но слышал, слышал. Видите ли, мы тут, на Севере, всех знаем. Оленье радио. Торбазная почта. Новости пешком ходят, на оленях скачут. Чего не наслушаешься!

— Ну, что ж он за человек?

— Человек примечательный. И, знаете, экспонат. Я бы его в музей Арктики выставил. В наизидание кое-кому, — он значительно поднял брови.

— Верно то, что о нем говорят?

— Видите ли, Сергей Николаевич, как вам сказать? На Севере не всегда различишь, где правда, где легенда. Врут тут... Артистически врут и часто бесцельно. Пьют чай — и врут, курят табак — и врут. Поди-ка проверь! Он, Карпухин, видимо, в свое время наврал о себе вдоволь, да теперь и рад отбрехаться, ан поздно.

— Значит, правда то, что говорят, будто он у белых был?

— Опять говорю вам; не знаю. Но думаю, что был. Это ведь вы лучше моего знать должны, Сергей Николаевич. Ваш трест-то справки о нем навел?

— Наводим. Ведь вы знаете, что раньше этим никто почти в Таймыртресте не занимался.

— То-то и оно, что никто. Оттого и бытует на Севере всякий народ. Вот хоть этот Карпухин. Проходимец ведь...

— Ну, а чукотская история? Вы слышали?

— Слышал, конечно. Я эту историю еще на Чукотке слышал. Опять не знаю, что в ней правда. Но он убежал оттуда. Это факт. И теперь ему нельзя туда и носа сунуть. Грязная история. Анадырские чукчи до сих пор грозятся с ним посчитаться.

— Ну, а жена его? Вот эта чукчанка... Верно, что он ее...

— В гроб вогнал? — начальник усмехнулся. — Знаете, сегодня, взглянув на него, я в это поверил.

— И я.

Мы помолчали.

— Сколько же еще всякой нечисти ютится на Севере! — вздохнул вдруг начальник. — Ведь вот Карпухин. Он даже не авантюрист. Он паразит — вот кто он. Были, знаете, авантюристы, ну, те, что кровью, грабежом, ужасом покоряли Север. Или еще вот золотоискатели, «копачи», которые делали налеты на прииски, вымывали богатое золото и волокли мешки с добычей через тайгу на салазках, чтоб пропить, промотать все в первом большом городе. Или авантюристы политические — те, которые затевали здесь, на окраинах, заговоры, терроризировали местный народ и кончали у стенки, как и следовало. Так вот, Карпухин даже не авантюрист. Но с авантюристами был, с ними якшался. Как паразит. Всюду, где авантюра, ищите — и найдете Карпухина. Он тут — тут пожива, тут кормят. Он ничего не умеет и не хочет делать. Вот он приехал сейчас сюда ко мне. И ведь уверен, знает: я буду его кормить. Ничего не поделаешь: «Гость на Севере — священная особа». Но почему я должен кормить этого бездельника? Позвольте! А ведь буду. Потому что как же иначе? Денег у него нет, да я продавать обеды и не могу. Ох, давно, давно надо бы настоящее денежное хозяйство завести и у нас на Севере. Оттого-то и проходимцев и бездельников много. Так и бродят от зимовки к зимовке и кормятся. Да вы еще, трест, авансы щедрой рукой швыряете.

— Я уж думал об этом, Николай Васильевич. — Я в тресте об этом хочу поговорить.

— Поговорите! Я уж не раз говорил. И о Карпухине говорил. Да зашикали на меня. Как же! Ведь, — он зло усмехнулся, — ведь этот Карпухин два года назад был знаменитой личностью здесь. Не поверите? Старый мудрый полярник. Достопримечательность! Какой-то заезжий журналист о нем рассказ тиснул со всеми онерами... Тут и легенды Дальнего Севера, и безмолвие тундры, и ужасы — колорит! Что из того, что Карпухин ни разу пушного плана не выполнил? Зато — колорит! Верно, он умеет поговорить. Это он теперь съезжился немного. Чует новое, хоть и не знает всего. — Он помолчал и снова напустился на меня, словно я был виноват во всем. — А трест? Спецов моих посмотрите в тресте! Вот этот — «Железная нога», как его здесь все величают. А я уверен: он проходимец. И тоже с политической гнильцой. А ведь «авторитет». Ничему не учился, ничего толком не знает, в прошлом году всю пушнину сгноил в пути. Зато — колорит! «Железная нога»! В снежной яме ночевал! Сырое мясо ест! Эка мудрость. Я засмеялся.

— Нет, нет, не смейтесь, — подхватил начальник. — У меня это наболевшее. Я ведь Арктику люблю. И не первый день тут. И думаю, что понимаю Арктику. Я — что? Я не «Железная нога», сырого мяса не ем и ежедневно бреюсь. И даже бритвы с собой привез. Мне сказала партия: строить порты в Арктике. Я строю. За планы отвечаю, за точность чертежей, за сроки, за каждую копейку. Нам колоритом заниматься некогда!

Я вышел на крыльцо покурить трубку. Пурги уже не было. Она пронеслась над островом, нашумела, перекорежила снег в бухте и умчалась так же неожиданно, как и пришла. Повсюду остались ее следы: там сугробы намела, там выстрогала в снегу новые причудливые заструги,

словно прошлась рубанком по снежному насту и, не доделав, бросила, умчалась: там провода порвала, истрепала флажок над рацией, повалила столбы. Я заметил метеоролога у своих будок, — он сметал с них снег.

Как всегда после бури, во всем сейчас было какое-то особенное умиротворение. Все казалось ясным, кротким, сияющим. Нестерпимо блестел снег, всеми кристаллами отражая солнце. Сиреневые и кремовые тени лежали на скалах, в выемках. Снег в бухте казался розовым. Стоял чудесный апрельский день — лучшее время в Арктике, — звонкий, ясный, морозный.

Возле катуха я заметил группу людей. Один из них азартно размахивал руками. Я узнал в нем Карпухина. Впрочем, я и ожидал увидеть здесь Карпухина: северного человека влечет к собакам так же, как крестьян к «худобе», как механика к гаражу. Я подошел.

Каюр, Дмитрий Павлович, молчаливый, работающий человек, возился над собачьими будками. Карпухин, видно, поучал его чему-то. Семка равнодушно стоял в стороне.

— Ты меня, брат, слушай! — кричал Карпухин. — Я, брат, все это насквозь... Я, брат, по этому делу профессор... Ветеринары у меня учились. — Он заметил мое появление и стал еще красноречивее, — Ты слушай меня!

— Слушай, паренек! — кричал он седому каюру и искоса поглядывал на меня. — Ведь вы тут толком ничего не знаете. Вас учить, учить надо! Северу не шохали. А я, брат, собаку съел... Собака! Собаку понимать надо! Это тебе, паренек, не лошадь, не корова, не овца.

Но каюр продолжал молча и невозмутимо орудовать топором. Это молчание обижало Карпухина больше, чем если бы каюр спорил и ругался. Он и хотел, чтобы каюр спорил, возражал, а то что же: молчит и по-своему делает, словно не человек с ним толкует, а так — муха жужжит, комар. И не отмахнется даже.

— Вот! Видали его? — обиженно обратился ко мне Карпухин. — Я что? Я и помолчать могу. Тоже язык не казенный. Мне за это не платят. А я добра вам хочу! — воскликнул он с азартом. — Я доброму учу. Корма! Рази же ты понимаешь, беспонятный человек, — обратился он опять к каюру, — какие корма собаке нужны? Или опять же, изволите видеть, собачошкам дачки строит. Ведь это рассказать в тундре — людям на смех! Собачошкам дачки!

Я расхохотался. Действительно, каюр ладил к весне «дачи» собакам. Это были аккуратные, теплые и даже кокетливые одиночные конуры. Весною молодые собаки из катуха перебирались в «дачи». Пятьдесят новеньких будок образовывали две улицы. Настился даже деревянный тротуар. Перед каждой будкой стояла миска с кормом. Получался веселый, оживленный собачий поселок как раз на крутом берегу над бухтой.

— Собачошкам — дачки? — возмущался Карпухин. — Разве собачошкам конура нужна? Ездовая собака должна на морозе спать. Злей будет. И то развежили своих собак-то. Да они — купчихи, а не собаки. Что собаке нужно? Кусок юколы да палка, — закричал он. — Бью своих собак, и жестоко бью, и в кровь их бью, так что на них глянуть страшно. Зато везут и взгляда моего боятся. Ездовая собака должна быть битой, тощей и злой, озлобленной и голодной, так, чтоб зубами ляскала. Вот как!

— А человек? — спросил я.

— Что-с? — не понял он.

— А человек, спрашиваю, — северный человек, он что — тоже должен быть голодный, озлобленный и битый?

Он бросил на меня косой взгляд.

— Человек — другое дело, — уклончиво ответил он, — Человек — хозяин. Владыка. Царь природы. Однако и ему... не вредно быть битым...

— А вы — битый? — не удержался я.

Он ничего не ответил и, казалось, внимательно следил за работой каюра.

Я постоял немного и пошел обратно к дому. Карпухин скоро догнал меня.

— Хотел побеспокоить вас... Простите, величать не знаю как?

— Сергей Николаевич.

— Очень приятно! А что, осведомиться хочу, служите или так... Севером любопытны?

— Нет, служу. А что?

— Нет, ничего! Извиняйте. А то есть, которые Севером любопытствуют. И все ко мне: расскажи да расскажи, старичок. Конечно, отчего же не рассказать? Я рассказать охочий. — Он помолчал немного. — А позвольте, должность у вас какая?

Мы подошли к крыльцу и остановились.

— Инструктор Таймыртреста, — ответил я.

— Инструктор? — Он соображал что-то и, очевидно, убедившись, что инструктор это хоть и не начальник, но все же «лицо», приятно улыбнулся мне.

— Значит, служите, — протянул он удовлетворенно. — Это ничего. Это что ж... — пробормотал он. — Служба — это ничего... А что, хотел я у вас спросить, — вдруг изменив тон, обратился он ко мне, и его глаза блеснули насмешливо и остро, — что, большое вам жалованье положено? Это я к тому спрашиваю, что ба-а-альшие деньги должны платить тем, кто на этакую жизнь идет.

— Отчего же? Жизнь подходящая.

— Это здесь-то? — засмеялся он недоверчиво, и я вспомнил, как бормотал он у клетки канарейки: «А ты сдохнешь, сдохнешь, сдохнешь».

— Ведь вы живете, — усмехнулся я. — Отчего ж нам не жить?

— Я? Ишь ты! Я! Я — другое дело. Я и замороженный насквозь и проспиртованный. И битый я, и катаный, и черт меня не берет. Я и помирал, да не помер, и тонул, да не утонул, и зверь меня ел, да недоел, и пуля брала, да не взяла. Я — тертый.

Он поблескивал глазами алкоголика и тряс бородкой.

— Я? Я на Севере, товарищ мой дорогой, — продолжал он хвастаться, — сотни лет; я тут, как вот та скала, уж и лишаями покрылся. Я и на Ямале был, и на Таймыре, и к якутам хаживал, и с одулами рыбу ловил, и у долган в церкви молебствие слушал, и у чукчей за Андырь-горой чай чаевничал. Я? Ишь ты! Я — северный человек.

— Ну, и мы северными людьми станем, — засмеялся я.

— Вы? — насмешливо протянул он и покачал головой. — Вы? Ни в жизнь! Где уж вам-то! Цветочки — это точно, это вы с собой сюда привезете. И канарейку. А канарейка сдохнет. Сдохнет! — закричал он. — И вы или сдохнете, или сбежите. Только думаю, скорей всего сбежите. И мудро сделаете!

Он посмотрел на меня темным, мутным взглядом и прошептал, придвинувшись:

— Бегите отсель, молодой человек, пока не поздно, — в его голосе звучала глухая угроза. — Это я вам говорю. Гиблое место здесь. Бегите! Спасайтесь!

Зачем он пугал меня? Какую цель преследовал? Неужто в самом деле надеялся, что испугаюсь я его карканья и брошу все и побегу стремглав обратно, на юг?

И тогда блеснула во мне озорная, насмешливая мысль: «Ага! Ты хочешь запугать меня? Ну, ну! А что, если я тебя, Карпухин, испугаю? А?»

Я усмехнулся и сказал:

— Пантелей Иванович, до обеда еще далеко, времени много. Не хотите ли посмотреть, как тут на острове люди устроились?

Он недоверчиво посмотрел на меня, с минуту поколебался, но я был любезен и простодушен, и он согласился.

— Отчего ж! — снисходительно произнес он. — Покажите. Может, я вам чего и

присоветую.

Любопытное это было путешествие, и я не пожалел, что затеял его. На моих глазах съезжился человек, стал маленьким и жалким. Это было зрелище страшное и поучительное, но ни капли жалости не было во мне.

Он тронулся в путь очень самоуверенно. Что мог показать ему, старому тундровому волку, такой робкий новичок, «полярной суслик», как я? Чем удивишь его, когда он все тут наизусть знает и еще меня поучит! Он шел и кричал, что мы тут хозяйничать не умеем: и собачошек разнежим, и канарейка сдохнет, и все у нас одно баловство, курам на смех, — как вдруг навстречу нам с шумом и грохотом выехал тракторный обоз.

Могучий «Сталинец» надвигался, как танк, грубо ломал звонкие заструги, мят снег и отшвыривал комья в сторону. И за ним ползли два прицепа: первый, нагруженный круглым строительным лесом, второй — кислородными баллонами, похожими на артиллерийские снаряды. Нас обдало брызгами снега, запахом бензина, дымом. Обоз прополз мимо, оставив после себя смятую, исковерканную полосу снега. Он был уже далеко, а Карпухин все стоял и растерянно глядел вслед.

— Ничего собачошка? — засмеялся я.

— Ничего, ничего! — пробормотал он.

— Тянет? А?

Но он уже пришел в себя и сконфуженно улыбнулся.

— Это «трактор» называется? — спросил он. — Не видал я их еще. А что, — он насмешливо прищурился, — день работают, три стоят? Ась?

Ишь какой ядовитый старикашка!

— А это мы у механиков спросим, — ответил я, улыбаясь. — Вы им и растолкуете, присоветуете, как этих железных собачошек кормить.

— Нет, по этому делу я не спец. Только думаю: по тундре трактор не пройдет? А? Или опять же, ежели торос.

— На пятьсот километров отсюда трактор этот ходил!

— Пятьсот?

— До Кузькина острова и обратно.

— И долго ль?

— Два дня туда, два обратно.

Он примолк.

Я жестоко прибавил:

— На Полюнью к вам думаем трактор послать.

— На Полюнью? — испугался он. — Это зачем же?

Я не ответил. Он семенил рядом и все хотел заглянуть мне в лицо. Я отворачивался, чтоб скрыть усмешку.

По дороге нам попался вездеход. Он шел в порт. Я попросил подвезти нас.

— Садитесь! — закричал веселый шофер Саша. — Карета подана.

Грузовик побежал по бухте.

— Д-да, — задумчиво произнес Карпухин. — Вот и автомобилишки по льду забегали. История!

В порту было шумно и людно. Гремело железо, пело дерево под пилой, с грохотом падал камень в майну, перфораторы со скрежетом вгрызались в диабаз, рушились скалы, звенели молотки в кузнице, стучал дизель в силовой, кричали откатчики, плотники, подрывники. На зимующих лихтерах суежилась команда, что-то чинила, строгала, малярила. Все работало вокруг, гремело, строило, копошилось.

С разбегу окунул я Карпухина с Полыньи в этот рабочий мир. Я потащил его за собой — и в кузницу, и в мастерские, и на лихтеры, и на стройку причалов. Я не давал ему опомниться, я не замечал его испуганной, жалкой улыбки и не слушал пыхтения. Я тащил его за собой и тыкал носом: гляди, чувствуй, вредный старикан!

— Берегись! — закричал нам человек со скалы и замахал алым флагом.

Я знал, что это значит, и быстро оттащил Карпухина к какому-то дощатому домику. Ничего не понимающий Карпухин послушно прижался к стене и только пугливо хлопал ресницами да тряс бороденкой. Вдруг гроыхнуло в скале, еще, еще раз... домик задрожал. Тонко застонало стекло. Карпухин схватил меня дрожащей рукой.

— Что это?

— Остров взрывают! — крикнул я.

— Господи! Зачем же?

— Порт строят.

Но слова мои заглушил новый взрыв, совсем близкий. И было видно, как взлетели там вверх огромные глыбы камня, как закружился, словно смерч, снежный прах, смешанный с дымом.

Потом стало тихо. Я подождал немного: теперь можно идти.

Карпухин нерешительно двинулся за мной. Мы подошли к месту взрыва. Подорванные скалы представляли собой груды черных камней и льдин. Рабочие насыпали камень в вагонетки и по узкоколейке гнали к бухте.

— Господи, что делают! Что делают! — шептал Карпухин.

Я подвел его к майне. В эту вырубленную во льду широкую прорубь ссыпали камень. Майну то и дело заносило снегом, замораживало. Здесь круглосуточно кипела борьба людей с природой. Люди боролись со льдом, как со скалами, — аммоналом. Они отстаивали майну и свое право строить. Они побеждали море и заставляли его отступать, как прожекторами заставили отступить полярную ночь.

Карпухин долго смотрел, как падал в море камень. В майне плескалась морская вода, и цвет ее был обычный, знакомый, сизый, и лед на бухте лежал прочно, надежно, и кое-где острым взглядом заметил Карпухин даже лунки, прососанные нерпой. Это ободрило его. Он произнес:

— Это зачем же камень в море кидают?

Я объяснил. Он засмеялся.

— Ох, люди! Ах, и чудачи же люди! Хотят море камнем замостить. Хе-хе-хе-хе! А камень-то течением снесет, снесет, снесет. — Но смеялся он теперь неуверенно.

В это время из соседней майны вылез водолаз. Он бродил где-то там под водой и льдами и мог рассказать Карпухину, снесет ли камень течением, или нет. Но водолаз промерз. Он сбросил пудовые башмаки и торопливо окунул ноги, обтянутые резиной, в ведро с кипятком. Я показал Карпухину.

— Вот вам водолаз все расскажет.

И вдруг заметил, что он с ужасом глядел на человека, вылезшего из воды. Да, это был ужас, ужас, я прочел его в воспаленных глазах старика.

— Вы что же, — удивился я, — никогда водолаза не видели?

— Да видел, видел, — пробормотал оп нехотя. — Как не видеть!

И тогда вдруг показалось мне, что я понял его страхи. Мне довелось однажды наблюдать, как ненцы познакомились с водолазом. Они тоже испугались, увидев человека, вдруг вынырнувшего из воды, и бросились бежать. То был страх перед непонятным, а следовательно, и сверхъестественным. Но водолаз снял скафандр и оказался простым человеком, веселым Васей Ферапонтовым. Ненцы вернулись и осторожно, издали стали глядеть на него. Потом подошли ближе. Потом пощупали Васю руками. А потом — потом обнимались с Васей, потчевали друг

друга табаком и помогали водолазу напяливать скафандр. Ужаса не было. Сверхъестественное стало естественным, хотя и хитрым, мудрым.

Но Карпухин видывал и водолазов слышал и о тракторах, понимал, отчего и зачем взрывы. Не машины испугали его — его испугали люди. Вот пришли они, наконец, и на Север, эти люди с Большой земли, от которых убежал он. Пришли — и под лед полезли, и скалы взорвали, и камни заставили работать! Работать! Ах, слово-то какое, Карпухину ненавистное!

И, угадав это, я стал знакомить Карпухина уже не с машинами, а с людьми. Я представил его механикам в синих меховых комбинезонах с многочисленными карманами, из которых торчали гаечные ключи, водолазам в лягушечьего цвета резиновых костюмах, подрывникам, пропахшим дымом.

— Позвольте представить вам, — говорил я Карпухину убийственно вежливо, — инженера. Николая Павловича, он тут все орудует.

— А это — партийный организатор порта, товарищ Ревин. — Будьте знакомы.

— А вот — электрик...

Карпухин растерянно пожимал протянутые руки бормоча:

— А, очень приятно! Очень приятно!

А я тащил его дальше и показывал ему все новых и новых людей, называл их профессии, неизвестные старой Арктике, привел его в чистенькую больницу, затем в блестящий кафелем зал силовой станции, потом на радиостанцию.

— Хотите, Пантелей Иванович, мы вам сейчас телефонный разговор с Москвой устроим?

— Это зачем же мне? — испугался он.

— А поговорите, поговорите. А то, хотите, я скажу? Кланяется, мол, всем старым знакомым Пантелей Иванович Карпухин.

— Да нет, зачем же... Чего беспокоиться? И знакомых-то у меня никаких там нет.

— Аль нет?

— Нету, нету... нету... — заторопился он. — Истинный бог, нету... Один как перст. Старичок-с, Не взыщите.

Куда мне его еще потащить? И вдруг я вспомнил про теплицы. Надо же ему показать, откуда здесь цветы.

Впрочем, это я больше для своего удовольствия зашел. Чудесно после мороза, отряхнувшись от снега, который сыплется вам за воротник, попасть вдруг в теплый зимний сад, где пахнет зеленью, цветами, землей, жирной, черной, свободной от снега землей, которую мы уже много месяцев не видели. И агроном (я немедленно представил его Карпухину) угостил нас тут же огурцами и помидорами. И огурцы пахли огурцами и помидоры — помидорами. Они были такие же сочные, вкусные, нежные, как и на Большой земле. И Карпухин ел их. Огурцы хрустели у него на зубах, а помидорный сок струился по бороде. Он бормотал:

— Очень приятно! Очень приятно! — но в глазах его был ужас.

А из теплицы было естественно перейти на скотный двор, словно то была не зимовка, а совхозная усадьба. И на скотном дворе на нас пахло теплом хлеба, запахами сена и навоза. Лошадь задумчиво похрустывала сеном. На соломе лежали коровы. В свинарнике о доски чесались толстозадые свиньи. И я ожидал, что Карпухин скажет: «Коровешка? И ничего — живет? А молочишка-то не дает, не дает, не-е-т...» И тогда я тут же напоил бы его парным молоком.

Но он ничего не сказал. Да мне и надоело его водить, показывать. Стало скучно и нелюбопытно.

За обедом он сидел грустно, даже чарочка спирту, выданная гостям, не обрадовала его. Съежившийся, присмиривший, он уныло жевал и думал. И мне казалось, что я угадываю его

мысли.

«Что ж это? Что ж это, господи! — вероятно, думал он. — Вот и сюда они пришли, на Север. Ишь жуют, смеются. А завтра, гляди, и на Польшню придут. Взорвут скалы, нерпу распугают. А мне же куда? А мне куда деваться, господи? Я ведь старичок. Больной старичок я. Тихонький. Ни я до вас, ни вы до меня... Но они и не спросят, больной, нет ли. А отложат струмент в сторону на минуту, да руки в свои спецовки засунут, да спросят вдруг: „А откуда ты, старичок, здесь явился? А что ты делал до семнадцатого года, а также после этого года? А как ты сюда попал? А какими здесь делами-делишками занимался? Где промышлял?“ Никто-то и никогда про это не спрашивал, никому до старичка Карпухина и дела не было. А эти — глазастые, рукастые — спросят. Как пить дать спросят! Да еще и проверят и справочки, справочки наведут. Куда ж денешься, господи, твоя воля?»

После обеда мы поехали на припай бить нерпу. На передней нарте ехали Дмитрий Павлович и Семка. Собаки были запряжены по-канадски, цугом. Они бежали весело и резво. Только хвосты мелькали, белые и пушистые, как снег.

Сзади потрухивали мы с Карпухиным. Его собаки шли в упряжке веером — то ли чтобы показать, каков оригинал их хозяин, то ли оттого, что собак было мало для цуга. Ну и собаки же были у Карпухина! Они являли собой вид идеальной карпухинской собаки: тощие, битые, злые, ощеренные! Уж бить-то их он не скупился, это было сразу видно: клочья потрепанной шерсти еле прикрывали многочисленные раны на их боках. Но бежали «собачошки» плохо. Мы скоро отстали от передней нарты. Я уж начал подумывать, не быстрее ли мне выйдет дошагать пешком.

Карпухин сидел, понурившись. Удивительно жалкой была эта согбенная спина, покрытая падающим снегом. Старик молчал и даже на собак забыл покрикивать. Невеселую думу, видно, думал Карпухин с Польшни. Вдруг я услышал всхлипывания. Удивленно прислушался. Нет сомнения, это Карпухин. Что это он?

— Что сделали! Что сделали! — прохрипел он. — Ай, что сделали с северной землей!

И он вдруг расплакался, громко, навзрыд. Это было отвратительно: эта жалкая вздрагивающая спина, с которой сыпался снег, эти грязные слезы мужчины, замерзающие на бороде и усах, эти колченогие, замордованные собаки... Ну, чего, чего он плакал, он, равнодушный к чужим слезам? Мне вдруг вспомнился битый Семка, как он рукавом зипуна стирал слезы, и та чукчанка, и вот эти собаки, и канарейка, и все, что я слышал и знал о Карпухине с Польшни. Во мне росло отвращение к этому грязному старику. Я встал и пошел рядом с собаками.

А он все всхлипывал, кашлял, сморкался.

— Уничтожили, — вдруг услышал я бормотанье Карпухина. Потом кашель. Потом опять: — Уничтожили! Все уничтожили! Арктику уничтожили. Жизнь уничтожили. Господи, что сделали? Господи, твоя воля!

И тогда я вдруг расхохотался. Уничтожили? Да, уничтожили. Нет больше старой Арктики, страшной, цинготной, бредовой, с волчьими законами, драмами на зимовках, испуганными выстрелами, глухими убийствами в ночи, с безумием одиночества, с одинокой гибелью среди белого безмолвия пустыни, с мрачным произволом торговца, с пьяными оргиями на факториях, с издевательствами над беспомощными мирными чукчами, с грабежом, насилием, бездельем, одурением и отупением, — нет этой страшной, трижды проклятой старой Арктики! Нет ее — уничтожили! Очень хорошо! Отлично!

(Я брел теперь по колено в снегу, но не замечал этого.)

«Этот Карпухин с Польшни, — размышлял я, — этот последний не выкуренный из норы хищник... Последний ли? Вот он сидит, сгорбившийся, жалкий. Потому что поймали, —

сьежился. А вчера? А Семка?»

Как он попал в Польшу, этот Карпукхин? Его загнали сюда, как загоняют охотники волка. Он убегал, петляя и волоча подстреленную ногу. По этим путаным следам стежкам можно прочитать его историю.

Кем он был раньше? Сельским мироедом, лавочником, урядником?

Под натиском Красной Армии он отступил с белыми сначала в Сибирь, потом на Дальний Восток. Здесь понюхал-понюхал, учуял, что пахнет жареным, бросил оружие, спрятался. Но большевики приходят и на Дальний Восток. Он снова отступает, бежит, ищет берлоги, где спрятаться. Теперь его путь лежит на север. На Чукотке он обретает железную берлогу. Отлеживается. Зализывает раны. Паразитом вползает в чукотскую семью. Его принимают как работника, но он не любит и не умеет работать. На него опять работают другие. А он ест, жадно рвет зубами мясо. Мясо оттачивает зубы. Он оскаливается. Теперь он снова прежний Карпукхин-волк, и добродушная семья чукчей почувствовала на своем теле его зубы.

Но революция настигает его и здесь. Она приносит с собой новые порядки, новые отношения между людьми. Он опять бежит. Дальше, дальше, петляя и путая следы свои. Он пробирается в самую глубь тундры.

Кочует с чукчами. Рыбачит с одулами. Опасается якутов. Добирается до долган. Эти — православные. Он ходит с ними в церковь, где давно нет попа, но еще есть иконы. Он то тихий хореk, то волк, то шакал. Как шакал пристаёт он к своре авантюристов. Бредет за ними, оказывая тайные услуги и подбирая небрежно брошенные ему куски. Но авантюристов ждёт пуля, и он опять прячется. Опять бежит. И вот оказывается на Польшу, прижатый к самому морю. Дальше — некуда. Он прижат к краю земли.

Ему кажется, что вот он уж нашёл себе берлогу. Добрые дяди из треста щедро снабдили его продовольствием, и даже сахарком, и липкими, свалявшимися в тесто конфетами. Он отсиживается, отлеживается, сосет лапу. Пушной план не выполняется им, он не умеет и не хочет работать, но дяди из треста дают ему ещё авансы. Мясо оттачивает зубы. Находится покорный Семка.

Теперь можно и вздохнуть, легко, всей грудью. Хорошая сторонка, медвежий край, глухомань, гостеприимные дяди в редких избушках на побережье. Всегда можно найти табак для трубки, ржаную муку для собак, избу для ночлега. Никто не спрашивает, кто он, откуда, что умеет делать. Он живет. Долгая ночь сменяется большим днем, медведь — оленем, песец — гусем; полярный год состоит из одних больших суток.

За годы странствований этот человек с редкой бородкой и глазами алкоголика научился ладить с суровой природой Севера. Он приспособился к ней, отказался от многих потребностей; он соглашался жить в грязной землянке, занесенной снегом по крышу, он умел выждать пургу, вырыв в снегу яму для себя и собак, научился терпеливо делать пешие переходы, голодать, мерзнуть, болеть, жить в грязи и лишениях. Если это и была «романтика», то «романтика» отчаяния и приспособления. Если это и была жизнь, то жизнь хищника и бездельника. Впрочем, какая она ни была, она устраивала Карпухина, другой он не хотел. И на то были у него свои причины.

Но вот сегодня он увидел новых людей. Они пришли и на Север! То были люди Большой земли, от которых он бегал всю жизнь. И вот — не сумел убежать. Они пришли сюда всерьез и надолго, навсегда; ничто не выдавало в них новичков. Они приехали не стараться, не страдать, не подвижничать, — они приехали работать. Они приехали не только осваивать, но и обживать Арктику, как обживают вновь сколоченный просторный дом. И они не хотели терпеть в этом доме, даже в самом дальнем и темном углу его, бездельного старичка Карпухина. Господи, куда ему деваться?

Они приехали, эти люди, с семьями и детьми, с тракторами, коровами и музыкальными инструментами, с настольными лампами, патефонами и безопасными бритвами Мосштампа. Они ни с чем не хотели мириться: ни с природой, ни с лишениями; они затеяли победить их. Льды? Они расталкивали их ледоколами. Пурга? Они пробивали косые завесы снега самолетами. Одиночество? Они подняли в небо радиомачты. Лишения? Они построили просторные дома, теплицы, бани, больницы, хлева. Их романтика была романтикой сопротивления и победы. Их жизнь — жизнью творцов и строителей. В этой жизни Карпухину нечего было делать.

Мы выбрались уже на припай. Вдали зачернело море. Бушевавшие целую неделю порывистые северные ветры прибили к острову огромные ледяные поля и спаяли их со старым береговым припаем, — теперь припай раскинулся километра на два, на три. Острые зеленоватые торосы выпирали из льда тут и там. Чем ближе к морю, тем фантастичнее и неожиданнее были их нагромождения.

Впереди, над кромкой припая, то и дело взлетали дымки выстрелов. Это Семка с Дмитрием Павловичем уже начали промысел. Я скоро заметил их. Они лежали у самой воды, спрятавшись за торосы.

Лед, по которому брели наши собаки, тончал и тончал. Стали попадаться глубокие трещины, словно морщины на белом лице припая. По этим трещинам, как по ризке, проведенной алмазом на стекле, станут отрываться при перемене ветра льдины и уплывать обратно в море. Это ледяные поля... Они здесь, как на якоре в Тихой гавани. Еще неделю назад они вольно неслись по холодным волнам Карского моря. И, может быть, еще неделю назад по этой льдине бродил медведь, хозяин Ледяного моря, — сейчас мирно бредут собаки. Кто знает! Через неделю эти поля снова рванутся в свое беспокойное плавание и унесут на себе в море робкие наши следы, кружевной след лемминга, веточки собачьего шага и неширокую полосу, пропаханную в снегу нартами. И новый постоялец плавучей льдины — медведь — будет озабоченно обнюхивать эти неизвестно откуда взявшиеся следы человека, и охотничья дрожь охватит его так же, как охватывает нас сейчас.

Знакомый пейзаж Студеного моря (древние греки звали его «Свернувшимся морем») ободрил Карпухина. Он начал покрикивать на собак («Эх вы, кабыздохи, шалые-е!» — словно кучер на рысаков), а когда они шарахнулись в сторону, за леммингом, огрел их длинным хореем и обругал:

— У здешних учитеесь? По здешним не равняйтесь. То купчихи, а не собаки!

Он становился все воинственнее — знакомые люди, море, запахи пороха, воды, морского зверя будоражили его. Он закричал Семке и Дмитрию Павловичу, что не так они промысел начали, не так залегли, не то делают.

— Ах, чудачи люди! Ну что же вы делаете? Не так! Не так, шалые!

Но его никто не слушал, и даже Семка только досадливо отмахнулся рукой. Да и сам Карпухин был уже не уверен в себе, хотя и форсил и храбрился.

Стрелял он плохо: то ли вообще не умел стрелять, то ли сегодня расстроился. Нерпы было много. Она плескалась в полынье, образованной плавучими льдами. То и дело из воды высывалась грациозная, блестящая сизо-серебристая спина с черными пятнами.

Чтобы привлечь нерпу ближе к выстрелу, Семка тихонько посвистывал. Нерпа любопытна: свист, шорохи на берегу, стук палки о днище лодки — все привлекает ее. Она торопливо плывет на звук, доверчиво высывает из воды морду. В голову ее и бьют. Уже качались на воде три-четыре тушки убитых нерп, вокруг них багровыми кругами расплывалась кровь. Жирные туши, как пробки, болтались на поверхности воды и не тонули.

Но Карпухину все не удавалось промыслить нерпу. Он злился. Тоже пробовал свистеть и тут же ворчал:

— Да, посвисти, посвисти! Удивишь ее, как же! Здешняя эта нерпа, ко всему привычная. Образованная. Интеллигентка! Она, поди, и граммофон слышала и роялю. Пожалуй, и танцевать умеет, выучилась, на вас гляючи. — Он поворачивал ко мне голову и ехидно хихикал. — Поглядите: ишь пляшет! Это как называется: фострот или вальц?

Когда спустили на воду ветку^[9], чтоб подобрать тушки, он тоже ввязался в поездку, чуть не опрокинул лодку, все командовал:

— Левее весло пошло! Табань, черт, правым! Оба в ход! Ах, идиеты, идиеты, такого дела не умеют!

И я все боялся, что Семка огреет его веслом.

Хоть Карпухин ни одной нерпы так и не убил, но разделявать их бросился яростно. Вот это он умел делать, говорить нечего. Нож блистал в его умелой руке, как скальпель в руках хирурга. Прежде всего он отделил печенку и, с наслаждением чавкая, стал есть ее. Усы и борода его окровенились, капли крови замерзли на волосах. Он и мне предложил отведать печенки. Я отказался.

— Напрасно, напрасно! — пожурил он. — Кто сырое мясо ест, тому цинга неизвестна...

Вот сейчас, с окровавленным лицом и руками, жадно чавкающий, весь пропахший жирным приторным запахом ворвани, он был самым собой.

Через несколько дней с Пясины пришел пушной обоз, которого я давно дожидался. Обоз расположился шумным табором вокруг главного здания зимовки. Собачьи своры рвались из упряжек, визжали, но железный остол, на полметра всаженный в снег, крепко держал их на месте, не то быть бы свалке. Со всего острова сбежались местные собаки, недружелюбно накинувшиеся на гостей. Каюры длинными хореями разгоняли их; побитые собаки, жалобно скуля, расползлись по своим конурам.

В кают-компании было шумно и весело. Гости, от которых пахло морозом, дорогой, псиной, пушиной, толпились, ели, громко и все сразу разговаривали. Их окружили зимовщики. Тут же толкался Семка. Он повеселел, стал как-то и выше, и шире, и смелее. Парня нельзя было узнать. Карпухина нигде не было видно.

С этим обозом я должен был уходить на юг, в Дудинку. Посоветовавшись с начальником зимовки, я решил взять с собой Карпухина. Его нельзя было более оставлять на Севере, на Польшье. Было решено, что на промысел Семка вернется один. А с Карпухиным мы в Дудинке по душам потолкуем!

Я сообщил об этом решении Карпухину.

Ночью мы тронулись в путь. Иногда, оглядываясь назад, я видел нарту Карпухина. Он сидел сгорбившись. Его колченогие собаки понуро бежали по синей бухте.

Хмурый огромный Котельников шагнул к микрофону. Диктор заботливо подал ему наушники. Плотник надел их и услышал свист эфира.

— Ньюша! — позвал он негромко. — Анна Степановна!

Он подождал немного.

— Архангельск! Архангельск! — закричал рядом диктор. — Даю счет для настройки. Раз, два, три, четыре... Слышите ли нас? Продолжаем разговор зимовщиков с родными. У микрофона товарищ Котельников. Пригласите к аппарату жену товарища Котельникова, Анну Степановну.

— Это я, Анна Степановна, — раздался вдруг не то испуганный, не то удивленный женский голос. — Это ты, Петр Максимович?

— Я, Ньюша, — сказал Котельников. — Ну, здравствуй, Ньюша. Здоровье ваше как?

— Здоровье ничего.

— А как Зинка?

— Зинка — ничего. Она тут.

— Я здесь, папа, — прозвенел напряженный детский голосок.

— Здравствуй, Зинка! Ну, как живешь, ничего?

— Ничего, папа. Учусь. Три «хора», одно «отлично» и одно... — она запнулась и прошептала огорченно: — и одно «пос». А ты как?

— И я ничего. Ну, погоди, пусть мамка со мной еще поговорит. Ньюша? Так. — Котельников помолчал немного, покусал усы, потом посмотрел в микрофон и сказал: — Значит... ничего живете?

— Живем ничего, — ответила жена.

Ее голос звучал неуверенно. Мне все казалось, что она испугалась, боится чего-то. Они повторяли: «Живем ничего, да, так-то», — и вдруг оба замолчали. Котельников шумно дышал (его дыхание, подхваченное и усиленное репродуктором, казалось хриплым, судорожным). Диктор удивленно взглянул на плотника и что-то прошептал ему. Котельников мотнул головой и произнес:

— А дрова привезли?

— Привезли, Петр Максимович, — обрадованно подхватила жена. — Ничего... Тепло теперь. — Она запнулась и растерянно прибавила: — У нас все по-прежнему, Петр Максимович. Вы не беспокойтесь.

— Ты смотри, Ньюшка, — глухо сказал Котельников, — Смотри. Помни. Знаешь, о чем говорю?

— Знаю, — прошептал репродуктор.

— То-то, Ньюша. Ты помни. Ты себя помни, Ньюшенька, — он выговаривал слова медленно, раздельно.

— Что вы, Петр Максимович! — сконфуженно пробормотала жена. — Что ты, Петенька... Люди тут...

— Что ж, люди? Дело такое. Ты вроде солдатки теперь. Долго ль? Так ты помни... что обещала... Приеду — спрошу. — Он помолчал немного, подождал, потом сказал, вздохнув: — Так ничего живете? Ну-ну. Теперь Зинку давай.

— Она тебе стишок выучила, скажет, — обрадованно затараторила жена. — Зина, Зинушка, ну, скажи папе стишок. Ну, что ты, дурочка?

Зинка откашлялась и звонко отбарабанила стишок. Мы заметили, что у Котельникова блеснули слезы на глазах.

— Так, молодец, доченька. Приеду, подарок привезу.

— Медвежонка? Живого?

— Живого, доченька. Вот... Медвежонка тебе... Так, так... Значит, учишься! Ничего? И здоровье ничего? Так, так... — Он помолчал и, придвинув локти ближе к микрофону, проговорил тихо: — Зинушка... А что... мамка тебя не обижает?

— Нет, нет! — весело закричала Зинка.

— А... а мама все дома с тобой? Иль куда ходит?

Репродуктор донес до нас торопливый шепот Ньюши:

— Скажи: никуда, мол, не ходит.

— Никуда, мол, не ходит, — неуверенно повторила Зинка.

— Ну, а к маме кто... ходит? — прохрипел в микрофон Котельников.

Мы не выдержали и зашипели из всех углов:

— Что ты, Котельников! Ведь в эфир говоришь. Позоришь ты нас. Кого допытывать стал — ребенка! Стыд тебе, Петр!

Но он только отмахнулся от нас рукой. Его зубы были стиснуты, он весь подался вперед к микрофону.

— Никто к мамке не ходит! — сердито крикнула Зинка и расплакалась.

Возмущенные, мы закричали на Котельникова. Он встал, швырнул наушники на стол и, ссутулившись, молча пошел к двери, хмурый, измученный.

БОЦМАН С «ГРОМОБОЯ»

Не многие знали его настоящее имя. Все звали его просто боцманом. Когда-то он плавал на легендарном «Громобое», пережил Цусиму, служил и царю, и купцу, и ученому. Теперь он состарился, но от моря уйти не мог.

Я не знаю, как попал он сюда на зимовку, но смены менялись, начальники менялись, а он все оставался в домике на крутом берегу бухты, — старый моряк на мертвом якоре. И хоть море девять месяцев в году было сковано льдом, но старик уверял, что здесь и лед пахнет солью. Он величал себя «старой матросской шкурой, просоленной в семи морях и четырех океанах», и говорил, что этого «рассолу» ему хватит навек.

Он был в том возрасте, когда уже не стареют. Его черные глаза блестели удивительно молодо и насмешливо, седоватые боцманские усы были щегольски подстрижены, морская фуражка лихо сдвинута набекрень, а на волосатой груди и на руках красовались косые синие якоря.

Боцман был суетлив, подвижен, строен, как может быть подвижен и строен старик и моряк. Он вечно балагурил, подмигивал, рассказывал смешные истории, сыпал прибаутками — солью корабельного камбуза. Знать, и впрямь был крепок «рассол», в котором жизнь вымочила этого человека, если сумел он и в пресной старицкой гавани сохранить свою бравую оснастку. Когда-то в Соликамске я видел старые строгановские варницы^[10]. Деревянные срубы стояли извечно, не поддаваясь ни времени, ни тлению, ни распаду: они были пропитаны солью. Я вспомнил эти старые варницы, глядя на боцмана.

Зимой боцман работал в порту: насвистывая и разговаривая сам с собой, возился подле старых катеришек. Что-то чинил, красил, строгал. То были дрянные японские «кавасаки». Замечательное дерьмо, как высказывался о них боцман, и все дрянное и худое стал звать «кавасаки»: худые валенки — кавасаки, тупая пила — кавасаки, скверный борщ — кавасаки.

По вечерам в кают-компании вокруг боцмана собиралась портовая молодежь, и он потешал ее. Он врал, но складно; подмигивая левым глазом под седой косматой бровью, он отплывал в такие фантастические плавания, что даже бывалый полярный народ уши развешивал.

Ну что ж, если хотите — он корчил шута. И сам лучше всех знал это.

— Отчего я не помираю, братцы? — говорил он, подмигивая. — Да все вас жаль: скучно вам без меня зимовать будет.

Но летом, в горячие дни навигации, старик преображался. Шутовство слетало с него, словно смываемое водой. Он становился строг и озабочен. Теперь было не до шуток: под ним качалась палуба. Правда, то был не линейный корабль и даже не «купец», а всего-навсего дрянной кавасаки. Но море остается морем, а к морю он относился с религиозным благоговением.

Целыми днями носился боцман на катере по бухте. Стоя твердыми ногами на обрызганном волнами носу, командовал:

— Лыдина по правому борту! Полный назад! Полный вперед! — и, приставая на своей скорлупе к неуклюжим ледоколам, властно кричал хриплой, простуженной боцманской глоткой: — Э-эй, на «Сибирякове-е»! Э-эй, на «Ермаке-е»! Бери конец!

И так лихо, с таким мастерством и шиком бросал канат, что сразу узнавался старый боцман.

Его знали на всех ледоколах, лесовозах, теплоходах и лихтерах, плавающих в западных долготах Арктики. Он давно уже стал привычной принадлежностью диксоновского пейзажа, как деревянный маяк с керосиновой лампой на берегу, как знак Вернса в проливе, как седые камни в бухте у Белушатника. Немыслимо было бросить якорь на рейде в проливе Вега, чтоб через

полчаса не услышать хриплого знакомого: «Э-эй, на посуде-е!»

Моряк с «Хронометра», смеясь, говорил мне, что в тот день, когда не прогудит у борта клич боцмана, он выкинет сигнал бедствия, решив, что наступил конец света.

Вот каков был наш боцман с «Громобоя». Таким я застал его на зимовке, таким оставил, уезжая. Через год я встретил его там же, но уже в новой и необычайной роли.

Однажды весной в порту случилось несчастье: при взрыве скалой придавило старика подрывника, Тараса Андреича. Его вытащили из-под груды камней и, так как он не охал, не стонал и не жаловался, испугались было, что он умер. Но старик произнес:

— До больницы... доеду...

Сопровождать его в больницу вызвался боцман, — старики были приятелями. Раненого уложили на нарту, боцман сел рядом, обнял приятеля за плечи и крикнул на собак:

— Усь, усь, тихий вперед! Старайтесь, собачки, вы теперь санитарный транспорт.

Он шутил, но на глазах у него блестели слезы. Раненый утешал его:

— Ничего, ничего, боцман. Не расстраивайся. У меня кость железная. Не так-то скоро ее сломишь.

— Ты потерпи, Андреич, — в свою очередь утешал раненого боцман. — Сам знаю, что такого красивого мужчину камнем не придавишь, не блоха — человек. Вот у нас на «Громобое» тоже случай был: кочегар по пьяной лавочке в топку залез...

— Не могло этого быть, боцман. Ох!

— Ну и не могло, что ж с того? А кочегар-то выжил. Здоровехонький из топки вылез... Так вот и ты. Не унывай.

Так, утешая друг друга, старики прибыли в больницу. «Санитарный транспорт», высунув розовые языки, стал лизать снег и рваться из упряжки, а боцман, подняв товарища на руки, как малое дитя, внес его в больницу.

В больнице острова в те поры остался один доктор: заболевшую медсестру самолетом отправили на Большую землю. Доктор и оперировал, и лечил, и ходил за больными, и таскал воду, и чуть ли не сам мыл полы. Он попросил боцмана помочь ему при перевязке. Боцман согласился. И, хотя ему стало чуть нехорошо при виде крови и замутило от больничных запахов, он и виду не подал, что «слабит», и даже шутил.

— Ах, Тарас Андреич, посуда старая. Вот доктор тебе сейчас капитальный ремонт даст. Такой тебе парусок приладит — чайкой взовьешься. Ты потерпи.

И Тарас Андреич, стиснув зубы, молчал и терпел. И даже гордо улыбнулся, когда мучительная перевязка кончилась: вот, мол, и не пикнул.

Доктор попросил боцмана немного посидеть с больным. Боцман обрадовался: ему уходить не хотелось. Он просидел весь вечер, развеселился и развеселил все немногочисленное население больницы. В этот вечер он рассказывал о механическом человеке.

— Был у нас на «Громобое» механический человек, братцы, — повествовал он, подмигивая. — Свинчивался утром, на ночь развинчивался. Между прочим, мой земляк — калуцкий, и из одного уезда, из Масальского. Его, значит, били в жизни много: и урядник бил, и мастер учил, и боцман прикладывался, и старпом нет-нет да ручкой и охорошит, а ручка офицерская тяжелая, — совсем изломали парня. Ни ребер, ни рук, ни ног. И был у него дружок — тульский слесарь. И говорит туляк: «При такой твоей битой жизни, бедняга, тебе надо кости иметь не человеческие, а железные. Дай-ка я тебя изладю». И изладил ему туляк механические руки, ноги, ребра — все на винтах да на шурупах. Переломает ему, к примеру, старпом ребра, а он и глазом не моргнет — мигом в кузницу, сварят, склепают — и снова гош под линек. Так-то, Андреич! Вот попроси доктора, нехай тебе механические ребра выхлопочет.

Короче говоря, боцман скоро освоился с больницей, словно то и не больница вовсе, а

знакомый, теплый, пропахший тютюном и потом полубак. Никогда еще не было у боцмана таких благодарных слушателей, как эти больные. Он чувствовал, что нужен им, может быть даже не меньше, чем доктор. И даже возгордился немного.

— Ну-с, болящие? — спрашивал он утром, входя в палату. — Как вы тут без меня? Температурку мерили?

Незаметно для себя боцман так и остался в больнице. Тарас Андреич выписался, зато другие больные появились — на кого же их покинешь? Он ходил за ними, как за малыми ребятами, помогал доктору при перевязках и операциях, был даже один раз «ассистентом при родах» (как важно хвастался он на кухне), — словом, стал незаменимым человеком в больнице. Доктор у начальника оформил переход боцмана на время в больницу, и старик стал «медсестрой».

У него был уже свой халат (он называл его «медицинской робой»), он завел себе очки, как и доктор, но для смеха выбрал очки дымчатые (их носят полярники в белые солнечные дни). Когда приходили больные, он надевал очки на самый кончик своего синеватого крупного носа и строго спрашивал:

— Вы к доктору или ко мне?

— К тебе, боцман, к тебе, — охотно подхватывали шутку больные. — Подсоби, сделай милость. Неможется.

— Ага! Ну, расскажи, что ж у тебя болит? В области живота или в области кишок?

Больной рассказывал.

— А ну покажь язык, — требовал боцман. — Дрянной язык, болтаешь много. Ну, это мы с доктором тебе все исправим. Подвинтим, смажем, просмолим, законопатим.

Он вводил больного к доктору, сохраняя при этом все тот же невозмутимый «научный» (как выражался он) вид, только глаза его блестели насмешливо, как у факира-любителя, показывающего смешной фокус.

— Вот этот гражданин — больной, доктор, — представлял больного боцман. — Я уж его немножко освидетельствовал, между прочим. Но нужен консилиум. Вы как думаете, аппендиксит?

— А вы как полагаете, коллега? — не улыбаясь, отвечал доктор.

— Я полагаю, надо операцию сделать, доктор.

— Я с вами вполне согласен, уважаемый коллега. Только не операцию, а касторку.

— Вот и я это самое думал. Олеум рицини — сила медицины. Сколько ему касторки вкатить?

Ну что ж, если хотите, он и здесь корчил из себя шута, клоуна в «медицинской робе». И сам лучше всех знал, что это шутовство. Но, знаете, невеселая это вещь — болеть, тем более болеть на зимовке. И больные были несказанно благодарны веселому боцману за его лекарство, лучшее в мире, — за смех. Смех лечит. Доктор всерьез «прописывал боцмана» больным.

Странно, что, постоянно находясь в больнице, среди разговоров о болях и смерти, боцман сам оставался чужд стариновскому страху смерти. Считал ли он себя бессмертным? Ему уже за шестьдесят. Он прожил жизнь долгую и трудную. Пора бы и на покой, дозимовывать жизнь на Васильевском острове в Ленинграде. Но ему все было недосуг подумать о смерти и покое. Он доживал свои дни так же беззаботно, как жил, — со смехом и свистом.

Иногда он, впрочем, говорил:

— Когда почую я, братцы, что смерть от меня не дальше двух кабельтовых, отправлюсь я снова в море, в последнее плавание.

И тут же начинал развивать фантастический план, чертил длинным пальцем в воздухе

маршрут плавания, обстоятельно объяснял, в какие гавани будет входить и что делать на берегу. («Всю жизнь мечтал живого попугая добыть. Вот тогда и добуду!») Слушатели поддакивали ему, но знали, что уже не плавать старому боцману по семи морям и четырем океанам. Да и сам он знал: не плавать. С морем кончено. Это он лучше всех знал. И это было его тайной печалью.

Ну что ж! Не плавать так и не плавать. Он был дядькой моряков, теперь стал их нянькой. Он сам набился в няни. Потому что тепло старику подле нуждающихся в нем людей. Потому что и людям тепло с ним.

Я застал боцмана в больнице. Он был в халате и морской фуражке. Увидев меня, он вытянулся во фронт и приложил правую руку к козырьку, в левой он держал клизму.

— Честь имею представиться! — гаркнул он. — Старший помощник главного доктора, боцман-акушерка.

И, весело подмигнув мне, расхохотался, замахал клизмой.

Где ты зимуешь, где плаваешь теперь, чудесный боцман? Ушел ли в заветный предсмертный рейс, или пустился в такое плавание, из которого уже не возвращаются на берег? Или удалился на покой, дозимовывать жизнь на Васильевском острове? Или все еще зимуешь в Арктике, носишься на дрянном кавасаки по бухте, хрипло кричишь: «Э-эй, на коробке-е!» — и лихо, в пику молодым матросам, бросаешь конец?

Но всякий, кто хоть день пролежал на больничной койке на Старом Диксоне, никогда не забудет тебя, старший помощник главного доктора, боцман-акушерка!

ВОЗВРАЩЕНИЕ САТАНАУ

Историю возвращения Сатанау мне рассказал Ребровский, партийный работник Чукотки. Целый месяц мы прожили с ним в фактории Майна Пыльгина, на побережье Берингова моря. Мы ждали парохода, парохода не было.

Днем мы бродили по берегу, уныло глядели, как играют в море коричневые стада кашалотов (это было сначала забавно, потом стало скучным, потом нестерпимо надоело: никогда не видел животных глупее этих тупомордых мокрых чудовищ!), а по вечерам валялись на расстеленных по полу оленьих шкурах, курили, играли в кости, зевали.

Я знал уже и историю первой любви Ребровского, и то, как он женился, и какие он блюда любит. По-моему, мы тоже друг другу осточертели. В последние дни мы уже лежали молча, каждый в своем углу.

— Хотите, — неожиданно сказал он однажды вечером, — я расскажу вам историю Сатанау?

— Ладно, рассказывайте.

— Но прежде послушайте о Нам-Боке.

— А это что еще?

Он вытащил из-под подушки растрепанную и засаленную книгу и прочел мне рассказ Джека Лондона «Нам-Бок — лжец».

Вот история Нам-Бока.

После десятилетнего странствования по чужим морям он вернулся к родному очагу. Эскимосы встретили его пугливо: они были уверены, что он пришел из царства теней. Нам-Бок рассказал им о том, что видел в стране белых, о железном доме, который без весел плывет по морю, о звере, которого кормят камнями и он за это возит людей по земле... О многих чудесах рассказал Нам-Бок. Но эскимосы высмеяли его и назвали лжецом: железо тонет в воде, зверя не кормят камнями. И они изгнали Нам-Бока с позором от родных очагов. Такова история Нам-Бока, рассказанная писателем Джеком Лондоном.

А вот история Сатанау, рассказанная мне Ребровским в фактории Майна Пыльгина, на побережье Берингова моря, в томительные дни нашей «вынужденной посадки».

Пароход пришел с востока. Он стал на рейде, за скалой, так как в бухте еще толпился лед: вчера был норд. Сегодня сильным вестом выносило лед из бухты, и капитан надеялся к вечеру пристать ближе и начать выгрузку. Он стоял на мостике, курил трубку и равнодушно глядел на давно знакомый берег.

С берега навстречу пароходу ринулись нетерпеливые катера. Искусно лавируя между зеленоватыми плавучими льдинами и голубыми знакомыми стамухами, они подошли к пароходу, люди вскарабкались по штормтрапу на борт, чтобы поскорее взять почту, газеты, услышать новости и — главное — поглядеть новых людей, поболтать с ними.

Это был первый пароход в нынешнюю навигацию, и встречать его на берег высыпало все население поселка: зимовщики полярной станции, береговые чукчи-зверобои, их жены, дети и собаки. Все это толпилось на берегу, шумело, суеилось, нервничало.

Наконец вернулся катер. Он уткнулся носом в мокрый песок, и на берег стали выпрыгивать люди — моряки, пассажиры, зимовщики.

Последним сошел человек в синем комбинезоне, с карманами, прошитыми в два ряда белыми нитками. Такие комбинезоны носят на Аляске, на японских рыбных промыслах и у нас на Камчатке. За плечами у человека болтался мешок — весь его багаж. Ни на кого не глядя, ни с кем не заговаривая, уверенно, как человек, которому здесь места знакомы, он прошел вверх по

берегу, выбрал камешек посуше, сел и озабоченно начал стаскивать сапоги. Затем достал из мешка ботинки, яркий, алый с синими горошинами, галстук, такой же платок, бережно и любовно разложил все на камне, спрятал в мешок сапоги, ботинки обул, галстук повязал на шею, платок сунул в карман на груди и улыбнулся довольной улыбкой. Затем направился к людям на берегу.

Он подошел прямо к группе чукчей и остановился перед ними, картинно расставив ноги и улыбаясь.

— Вот я вернулся, — сказал он по-чукотски. — Вот, наконец, я приехал.

На него удивленно глядели десятки глаз. Он догадался, что его не узнали, и обрадовался этому. И опять засмеялся. Гордо выпятил грудь, вытащил платок и помахал им вокруг лица.

— Кто ты, человек, говорящий, как настоящие люди? — спросил дрожащим голосом старик в очках.

— А, это ты, Пеляугын? — засмеялся пришелец. — Кто тебе дал очки? А это... это... Тыгренау? — продолжал он, вглядываясь в лица. — Это... Улькиутын? — Он переходил от одного к другому, а они следили за ним растерянными взглядами. — Это Ичель... Это Кау-Кау. Ты стала старой, Кау-Кау, как прокисший хлеб. Это твои дети?

Он узнавал только стариков. Молодые были незнакомы ему. Он покосился на двух молодых ребят в европейских пиджачках. На одном из них он с досадой увидел галстук. Но его галстук был ярче, красивее, и он успокоился. Он поискал глазами кого-то в толпе и не нашел. Его лицо омрачилось.

— Кто ты, кто ты, человек, знающий нас? — удивленно спросил Укутагын.

Пришелец громко захохотал.

Но Пеляугын, который был в очках и потому видел лучше всех, вглядевшись в пришельца, нерешительно произнес:

— Э! Это ты, Сатанау! Ты вернулся?

— Да, — гордо ответил пришелец. — Я — Сатанау. И я вернулся.

— О Сатанау!

— Сатанау вернулся!

— Это ведь Сатанау! — раздались голоса, и все весело окружили парня в синем комбинезоне.

— Но где же ты был, однако, Сатанау? — спросил Пеляугын.

— Там. За морем, — показал Сатанау рукой. — Я был там, где никто из вас никогда не был. Потому что я великий человек. — И он ударил себя кулаком в гулкую грудь.

Они пошли за ним толпою в поселок и говорили выбегавшим навстречу женщинам — тем, которые не были на берегу:

— Это Сатанау. Он вернулся.

И женщины, дети, собаки — все приставали к шествию, возглавляемому парнем в синем комбинезоне, наконец вернувшимся к своему очагу.

Сатанау усадили на почетное место у огня, и все население поселка расселось вокруг. От котлов исходил аппетитный запах мяса и жира, и Сатанау, не дожидаясь приглашений, запустил руку в котел, подцепил огромный кусок мяса и жадно стал есть. Все терпеливо ждали, потому что Сатанау делал правильно: человек не расскажет новостей, пока не насытится.

А он выхватывал из котлов самые жирные куски, ел, громко чавкая, и хвастливо кричал, опьяненный едой:

— Да, да! Давайте мне лучшие куски. Давайте воду. Табак давайте. Теперь я буду есть печенку тюленя. Где Умкугын, старый пес? Прогоните его, теперь я буду шаманом, я видел великое колдовство там, за морем.

И все чукчи смеялись, как люди, умеющие ценить шутку.

Когда Сатанау наелся, — а ел он много и долго, — его попросили рассказать о том, где он был и что видел, Он закурил трубку и торжественно начал:

— Вы, сидящие у этого очага мои соседи! Ты, Пеляугын, ты, Тыгренкау, ты, Укутагын, и вы все! Слушайте Сатанау, он расскажет вам то, что вы никогда не услышите и не увидите. — Он хотел продолжать в том же торжественно величественном тоне, к которому готовился десять лет, но сорвался и дальше уж говорил выкриками, хвастливыми и бессвязными.

— Э! Вы! Чукчи! Сатанау — великий человек, однако. Он был за морем, Хо! Он как ветер... С китобоями на Аляску, хо! Потом Америка... Фриско. Видел чудеса. — Он сделал большие глаза и сказал шепотом: — Я видел птицу, на которой летели люди, и птица была железная, вся железная, как вот этот котел.

— О-о! — удивленно протянул Тыгренкау.

— Это самолет, — тихо прошептал Пеляугын. — Мы тоже видели эту птицу. Мы думали, она родилась, как птица из гнезда, но нам сказали, что ее сделали люди.

Сатанау метнул на него яростный взгляд.

— О! — закричал он. — Где же ты видел эту птицу, старик с четырьмя глазами? Тебе снилась она?

— Здесь, — ответил Пеляугын и показал рукой на бухту. — Они часто сюда прилетают.

— Но вы не летали на ней! — рассердился Сатанау. — Ни один чукча не летал на ней! Я! Я! О, я! Я хотел лететь на ней. Я не боялся, но это стоит много денег, а зачем бросать деньги на воздух?

— Мы не летали, — сказал Укутагын, — но Тывлянто летал. Он говорит: хорошо. Он ничего не говорил о деньгах.

Добродушному Тыгренкау показалось, что невежливо так спорить с пришельцем. И он сказал примирительно:

— Пусть говорит Сатанау, не мешайте Сатанау говорить. Он видел больше нас, он десять лет бродил по земле, а мы сидели здесь, у моря.

— Да! — крикнул Сатанау. — Я бродил по земле десять лет. И я видел великое колдовство. Я вернулся, чтоб показать вам чудо. Прогоните Умкугына, я буду теперь сам шаманить.

Все снова засмеялись и ничего не сказали, и только неугомонный Пеляугын не стерпел и произнес:

— У нас нет шамана, однако.

— Тогда я буду шаманом. — Сатанау поднялся на ноги и обвел всех гордым взглядом. — Кто из вас был в стране за морем? Я! Хо! Вы увидели птицу, которая летает, и думаете, что все уже видели? Хо! Я видел более удивительное.

— Расскажи, однако, — попросил Тыгренкау, и все дружелюбно закивали головами.

— Э, э, расскажи...

— Я видел, — сказал Сатанау, усаживаясь на свое место у очага, — железные нарты, которые тащил железный зверь, и на нартах этих ехало столько людей, сколько нет на всем побережье.

— О! — удивленно произнес Тыгренкау, но молодые чукчи пошептались, и один из них застенчиво произнес:

— Это называется па-ра-воз...

— Да, да, мы видели это на картинке, — вспомнил Пеляугын. — Это самолет без крыльев. Это пароход, только ходит по земле, а не по воде. Мы это видели, Сатанау, на картинке. Значит, это правда? Иные не верили.

— Па-ра-воз, — снова ободрившись, произнесли молодые чукчи в европейских

пиджачках. — Он идет паром. Там есть машина.

— Мальчишки должны молчать, когда говорят взрослые, — проворчал Сатанау. — Разве теперь у чукчей нет больше мудрых стариков, что начинают тявкать щенки?

— Рассказывай, Сатанау, — примиряюще произнес Тыгренкау, — мальчишки будут молчать.

— Я видел, — сказал Сатанау, бросая яростные взгляды вокруг, — то, чего никто не видел. Кто видел — умер, и кто увидит — умрет. Я! Я один жив. Я видел полотно, белое как снег и чистое как снег. И великий шаман ударил в бубен, и на полотне появились тени, И все, кто был тут при этом, умерли от страха. Только Сатанау не умер. Он видел, как ходили по полотну тени, грозили людям ножами и шипели, как злые келе... О! То было страшно. Но я не умер. — И он обвел гордым взглядом всех присутствующих.

Молодые чукчи снова зашептались, но Укутагын, метнув на них сердитый взгляд, сам произнес:

— Мы тоже видели полотно и тени, Сатанау. Там, — он показал в сторону полярной станции, — в праздники нам показывали это чудо. И мы тоже боялись, что умрем, но...

— Я видел, — закричал, перебивая его, Сатанау, — как люди говорят друг с другом, и один в доме на берегу, а другой на пароходе в море. И они слышат голоса, и я сам говорил и слышал. Это чудо, мужчины, это я вам говорю.

Все засмеялись, но никто не решился перебить Сатанау. А он, боясь, что его перебьют, продолжал:

— Я видел лампу, которая горит без жира, и без керосина, и без дров. И я видел ящик, в котором запертые сидели и пели веселые келе... Это была красивая музыка, какой никто из вас никогда не слышал.

Но тут поднялся с места добродушный Тыгренкау и пошел к своей яранге. Люди проводили его удивленным взглядом, и даже Сатанау остановился и растерянно стал ждать, что будет. Тыгренкау скоро вернулся, в руках его был длинный ящичек. Он поставил его на землю у очага и сказал радушно:

— Тебе будет приятно, Сатанау, послушать музыку. — И он открыл патефон. — Я отдал за этот ящик два песца. А Укутагыну его дали даром, — прибавил он с сожалением.

— Мне дали за то, что я лучший охотник, — оправдываясь, объяснил Укутагын.

Он хотел еще что-то сказать, но в это время заиграл патефон. Нежные звуки танго полились над тундрой и поплыли над морем. Мужчины и женщины зачарованно слушали музыку, и кивали в такт головами, и раскачивались всем телом, и шептали:

— Э! Э! Правильно.

Тыгренкау гордо вертел ручку патефона. Сатанау понуро сидел у огня на своем почетном месте. Он опустил голову и смотрел в землю. Его глаза были тусклы, руки ослабли и опустились, вся его фигура выражала тоску и усталость. Стихла музыка, все снова повернулись к Сатанау, ожидая его рассказов, а он по-прежнему молча сидел и смотрел в землю. Отчего-то стало всем неловко и грустно; Укутагын яростно запустил костью в собак, возившихся у яранги. Тыгренкау растерянно вертел ручку патефона. Было тихо у очага, только бездельницы-чайки, хохоча, носились над побережьем.

Тогда подошел ближе к огню ядовитый Пеляугын, снял очки, протер их, надел на самый кончик носа и сказал, обращаясь к Сатанау:

— Ты бродил десять лет по чужой земле, Сатанау, а мы сидели здесь, у моря, и били моржа, и били зверя. Ты стал человеком, зря ходящим по земле, а мы остались, как были. Что же ты видел такого, чего бы не видели мы? Ты не умеешь жить^[11], Сатанау, однако.

И Сатанау совсем согнулся от этого страшного ругательства, но ничего не ответил, а только

еще глубже втянул голову в плечи.

Добродушному Тыгренкау стало жаль его. Он покачал головой и сказал Пеляугыну:

— Ты не должен его ругать, Пеляугын. Он гость у нашего очага.

И Укутагын тоже сказал:

— Не следует ругать Сатанау. Разве наши юноши не уходят странствовать на Большую землю, а потом разве они не возвращаются к своему стойбищу людьми большой мудрости?

— Но они учатся на Большой земле! — пронзительно закричал Пеляугын и забрызгал слюной.

— Может быть, и Сатанау чему-нибудь научился, — примиряюще сказал толстый Тыгренкау: все толстые люди любят мирную беседу.

— Чему же ты научился, Сатанау, однако? — закричали все ободряюще.

Но Сатанау ничего не ответил.

— Может быть, ты научился лечить людей? — спросил Укутагын. — Сын Рыккона из Ванкарема вернулся с Большой земли и теперь лечит людей тундры. Может быть, ты тоже умеешь лечить?

— Нет, — тихо сказал Сатанау.

— Тогда ты, может быть, стал моряком, как Ранау? Он плавает по морю и знает машину, как мы знаем собаку.

— Нет, — грустно покачал головой Сатанау.

— Тыгренкау понял! — закричал вдруг Тыгренкау. — Он будет учить наших детей в красной яранге, как учит их учитель, что родом с Чауна.

— Это женское дело, — проворчал Укутагын, — а он мужчина.

— Нет, я не умею учить детей.

Чукчи неодобрительно зашептались между собой. Но Тыгренкау не потерял еще надежды защитить от обид гостя.

— Вот Тывлянто! — закричал он. — Он не учит детей и не лечит мужчин в тундре. Но он большой человек на Чукотке, и он сидел со Сталиным в большой яранге и толковал с ним о чукотских делах. Может быть, ты стал большевиком, Сатанау?

— Нет, — покачал головой гость.

— Но ты умеешь резать по кости, как Вуквол? За это платят хорошие деньги. Может быть, ты умеешь водить машину? Еще бывают люди, умеющие говорить по воздуху. Анчено, сын Таюге, говорят, работает на станции.

— Нет, не умею, — прошептал Сатанау.

Тыгренкау смущенно развел руками и произнес:

— Ну что ж, ты будешь по-прежнему, как и мы, бить зверя в море. Но ты не великий человек, Сатанау. И ты не должен ничем гордиться перед нами.

— Я хотел быть у вас шаманом! — пробормотал Сатанау. — Я видел за морем много чудес...

Все зло засмеялись, а Тыгренкау даже громче всех: толстые люди любят смеяться.

И, смеясь, говорил ядовито Пеляугын:

— По какой ты земле бродил десять лет, Сатанау? Наши юноши тоже уходят бродить по свету. Они едут в большие селения и там учатся много, очень много лет. Потом они возвращаются к нам, и они знают много чудес, но никто из них не хочет быть шаманом. По какой ты земле бродил, Сатанау, что ничему не научился? Такой нет земли, однако.

И все закричали:

— Расскажи, Сатанау, про эту землю.

И он стал рассказывать про землю за морем. Он сказал, что был на рыбных промыслах, и

рыбы, сказал он, там много, но Сатанау был вечно голоден.

— Отчего же ты голодал, Сатанау, раз там много рыбы?

— Там рыба чужая.

— Рыба того, кто ее ловит, — сказал молодой чукча в пиджачке и галстуке. — Кто убил моржа, тот его ест. Разве нет?

— Нет, — усмехнулся Сатанау.

Но молодые чукчи решили, что он лжет.

Он рассказывал о том, как бродил по стране и искал и не мог найти работы. Он приходил на промыслы, на фермы, на заводы, показывал свои здоровые руки, но его гнали прочь и говорили: не надо.

— Ты был болен, Сатанау? — спросил Тыгренькау.

— Нет, я был здоров.

— Отчего же здоровому нет работы?

Он не знал, как объяснить, и замялся. И тогда уже все решили, что он лжет, и покраснели от стыда за него: мужчины не должны врать — это стыдно.

А он продолжал рассказывать про странную землю, по которой он бродил десять лет, в его голосе не было теперь ни нотки хвастливости, а только одна усталость и боль. Но рассказы его были непонятны людям у очага. Молодые чукчи решили, что он лжет про землю за морем, — такой страны нет; взрослые качали головами и говорили: «Да, это было, было когда-то... Но теперь этого нигде нет. Ты рассказываешь про то, что было. Отчего ты не хочешь рассказать про то, что есть?»

И все решили, что Сатанау лжец, и отвернулись от него. Женщины увели от очага детей, чтоб они не видели и не слышали, как лжет мужчина; мужчины понемногу разошлись. Сатанау остался один.

Когда утром люди проснулись, они стали искать Сатанау, чтоб опять накормить его, но Сатанау нигде не было. Он исчез.

И до сего дня никто не знает, куда исчез Сатанау.

Таян умирал с голоду в бухте Провидения. Его отец, старый Кисимбо, уже умер. Он был хороший охотник и хороший моряк. Мистер Томсон, на шхуне которого плавал Кисимбо, досадливо пожал плечами. «Жаль, — сказал он, — но все люди смертны, а чукчи смертнее всех».

Таян похоронил отца на чукотском кладбище. Мать Таяна была эскимоской, и себя Таян считал эскимосом, но отец был чукча, и ему следовало лежать здесь. Таян положил труп на мерзлую землю и обложил со всех сторон камнями, как требовал обычай.

Не следовало человека зарывать в землю, — ему будет тесно и душно там. Какая под землей охота? А Кисимбо был охотник.

Таян хорошо положил отца: старик мог видеть небо, где жил великий Киянгак — бог мира, и море, где рыбой и зверем правил Мыхым-юга — бог моря. Боги видели: чукча Кисимбо умер плохой смертью, смертью голодного. Не так следовало бы умереть охотнику, у которого верное копье, меткий глаз и умелые руки. Но боги видели и молчали.

Через несколько дней песцы съели старого Кисимбо. Остался скелет; он лежал среди камней, пустые глазницы черепа смотрели в небо. Песцы были сыты. Люди умирали от голода.

Медленной смертью умирал Таян. Умирала мать его, старая Инкали. И сестры — Пувзак и Коконга. И жена Таяна Утыхтыкан; несмотря на свои семнадцать лет, Таян был уже два года женат.

Все эти женщины умирали на его глазах. Чем он мог помочь им? Он был еще мальчик, он не умел ладить капканов, у него было плохое, старое ружье. И хозяин вельбота смеялся над ним и не давал вперед мяса. Медное безбородое, в жирных морщинах, лицо хозяина тряслось от смеха.

— Нет, — говорил он сквозь смех. — Не дам.

Таян уходил в тундру, смотрел капканы — ничего не было в них. Еле волоча ноги, брел он по пустому побережью моря, по мокрой гальке, где среди камешков еще шипела пена прибоя, по скользкому мху. Искал зверя, птицу, рыбу, все, что можно есть. Он был бы рад и дохлой чайке, но дохлых не было, а живые кружились над ним, пронзительно крича и насмехаясь, и он не мог подстрелить их: не было дробы.

— О Мыхым-юга! — не раз жаловался Таян богу моря. — Почему ты даешь мне смерть, мне и моей старой матери, и маленьким сестрам, и жене? Почему песец обходит мои пасти? Почему нерпа не подплывает к моему ружью на выстрел, а дразнится в море? Нет, Мыхым-юга, нехорошо ты поступаешь с Таяном. Я молодой, поэтому ты обижаешь меня. Ты злой бог.

Но Мыхым-юга молчал в ответ. Что ж, он был прав. Разве Таян угостил его, как следует по обычаю? Мыхым-юга любит нежное черное мясо оленя. А где его взять Таяну? Он давно забыл вкус мяса. Его ямы пусты. Мыхым-юга любит табак. Надо бросить ему в море горсть табаку, и тогда будет зверь, много зверя, и будет удача. Но где Таяну взять табак?

Нет, он не мог обижаться на Мыхым-юга. Он не заключил сделки с богом, бог не надувал его. Он не мог ни ругать бога, ни плевать на него в море, как те эскимосы, которые задарили бога и были обмануты им. Таян мог только терпеть и умирать.

Печальный, он возвращался домой в ярангу. Женщины молча смотрели на него, он опускал голову. Вероятно, он в самом деле был плохим охотником, раз ничего не мог принести женщинам. Ему было стыдно. Он забивался в угол.

Старая Инкали и сестры собирали в тундре нунивок — желтую тощую траву, по вкусу похожую на щавель, и ели ее. Они ходили к морю и ждали, когда прибоем выбросит на берег

водоросли — морскую капусту.

И ели их. И Таян ел. Он жевал, челюсти его работали, но он оставался голоден. Он был страшно голоден. Он был голоден каждый день, и каждое утро, и каждый вечер.

От отца осталась легкая байдарка из моржовой кожи. Кисимбо плавал на ней в море. Теперь она состарилась, стала дырявой, и Таян решил, что ее можно съесть. Он нарезал ремни из кожи, Инкали варила их, и все ели. Коконге было четыре года. До трех лет Инкали кормила ее грудью, но молоко высохло, и Коконга голодала со всеми.

И Таян увидел раз, как пронеслись мимо селения олени чукчей — кочующих чукчей — и на земле остался дымящийся помет. И Таян наклонился и стал есть теплый жирный навоз, потому что был голоден и не хотел умирать.

Когда последние силы Таяна иссякли, а брезент на яранге сгнил, Таян пошел к мужу Асенгу. Это было летом 1925 года. Асенгу, сестра Таяна, вышла замуж за русского. Его звали Павловым, он был большим начальником в селении — милиционером. Таян пришел к нему и сказал:

— Павлов, я умру, и Инкали умрет, и мы все умрем, если ты, Павлов, не поможешь нам. Больше нам никто не поможет.

Павлов обнял юношу за плечи.

— У тебя худая яранга, Таян, ты сдохнешь в ней. Живи в казенном доме, большой большевик едет жить на остров в море. Ему нужны собаки. Я купил их для него. Ты будешь кормить их.

Таян стал кормить собак. Он ходил за ними, как за малыми детьми, как Инкали ходила за Коконгой. Он берег и любил их. Он радовался, глядя, как добреют их тела, острее становятся уши, мохнатей хвосты. Он разговаривал с ними, и ему казалось, что они понимают его. Черный лохматый Дед, вожак упряжки, кивал ему косматой головой и дружески лизал его руки. Они понимали друг друга: юноша и собака.

Но Таян не знал, на какую охоту едет большевик, и зачем ему столько собак, и где этот далекий остров в море. Да он и не думал об этом. Он никогда не думал о том, что было там, за линией горизонта. Что будет с ним, когда большевик приедет и заберет собак? Но и об этом он старался не думать. Он не голодал сейчас, и это уже было хорошо.

Наконец большевик приехал. Его звали Ушаковым. Он был среднего роста и хорошо улыбался.

Таян испуганно поджидал его подле упряжки собак. Озабоченно оглядывал свору. Понравится ли она начальнику? Не станет ли он ругать и бить Таяна за то, что собаки плохи? Русские купцы всегда кричат и дерутся, и мистер Томсон бил Кисимбо трубкой по лицу, и хозяин вельбота кричал на Таяна. Вероятно, человек, у которого много мяса, имеет силу и право кричать на человека, у которого мяса вовсе нет. И Таян испуганно ждал русского начальника, а плечи его дрожали, потому что среди многих богов, которые управляли судьбой Таяна, самыми могущественными были голод и страх.

Но большевик не закричал на Таяна и не ударил его. Он тихо улыбнулся и ему и собакам, а Деда потрепал по мохнатой морде; вожак упряжки ласково заурчал в ответ и лизнул сапоги прищельца. У Ушакова была добрая и властная рука, вожак лизнул и руку.

Из яранги в ярангу стал ходить Ушаков. Эскимосы и чукчи недоверчиво слушали его рассказы о далеком острове.

— Вы умираете здесь от голода, — говорил он. — Здесь мало зверя, и морж редок, и нерпа пуглива, и песец хитер. Хотите ехать на остров, где зверь не пуган? Вы будете всегда сыты.

— Где этот остров, однако? — спросили осторожные эскимосы.

— Он в море, двести километров отсюда.

— Мы слышали об этом острове, — покачали головами эскимосы. — Там людей ждет смерть. Медведи бродят там, как здесь собаки.

— Вы будете бить медведей и есть их.

— Однако там медведь злой и не боится человека. Это — проклятое место. Разве нет? Почему же никто не жил там раньше? Мы слыхали о людях с Чауна и о людях с Камчатки, но о людях с этого острова не слышал никто.

— Там бывают люди из Америки, — пожал плечами Ушаков. — Но это наша земля, и мы хотим, чтоб там жили советские люди.

— Я плавал на американском китобое, — сказал Кивьян, — и я знаю про этот остров. Там могилы эскимосов. Там смерть.

— Как мы покинем земли, где могилы наших отцов? — возразили чукчи.

— Мы подумаем, — сказали осторожные эскимосы.

Но Таяну нечего было думать. Что оставлял он здесь, кроме могил? Он был молод и хотел жить.

Он пришел к Павлову и сказал:

— Ты едешь, Павлов? И я поеду, пожалуйста.

И вот исчезают в тумане родные берега бухты. Тонкая полоска земли тает — так тает льдинка в августе, — вот скоро и она пропадет совсем. Плачут женщины. Протягивают руки к уплывающей земле, словно хотят уцепиться за нее, задержаться. Завыли собаки, завыл и лохматый Дед — тонко, жалобно. Охотники опустили головы. Куда везет их большевик? Где этот остров? Что ждет их там?

Дед выл все жалобнее и жалобнее. И Таян ушел в трюм, забился в самый темный угол, чтоб никто не видел слез на глазах мужчины-охотника.

Пароход шел на север, расталкивая синие льды, и пена билась за его кормой, и льды смыкались сзади.

Начальник приказал открыть бочку с мясом и накормить людей. Таян забыл о своих страхах. Голод сильнее страха. В первый раз в своей жизни Таян поел вволю.

Он ел, жадно глотая куски, облизывая пальцы. Впервые ел он русский хлеб. О, русский хлеб! Это не хавустак — тощая лепешка на моржовом сале. От русского хлеба исходил такой аромат, что Таян даже удивился: как может так пахнуть хлеб?

Так он и не заметил, как началась качка. С шумом полетели на пол ящики, содрогнулись снасти, заскрипела обшивка. И льдины начали ожесточенно стучаться с железные ребра судна.

Кто-то сказал шепотом, что это Мыхым-юга гневается на эскимосов: зачем они покинули родину. Снова заплакали женщины, завыли собаки, а охотники смотрели за борт, в туманное море, и видели только льды и волны.

Туман облепил корабль со всех сторон, и с кормы уже скоро не стало видно носа. Казалось, что корабль плывет в пустоте, мокрой, липкой, колеблющейся.

И многие сказали тогда, что пришел последний час. Не найти в тумане острова, суждено блуждать и мучиться и умереть среди льдин и волн, вдали от могил предков. Но Таян стоял на борту и глядел в море с надеждой. Он знал: нельзя, невысказанно погибнуть сейчас, когда наконец-то началась сытая жизнь. Он верил: сейчас разорвется сырой, лохматый туман и откроются сияющие горы острова. И мирные стада зверей будут бродить по тундре, покорные охотнику. И рыба, и нерпа, и морж будут весело кувыркаться в бухте. И тундра будет лосниться — жирная, мягкая, добрая, как тело тюленя после купанья.

И вдруг он увидел черные мокрые скалы.

— Земля! — закричал он и взволнованно начал бегать по палубе. — Земля! Земля! — кричал он радостно.

То был остров Геральда, так сказал капитан. А затем показались и скалы Врангеля. Они были черны и унылы. Ключья тумана висели на них, словно зацепившись за острые пики. Вокруг было пустынно. Падая дождь. Чернела вода в бухте. Все было не похоже на сияющую Мечту об острове, какая сложилась у Таяна. Он огорченно вздохнул.

Охотники нерешительно сходили на берег. Женщины повалились наземь и уткнулись в мокрый песок и гальку. Они хотели задобрить землю, на которой суждено им жить, и они кланялись ей и заставляли детей кланяться. А Таян смотрел на черные скалы, на горы и ждал с испугом: сейчас из-за скалы высунется Нанек, медведь, хозяин острова, и зарычит на пришельцев.

Люди болтали: медведи здесь бродят стадами, как олени в тундре. Но Таян напрасно озирался: медведей не было. Он удивился и пожал плечами. Люди ввали.

Когда выгрузку кончили, пароход ушел, прощально ревя гудками. Снова заплакали женщины. Три раза гудел пароход, и три раза подымали рев женщины. Это был страшный,

тоскливый рев.

И у Таяна подступили слезы к горлу, но рядом стоял охотник Паля, и они друг перед другом не хотели показывать слез. Они украдкой смотрели один на другого, и стискивали зубы, и морщили лбы, а кругом чернели скалы, и прибой с досадой грыз пустынный берег, и не было ни жилья, ни человека, ни зверя вокруг.

Шесть дней пришельцы работали. Разбирали грузы, строили склад, разбивали палатки. Седьмой день начальник объявил днем отдыха. Таян впервые тогда услышал музыку патефона, — она понравилась ему, но не удивила. Он готов был к чудесам.

Потом охотники решили испробовать свои силы в беге. Таян тоже стал рядом со взрослыми. Он был молод, ловок и строен. Он хотел победить. Пригнувшись, высунув кончик языка и прижав локти к телу, ждал он сигнала.

— Беги! — крикнул Ушаков, и Таяна подбросило с места.

И вот — ветер в лицо. Таян бежит впереди всех. Раньше всех прибежал Таян, и начальник поздравил его и дал приз: муки, чаю, сахару, папирос, спичек, новую рубаху и бусы. Таян тут же надел рубаху и закурил папиросу, муку и чай отдал матери, а бусы — жене. Он ходил среди пирующих, щеголяя своей рубахой, и угощал побежденных охотников папиросами.

Но потом была стрельба, и Таян стрелял плохо. Охотник Иноко взял приз. И это было правильно. Где и как мог научиться стрелять Таян? У него никогда не было хорошего ружья, и негде ему было научиться стрелять. И новая рубаха показалась ему плохой и темной.

Через несколько дней начальник сказал Таяну, что идет на северную сторону острова и берет с собой Таяна и еще нескольких охотников. Таян согласился.

Они шли три дня, на четвертый пришли на северный берег. Начальник сказал, что здесь будет хороший промысел зверя; и стал орудовать приборами, вычислять и записывать. Таян с почтением смотрел на него и удивлялся его учености. Северный берег понравился Таяну. Он решил про себя, что когда-нибудь станет жить здесь, и сделается великим охотником, и будет бить зверя, и эскимосы будут славить его и петь о нем песни. Так мечтал молодой Таян. Но Етук сказал ему шепотом, что здесь, на северном берегу, владения злого черта Тугнаака. Таян испуганно оглянулся.

На обратном пути охотников застиг туман. Они долго блуждали в нем и окончательно запутались. Они бросались то вправо, то влево, и всюду была незнакомая тундра, однообразная и не имеющая примет. Люди заскучали, сбились вокруг начальника и молча глядели на него, ожидая, что он скажет.

Он сказал:

— Надо идти вперед, искать дорогу. Не то умрем. Продукты наши кончились, и кончился керосин.

Но Таян был хитрый. Он слишком много голодал раньше. Поэтому, отправляясь в путь, он припрятал банку мясных консервов и восемь штук галет. Восемь штук — он не раз пересчитывал их. Он никому не говорил о своем запасе. Он хотел съесть его один, тайком.

Тогда Ушаков тоже вытащил припрятанные им консервы и роздал всем. Таян удивился: «Отчего начальник не съел их сам, один?..» Ему стало стыдно. Он подумал, подумал — и вдруг, неожиданно для самого себя, вытащил мясо и галеты и отдал их начальнику.

— На, умилек.

Ушаков внимательно посмотрел на него и сказал:

— Ты молодец, Таян!

И Таян был счастлив и горд и даже почувствовал себя немного сытым.

Начальник разделил мясо и галеты всем поровну, и люди снова начали искать дорогу в тумане, и тундра была кругом рыжая-рыжая.

Долго бродили люди по тундре, а все не слышно было моря. Наконец остановились. Голодные, усталые, они сгрудились все вместе. Никто не роптал, не жаловался. Все только молча смотрели на начальника и ждали, что он скажет: идти дальше — куда? — или лечь здесь на черные камни умирать. Они сумели бы умереть как мужчины, без жалобы и стога, как умеют только эскимосы, чья главная добродетель — терпение, и главный порок — покорность судьбе.

Начальник медленно опустил руку в карман и вытряхнул оттуда на ладонь крошки шоколада. Эскимосы молча ждали. Он потряс крошки в руке. Это были жалкие маленькие крошки, они перекатывались по широкой ладони туда и сюда, а люди смотрели, как катятся крошки, и ждали, что будет дальше.

Ушаков подсчитал крошки и разложил их на четыре кучки, и это были равные кучки, одна, как другая.

— Ешьте! — сказал начальник и протянул ладонь.

Их было четверо: Ушаков, Таян, Етуи и огромный неуклюжий Кивьян, похожий на добродушного медведя. Каждый слизнул свою часть шоколада с ладони начальника, а Ушаков слизнул свою часть последним. И все четверо на всю жизнь запомнили это великое братство голода.

А потом вдруг слышали шум, веселый, гулкий ропот и поняли, что это море, что это жизнь, что это дом. И начали радостно кричать, и смеяться, и петь. И только тогда впервые улыбнулся молчаливый начальник и облегченно всей грудью вздохнул.

Теперь не голодал Таян. И старая Инкали не умирала с голоду. И Пувзак, и Утыхтыкан, и Коконга ели каждый день. Нет, не обманул большевик — голода больше не было.

Но оставался страх.

Мир, в котором родился и вырос Таян, был узок и мрачен. Человеку в нем было мало места. Небо, вода, земля, тундра — все принадлежало духам. Духи были добрые и злые, но злых было больше. Добрые жили у очага в яранге, то были смирные, домашние и малополезные боги. Злые были сильнее. Они носились вокруг, подымали бурю на море, пугали зверя в тундре, посылали метели на землю, болезнь, и смерть, и голод на человека. Голод — самый страшный и беспощадный дух!

Люди жались у берега в своих дырявых ярангах. Они не жили, а приспособливались к жизни, чтобы не умереть. Они были беспомощны перед лицом страшного, непонятного им мира. Они жались к морю, но боялись его. В море была их пища, но страшно было море: льды, штормы, злые духи.

Все было страшно: и жизнь, и смерть, и злые духи, и купцы из-за моря. Старый Кисимбо о купцах говорил, как о злых, духах, со страхом и почтением. Он боялся их, как боялся всего. Они давали ему, что хотели, и брали, что им нравилось. Все-таки они оставляли жизнь. Он был благодарен и за это и жил, голодая и дрожа от холода и страха в своей яранге у моря, в бухте Провидения. Его провидением были боги моря, американские и русские купцы, голод и смерть.

В этом страшном мире Таян брел ощупью. Страхи, доставшиеся ему по наследству от предков, окружали его со всех сторон. Он боялся и того, что знал, и еще больше того, чего не знал. Да, это таинственное и неосязаемое, разлитое вокруг и неосязуемое, было еще страшнее.

Эти страхи не покинули его и на острове. Он привез их сюда с собой. Эскимосы заселили остров не только своими семьями, но и своими духами; они притащили их, словно груз за спиной. Они отвели северный берег острова злему черту Тугнакаку. Они задабривали его табаком, чаем и сахаром и обещали ему не трогать его владений. Они боялись его и хотели жить с ним в добром соседстве: ему — северный берег, им — южный.

Но северный берег был богат зверем. Начальник упорно звал туда за собой эскимосов. Он соблазнял их охотничьей удачей. А они качали головами и отвечали:

— Нет удачи там, где Тугнакак.

И Таян, мечтавший стать великим охотником, тоже боялся Тугнакака. Он готов был пойти с начальником еще раз посмотреть северный берег, но жить там, охотиться — нет.

В это время умер старый Иерок. Его смерть напугала Таяна. Он увидел в ней злую руку Тугнакака. Он задрожал от страха и видел, как дрожат его товарищи.

— Ты один пойдешь? — спрашивали эскимосы покойника. — Ты никого не возьмешь с собой? После тебя никто не умрёт?

Чтобы покойник мог отвечать, они подложили деревянный брусок под труп, и друзья покойного — Етуи и Кмо — подымали конец бруска. Если покойник хотел сказать «да», его легко было приподнять, если «нет», труп становился таким тяжелым, что его никак нельзя было оторвать от земли. В это верили и Етуи и Кмо, подымавшие бревно, верил и Таян, и все эскимосы.

Покойник давал успокоительные ответы: он никого не возьмет с собой, никто не умрет. Но осторожные эскимосы не верили. Они приняли свои меры. Они отрясли свою одежду над покойником, передав ему все свои болезни. Они изломали нарту, принадлежавшую покойному, разрезали ремни и лямки, разбили чашку, из которой он пил, продырявили чайник, сломали

нож. Если Иерок захочет вернуться, он не доедет на поломанной нарте, он не починит нарты сломанным ножом.

Но и это не успокоило их. Они затем «закрыли дорогу» в поселок, чтоб Иерок не нашел ее. Они спутали след, по которому везли похоронную нарту. Они петляли, возвращаясь домой, делали хитрые узлы, стежки, кружили по тундре. Вернувшись, они вытрясли свои одежды над кострами. Они сжигали недуги, прилипшие к их одежде от покойника. Наконец, все еще испуганные, они разошлись.

Долго еще боязливо озирался Таян, не идет ли за ним Иерок. Не смерть была страшна — страшно было то таинственное и непонятное, что скрывалось там, в стране северного сияния, в царстве теней, куда ушел Иерок и откуда он может вернуться, страшный, потусторонний, не похожий на простого и доброго Иерока, каким он был в жизни.

Этого боялся Таян. Он боялся выходить далеко за пределы поселка. Свои капканы он расставил невдалеке от жилья. Он мечтал стать великим охотником, но боязливо косился на север, в сторону владений Тугнагака.

Когда песец, наконец, попался в ловушку Таяна, молодой охотник, торжествуя, принес начальнику добычу.

— Я добыл! — кричал он, размахивая пушистым хвостом зверька. — Сам добыл!

Он ждал похвал, наград, одобрений, но Ушаков сказал ему:

— Что ж, хорошо, Таян. Но другие охотники добыли больше.

И Таян в сердцах бросил песца наземь и, опечаленный, злой, ушел.

Как добыть песцов, если капканы стояли чуть ли не у самого жилья? Песец хитер и не забегает сюда. А идти далеко в тундру Таян боялся: медведи бродят вокруг, злой Нанек сердит на людей, незванно явившихся на остров.

Однажды Таян вез продукты охотникам, отправившимся на север.

Он ехал, забыв свои страхи, и пел. Он пел: «Это едет Таян, молодой, сильный охотник. Он ест теперь много мяса и будет большим и ловким. Он убьет Нанека и съест его сердце».

Вдруг собаки завизжали, рванули нарту и понесли. Таян не понял даже, что случилось. Он опрокинулся навзничь на нарту, остол выпал из его рук и звякнул о крепкий снег.

Впереди, косолапо ковыляя, бежал медведь. Он удирал от собак, трусливо виляя задом. Собаки настигали его. Они несли Таяна прямо на медведя. Таян лежал в нарте и готовился к смерти.

Вдруг Нанек обернулся и зарычал. Он зарычал свирепо и предостерегающе. Собаки наскочили на него и вцепились в косматую шерсть. Медведь разозлился. Он поднял лапу, в лапе его была смерть. Таян закрыл лицо руками, скатился с нарты и упал в снег.

«Это — смерть. Это Иерок пришел за мной», — подумал он и припал горячим лицом к снегу.

Он слышал, как визжали собаки. Ему стало жаль их и жаль себя.

«Больше мне не ездить на них, больше не охотиться, больше не есть мяса», — подумал он и украдкой поднял голову.

Медведь хозяйничал в упряжке. Он схватил зубами одну из собак и рвал ее. Это была любимая собака Таяна. Охотник заскрипел зубами и вскинул винтовку. В ней был только один патрон. Таян прицелился, потом выстрелил и закрыл глаза.

Прошло несколько минут. Он еще жил. Он еще жил, лежал, дышал, думал! Тогда он осторожно приоткрыл глаза и увидел: медведь лежит на снегу, а подле него копошатся собаки. Робко, неуверенно пополз Таян к медведю.

«Неужели это я, я убил Нанека?»

Он смотрел на огромного, распростертого на снегу зверя и не верил. Не притворяется ли

Нанек? Почтительно тронул зверя прикладом. Медведь повел ногой, Таян отскочил. Но медведь не подымался. Таян ждал, затаив дыхание. Потом увидел, как содрогнулось огромное тело зверя, вытянулось, замерло.

И тогда Таян захохотал. Его смех зазвенел в торосах, отозвался в море, в льдах берегового прибоя. О! Он великий охотник! Вот он убил медведя. Одним выстрелом убил. Прицелился — и убил. Захотел — и убил. Подумал — и убил. Никого не боясь — ни зверя, ни духа. Кто сильнее Таяна? Кто ловчее его?

Он вытащил из ножен охотничий нож и размахивал им. Он плясал вокруг поверженного зверя и высоко подымал винтовку над головой. Пусть приходят теперь медведи. Он не боится их. И он плясал, утапывая вокруг снег.

Подбежали охотники, услышавшие выстрел.

— О Таян! Ты убил медведя? — удивленно спросил Павлов.

— Да. Я убил. Я. Я один, — ответил Таян, но никому не сказал о том, как струсил, как упал с нарты. Он не врал: он просто забыл об этом.

Теперь он сам искал встреч с Нанеком. Но медведи не попадались, словно прослышали о смелости Таяна.

Однажды он стоял на берегу и глядел в море. Далеко на воде что-то чернело.

«Это чайка. Это глупая чайка», — презрительно подумал Таян.

О, он был теперь великим охотником. Он во всем знал толк. Он мечтал: «Поедем в море, убьем много моржей, завалим ямы мясом, станем богатыми. Сделаю новую байдару. Жена сошьет...»

Вдруг он опять взглянул на воду. Чайка все барахталась в воде. Его поразило, что у чайки уши. Он всмотрелся: да, уши! Он никогда еще не видел чайки с ушами. Э, да это морда Нанека! Нанек плывет!

Таян растерялся. Он начал прыгать по берегу, не зная, что делать. Побежал в ярангу. Схватил винтовку. Стал искать патронташ, его не было.

В яранге все всполошились.

— Медведь! Медведь плывет! — все время кричал Таян.

Женщины спрятались в полог. Таян метался по жилью. Где патроны, дьявол, где патроны? Он взломал непечатый патронный ящик, захватил в горсть патроны и побежал к морю. Медведь был уже у берега. Таян разрядил в него всю обойму. Он стрелял беспорядочно и растеряннo, не так, как следовало бы стрелять великому охотнику...

Все-таки он убил медведя и вытащил его на берег. Только тогда он увидел, что патронташ висит на поясе. Ему стало стыдно.

Больше он никогда не хвастался охотничьей удачей.

И тогда показалось Таяну, что все сбылось в его жизни. Вот он стал, наконец, охотником, как взрослые эскимосы. Он ходил с ними на байдарках в море бить моржа в погоду и в непогоду. Он ладил капканы и промышлял песца. Но больше всего он полюбил охоту на медведя.

Он уходил теперь один далеко в тундру. Винтовка болталась за плечом, нож и веревка — у пояса; копьем он пробовал дорогу. Он брел по снегу один в белой пустыне и, если ночь заставляла его в пути, разбивал охотничью палатку и спал в ней. Залезая в кукуль, он брал с собой камень, нагретый у костра.

Он узнал теперь все медвежьи места на острове. Он угадывал берлогу по влажному и черному пятну на снегу: это дышал Нанек.

Таян кричал:

— Эй, Нанек, выходи! Я жду тебя. Ну ты, трусливая собака!

Но он знал, что Нанек не выйдет. Трусливая собака Нанек боялся Таяна. Тогда Таян втыкал копьё в снег, делая большую дыру, и бросал в нее веревку. Веревка, как живая, извивалась в берлоге. Она дразнила Нанека. Она то юлила у его носа, то вдруг рвалась вверх. Разъяренный медведь бросался на нее, но она ускользала, виляла, дразнилась.

Таян ждал. Играл веревкой — и ждал. Улыбался — и ждал. Его нож и винтовка ждали медведя.

И, когда появлялась злая, рассерженная, оскаленная морда Нанека, Таян встречал его лицом к лицу. И он всегда убивал зверя. Потому что он был человек, а человек всегда сильнее и мудрей зверя.

Таян охотился теперь и на севере, во владениях страшного Тугнагака. Он ступил на север сначала робко, пугливой, осторожной ногой. Страх удерживал его — охотничья жажда толкала вперед. И она была сильнее страха. На севере было много зверя: у Таяна закипала кровь в жилах, его ноздри раздувались, как у охотничьей собаки. А Тугнагак? Но Тугнагак не тронул его! О! Таян бил зверя, принадлежащего Тугнагаку, и злой дух покорно сносил это.

Старики говорили, что это «до поры до времени». Но молодые эскимосы, усмехаясь, возражали, что слаб тот бог и тот человек, который откладывает кару на время. А начальник Ушаков говорил, что Тугнагака вообще нет, нет богов — ни злых, ни добрых.

— Вот я бью зверя на севере, и Тугнагак не карает меня, — говорил он.

Но старики уклончиво отвечали:

— У русских свои боги, у эскимосов — свои. Что можно русскому, эскимосу нельзя.

— У меня нет богов, — смеясь, отвечал Ушаков.

— О! Ни одного бога?

— Ни одного.

И Таян размышлял, прислушиваясь к беседе: начальник все знает, все умеет. Он знает, и как ловчей зверя бить, и как собак водить в упряжке, и как ловить солнце в маленький черный ящик. Начальник все знает и никого не боится. Возможно, что и нет Тугнагака. Таян не знает. Он не видел Тугнагака. Его нельзя пощупать, нельзя понюхать. Может быть, есть, может быть, нет. Об этом лучше не думать. Вот Таян бьет медведей на севере, а Тугнагак не трогает его. Это хорошо. Это верно. Но лучше не думать об этом.

Мир, в котором жил теперь Таян, посветлел: в нем стало меньше страхов, больше радостей. Вот сидит Таян вечером у жировика и курит. Он курит, дым колеблется над ним... Старая Инкали сидит у очага, курит, шьет... Жена заворачивает голого ребенка в мех... Это сын Таяна. Это хорошо. Сын будет, как и отец, охотником. Это правильно. Это так... Все сыты. От

жировика струится тепло... Дремотно, спокойно... Пахнет дымом, моржовым жиром, табаком. Хорошо. Таян всем доволен. Он ничего не хочет больше. Ему хорошо и спокойно.

«Когда человек голоден, он думает о мясе. Когда человек сыт, его мысли широки и безбрежны. Он думает обо всем». И Таян стал теперь много думать. Он курил трубку и думал. Он смотрел на тундру и думал о тундре. Смотрел на море и думал о море.

Медленно, очень медленно раздвигался мир Таяна. Полог яранги, берег, покрытый галькой, кровь на камнях — там, где разделявали моржа, длинная песчаная кошка ^[12], а за ней морская волна, то синяя, то серая, то черная (лучше всего, когда она синяя; плохо, когда черная с белой пеной на ней), — вот и весь мир Таяна. Но теперь мысль уносила его за море, за скалы острова. Где-то там, на зюйд-ост отсюда, стынет в тумане родная бухта, бухта Провидения. Скучал ли он о ней? Нет, просто думал. Вспоминал могилу Кисимбо, себя, каким был тогда, смотрел на зюйд-ост, в туманную даль... А еще дальше, за бухтой Провидения, за Анадырским хребтом, за горами и тундрой, лежит большая родина. Эту далекую родину звали Россия. Что знал он о ней? Только то, что оттуда пришел Ушаков. И для Таяна Россией был Ушаков, как раньше Россией были купцы, скупавшие охотничью добычу за бесценок. Большевик Ушаков не был похож на купцов, и, значит, Россия теперь была другая.

Ушаков часто рассказывал о ней, и Таян слушал, одобрительно кивая головой.

— Э! Э! Так! — говорил он задумчиво, а потом, сидя один на один с трубкой у порога яранги, думал об этой далекой родине, которая где-то там, за морем и горами.

Он рассуждал, покачиваясь в табачном дыму: что приходит сюда с Большой земли? Оттуда пришел Ушаков. Это хорошо? О, очень хорошо! Без Ушакова Таян умер бы в бухте Провидения. Оттуда пароходы — это тоже хорошо. Оттуда вещи, которые нужны Таяну, — вот это ружье, вот эта банка с керосином, вот эта сладкая музыка в коричневом ящичке, вот этот хлеб, — и это тоже хорошо. Очень хорошо, отлично. Ничего плохого не приходит оттуда. Это так. Таян знает это. Вот все, что он знает о большой родине, но он хочет узнать и узнает больше.

Еще в первые дни жизни на острове Ушаков собрал всех людей и сказал, что надо поставить большой шест. Шест поставили, а на самый верх шеста Ушаков поднял знамя, алое и горячее, как кровь. Оно затрепетало на ветру, как пламя родного костра, и молодой Таян узнал от охотников, что это знамя его родины. Он сорвал тогда с головы шапку и бросил ее вверх и поднял над головой винтовку, и все вокруг сделали то же, и объявили остров своей землей и алый флаг — своим флагом, и поклялись защищать остров и флаг больше жизни.

И вот однажды — это случилось через год после клятвы у флага — у берегов острова появилась чужая шхуна. Чужой флаг был на ней, чужие люди в бинокли смотрели на берег.

Тогда собрались на военный совет все мужчины острова. Они курили трубки и говорили по очереди. И каждый сказал: «Остров наш».

— Зачем беспокоят нас чужеземцы? — закричал маленький Паля, а Кивьян, подняв огромные волосатые руки, потряс ими.

— О! — закричал он. — О! Я жил на Аляске. Я знаю их. О!

Ушаков слушал и улыбался. Этот остров, пустынный, голый, которого они и не знают еще вовсе, на котором нет еще ни селений, ни могил, — как стал он им таким дорогим и родным, что хотят они защищать его ценою жизни? И он радостно улыбался, слушая, как шумят мужчины.

Потом он разбил всех на группы, назначил вахтенных, роздал оружие и патроны и приказал готовиться к обороне.

Таян ходил с ружьем па берегу и зорким охотничьим глазом следил за чужой шхуной. Сердце его колотилось быстро, и древний воинственный клич, забытый его покорными

предками на мирном берегу, готов был сорваться с его пересохших губ.

Но шхуна, постояв на рейде, ушла восвояси, видно догадавшись, что остров прочно занят советскими людьми.

А затем вдруг прилетел самолет. Его моторы взревели над самым селением, и Таян упал на колени и, дрожа, прижался к земле, он никогда еще не видел летающей машины.

Все население острова испуганно притихло.

Встревоженный Ушаков с наганом в руке пошел к бухте Роджерса. Он озабоченно следил, как садится на воду гидроплан; никаких опознавательных знаков на нем не было.

Из машины на берег вышли двое: коренастый летчик и высокий худой механик, оба в комбинезонах. Ушаков хмуро смотрел на них, они — на него.

Так прошло несколько долгих, тревожных минут. Наконец высокий не выдержал.

— Ну, здравствуйте, товарищи, что ли! — сказал он на чистейшем русском языке. — Разве так встречают гостей?

— Русские!.. Русские!.. — радостно пронеслось по острову, и все бросились из своих яранг навстречу дорогим гостям.

И быстрее всех бежал Таян, потому что он был моложе и ловчее других, потому что он хотел раньше всех увидеть летающих русских. И он уже без страха смотрел на качающуюся на волне летающую лодку. Нельзя бояться того, что знаешь и видишь, что можно пощупать руками.

Летчики побыли недолго на острове. Они сказали, что их послали узнать, живы ли советские люди на острове, нет ли больных, нет ли нужды и голода. И, услышав про это, мудрый Кмо сказал эскимосам:

— Слушайте Кмо: он прошел большой путь по земле. И он видел много снов и много людей. И хороший был год, и плохой был год, и годы проходили один за другим, как ветер по морю. И, если был хороший год, и зверя много, и клыков много, и меха много, приходил к Кмо купец и говорил ласково, как мать. И забирал у Кмо добычу и оставлял Кмо немного табаку, водки и чаю. Но если плохой год был и не было у Кмо зверя и не было меха, купец проходил мимо, и глаз его был недобрый, и Кмо умирал. Так я говорю, мужчины?

И все ответили:

— Так.

Кмо посмотрел на бухту, где качалась на волнах лодка, и продолжал:

— Зачем прилетели люди на железной птице? Они не спросили, есть ли мех у Кмо, и есть ли у него добыча, и не взяли ее. Они спросили: жив ли Кмо, жив ли Етуи, и жив ли Таян? Может быть, болен Кмо? Может быть, голод посетил его ярангу? «Мы накормим Кмо, — сказали они, — и мы утешим его в печали». Но Кмо, — он ударил себя кулаком в грудь, — сыт и здоров. Кмо бьет зверя и живет в теплой яранге. И люди на железной птице рады, что Кмо здоров. Так я говорю, мужчины?

И все ответили:

— Так.

В этот же день русские летчики улетели, но Таян запомнил их лица. И, когда через много лет худой механик, которого звали Побежимов, снова прилетел на остров, Таян узнал его и горячо пожал ему руку. Механик был все такой же высокий и худой, только больше орденов стало на его груди, но Таян уже был другой.

Много чудес увидел Таян, живя на острове, и только одного он долго не мог понять: отчего, пожив на острове немного, русские уезжают обратно. Где еще на земле и на море есть такая охота? Где встретишь так много зверя? Где еще бывает так тепло в ярангах, так тихо и уютно у жировика?

И Таян заплакал, узнав, что навсегда уезжает от них Ушаков. Теперь он даже не скрывал своих слез; все мужчины плакали, провожая начальника.

Понятия «начальник» не было в языке эскимосов. Они звали Ушакова «умилек», что означает — кормчий байдары, вожак зверобойной артели, человек, который сидит у руля. И это точно выражало их отношение к нему. Разве не он посадил их на железную байдару и повел за собой далеко в море? Разве не был он первым на промысле, первым на охоте, первым во всем?

С недоверием ждали эскимосы нового начальника на смену Ушакову. Что, если снова появится купец? Что, если Ушаков — лишь *счастливое исключение*?

Но приехал Минеев и оказался той же породы, что и Ушаков. Эскимосы тоже стали звать его умилеком. И он тоже был первым на промысле, и учил их бить и бить зверя, и тоже рассказывал о Большой земле. Он рассказывал им много и подробно, даже больше, чем Ушаков. Он говорил о том, чего и Ушаков не знал: что делается сейчас на Большой земле.

Он сказал однажды:

— Сегодня в Москве дождь.

Таян не поверил и сказал, качая головой:

— Как ты можешь знать, умилек, что делается там сейчас? Разве твои глаза видят через горы и твои уши слышат за тысячу верст?

И он отвернулся: ему стало стыдно за умилека, потому что самое некрасивое в жизни — видеть, как мужчина врет.

Но Минеев засмеялся и подвел Таяна к черному ящичку: такого не было у Ушакова.

— Вот мои уши! — сказал Минеев.

И Таян слышал далекий голос, и этот голос рассказывал о Большой земле.

Он не знал тогда, что через несколько лет его жена, которую русские зовут Таней, и его сестра Коконга сами станут радистками и будут колдовать у черного ящика.

Минеев прожил на острове пять лет, и Таян уже стал думать, что этот-то русский останется здесь навсегда. Но однажды пришел пароход, привез нового начальника и увез старого. И хоть было жалко, очень жалко расставаться с добрым другом Минеевым (эскимосы звали его «наш ата» — наш отец), но на нового начальника Таян смотрел уже без страха.

Правда, он спросил у него с опаской:

— Ты большевик, однако?

— Большевик, — ответил тот, и Таян успокоился.

Но скоро пришлось убедиться Таяну, что новый начальник (его звали Семенчуком) обманул его: он не большевик. Большевики — а их-то Таян знал! — были не такие.

Прежде всего русские, которые были до Семенчука, отлично знали дело и умели жить. Когда выходили байдарки в море, даже в шторм, русские не суетились и не кричали без толку, а разумно отдавали команду, и Таян слушался их. Этот же, Семенчук, ничего не знал, ничего не умел, но вмешивался во все. Он был громко кричащий человек, а Таян не любил людей, которые сердито кричат и машут руками без толку. И по Ушакову и по Минееву Таян знал, что настоящий, человек не станет зря кричать. Глупая чайка кричит на ветер. Глупый лемминг — полярная мышь — злобно шипит на сапог человека, нечаянно задевший его норку. Человек не

чайка, не лемминг. Человек должен беречь слова.

Все русские были приветливы с эскимосами, и лица у них были веселые и улыбочные. Этот же, Семенчук, сердит и темен лицом. «Вечно покрытый тучей», — так сказал о нем Таян. И все эскимосы горестно покачивали головами.

Семенчук приказал эскимосам бросить промысел и идти на разгрузку парохода.

— Однако время зверя бить, — возразили эскимосы.

— Будете зверя зимой бить.

«Зимой? У этого человека ума нет», — решили в ужасе эскимосы, а Таян выругался самым крепким чукотским ругательством:

— Он не умеет жить!

Но он не только не умел жить, но не давал жить и другим.

Настали страшные дни для островитян. Люди и собаки остались без мяса. Голод, гость, давно невиданный на острове, забрел в яранги эскимосов и стал хозяйничать там. Начали болеть дети, отоцали охотники, заплакали женщины. И, хотя ломились от продовольствия склады зимовки, Семенчук не дал эскимосам ни муки, ни консервов, ни керосина. И люди молча приготовились к смерти. Умер охотник Тачью. Умер сын Таяна, которого русские звали Володькой и который мог бы стать великим охотником, как отец, а может быть даже начальником, как Минеев, или летчиком, как Побежимов. Он мог стать всем, кем захотел бы, теперь это уже знал Таян, но вот умер и стал ничем, прахом, тенью. И, склонившись над трупом сына, горько задумался Таян. Если б он и сейчас верил в злых духов, он сказал бы, что Семенчук — злой дух, принявший образ умилека. Но Таян знал теперь, что нет духов, ни злых, ни добрых, и он понял, что Семенчук злой, неправильный человек, обманно называющий себя большевиком. И, когда, наконец, на остров прилетел самолет, Таян написал (он знал теперь русскую грамоту) письмо Минееву и рассказал ему в письме обо всем: о горе эскимосов, о смерти Володьки, о злом начальнике Семенчуке.

«Приезжай, умилек, — просил Минеева Таян, — все эскимосы по тебе скучают. А если нет денег на дорогу, телеграфируй, мы пришлем».

Но не мог приехать Минеев. Приехал другой начальник, большевик. А Семенчука увезли в Москву и судили справедливым судом и расстреляли. И, когда узнал об этом Таян, он сказал: это правильно, это по закону; он достоин смерти, потому что он не давал жить другим.

Шумит большой пир на острове Врангеля. Под тяжестью еды ломаются праздничные столы. Со всех сторон съезжаются на праздник гости. Байдарки и моторки пришвартовываются к берегу бухты Роджерса. Собацьи упряжки подкатывают к главному дому зимовки. Все население острова — от грудных детей до стариков — съехалось на полярную станцию праздновать десятилетие. Приехали гости с Большой земли, одни по воде — на ледоколе «Красин», другие по воздуху — на самолете Молокова.

За праздничным столом сидят эскимосы-охотники, зимовщики, моряки, летчики. На почетном месте сидят Молоков и Побежимов. Девять лет назад прилетел сюда в первый раз Побежимов. И тогда это был подвиг, за который летчиков наградили орденами Красного Знамени. А теперь по пути «завернули» летчики на остров Врангеля, и это было обыкновенным делом, о котором никто и не говорит. И обыкновенным делом было то, что гремит на дворе духовой оркестр, а в кают-компании под джаз-банд моряков «Красина» пляшут фокстрот жена Таяна и моряк с ледокола, а на концерте выступает квартет Московской консерватории и поет приехавшая из Москвы певица... И совсем обыкновенное дело то, что жена Таяна — в шелковом хрустящем платье, в туфлях на высоких каблуках, и то, что сестра Таяна, которую русские зовут Тамарой, стала радисткой...

А Таян? Он ходит среди пирующих друзей, его желтые ботинки скрипят, его шелковый галстук раздувается. Таян чокается с гостями и обнимается со старыми приятелями и берет из рук повара в белоснежном колпаке большой праздничный пирог, похожий на башню, ставит на стол и говорит:

— Ешьте, друзья, досыта, подымайте свои кружки с вином выше. С праздником вас!

И сам берет бокал, наполненный вином, и встает на видное место и просит тишины, потому что хочет сказать речь.

— Вы, сидящие за этим столом, — начинает он громко, чтобы все слышали, — мои друзья и соседи! И ты, Паля, и ты, Иноко, и ты, Кивьян. Слушайте, я хочу сказать вам несколько слов от сердца. И ты, моя мать, старая Инкали, бела, как крыло чайки, тоже слушай, что скажет твой сын.

И толстогубый Кивьян сказал:

— Говори, Таян, мы тебя слушаем.

И Инкали, склонив свою седую голову, сказала:

— Говори, сын мой. Я склонила свое ухо к твоим речам.

— Слушайте и вы, — продолжал Таян, — гости с Большой земли, прилетевшие к нам по воздуху, и вы, гости, приплывшие к нам по воде. Я расскажу вам про жизнь Таяна. А когда я скажу о Таяне, то это будет и о Пале, и об Иноко, и о Кивьяне. Так ли я говорю?

И мужчины ответили:

— Так.

— Был Таян мальчиком и умирал три раза в день от голода. И не было у Таяна байдарки, чтобы идти в море бить моржа, и не было ружья, чтоб бить зверя. И был Таян темный и мрачный, как туча, и слепой, как новорожденный щенок. Но пришел десять лет назад к Таяну русский большевик и повел его за собой. О! Далеко поплыли мы с ним в море, и многие плакали, уезжая. Но прошло десять лет, и никто не плачет, а все смеются. И громче всех, радостнее всех смеется Таян. Так ли я говорю?

Все весело закричали:

— Так, так, Таян!

— Весело стало жить Таяну. А когда я говорю «Таян», я говорю — и Паля, и Иноко, и Кивьян. Нет у наших очагов страшного гостя — голода. Весело трещит огонь, и вкусно пахнет мясо. И, чтоб еще веселее было в яранге, Таян берет черный ящичек, который мы называем патефоном, и крутит музыку. И все поют и пляшут в яранге Таяна, всем весело. О! Веселитесь и вы, друзья мои, и вы, гости с Большой земли.

И все зазвенели кружками и стаканами и выпили, а Таян продолжал:

— Был темный Таян и всего боялся. Духов боялся, зверя боялся, человека боялся. Теперь никого не боится Таян. Я учился на аэролога и запускал шары в небо, и ни разу мой шар в небе не задел ни бога, ни черта. Что такое, друзья мои? Может быть, пусто в небе, может быть, там ничего нет?

И все засмеялись шутке Таяна.

— Я ходил на зверя с ножом и копьем и бил зверя. Может быть, труслив стал зверь? Нет, это Таян стал мудрым мудростью русских людей и храбрым храбростью человека и мужчины. И я узнал тогда, что такое мир и как живут в нем люди и звери. И я постиг мудрость машины, и хитрость грамоты, и арифметику и даже выучил дроби, а это не легкая штука. А сестра моя стала радисткой, и радисткой стала жена. И узнал тогда Таян правду жизни и сам стал большевиком. Сочувствующим в партию приняли меня, потому что я сочувствую большевистской правде, — она единственная правда на земле. Пусть кто-нибудь из вас скажет, что это не так.

— Так! — закричали эскимосы. — Это так, Таян!

— Это так! — с силой сказал Таян. — Это так. Мы узнали эту правду здесь, на далеком острове в море, где зимою долгая ночь, а летом — долгий день. И мы будем жить и умирать за эту правду. Это так! И я поднимаю свою кружку с вином за эту правду и за мудрого человека, которого мы называем Сталиным.

И все встали из-за стола и подняли кружки. Заиграли оркестры: духовой, симфонический, джаз. Охотники схватили ружья, вышли на берег и, повернувшись лицом к морю, салютовали дружными залпами далекой родине и Сталину.

А когда праздник кончился и гости разъехались, Таян пошел по берегу. И была у него теперь новая походка и глаз стал другим — хозяйским. Это шел по острову начальник фактории, заместитель начальника острова. Он увидел, что туша моржа плохо привязана к камню на берегу и ее может смыть волной. Он подумал, что время начинать осенний промысел и надо выходить в море. Он прикидывал в уме, что еще надо сделать: «Готовы ли моторки? Целы ли байдарки? Кого из охотников и куда поставить?» У него теперь было много забот. И главной из них была: сумеет ли он быть начальником над своими товарищами, будут ли они слушаться его.

Он увидел охотника и сказал ему, что моржа с берега надо убрать. Это впервые в жизни отдал он распоряжение. А через десять минут моржа уже убрали. А Таян все шел и шел по острову, на котором прожил десять лет, на котором нашел счастье и будущее. И походка у него была другая и глаз другой. Это шел хозяин, начальник, умилек.

Ни на минуту нельзя было покинуть больного Таюге. У яранги кружил и завывал шаман. Таня слышала его глухие угрозы. Она знала, грозит ей. Но, пока она здесь, он не войдет. Странное дело, он боялся ее. Она сама удивлялась этому, но вот факт: слабая, худенькая русская девушка охраняла ложе больного, а лохматый черный шаман кружил у входа, не смея войти. Это была победа. Но не к чему было торжествовать ее. Почему не едет доктор? Она прислушалась.

Таюге жалобно и хрипло кричал, не умолкая ни на минуту. Стоны вырывались откуда-то из самой глубины его измученного болью тела, словно он кричал не горлом, а животом. Он верил, что криком можно прогнать болезнь.

Что, если он умрет до приезда доктора? Она прислушалась. Тишина звенела в ее ушах, когда Таюге переводил дыхание. Отчего не едет Сташевский? Еще вчера должен был встретить его Анчено. Он взял лучших оленей кочевья.

Двое суток не покидает она яранги Таюге. Когда комсомолец Анчено, сын Таюге, ночью прибежал к ней, трясаясь всем телом, она поняла: случилась беда.

— Учителька! — прохрипел Анчено. — Отцу плохо, шибко плохо... Кричит... Хочет умереть... Просил меня быть помощником смерти. Но Анчено не будет душить отца, учителька!

Она слушала его бормотанье, одеваясь. Она еще не верила, но знала, что надо торопиться. Добровольная смерть, — она читала об этом в книжках, слышала от стариков. «Веретгыргын» — так это называется? Она уже надела кухлянку, но запуталась головой в капюшоне. Ее руки дрожали, не попадали в рукава. «Веретгыргын» — может ли это быть? На нее пахнуло вдруг дремучей стариной. Ей стало страшно. Она почувствовала себя чужой здесь. Что знала она, девочка с Украины, об этой полуночной земле, об этих людях? Два года жила она среди них, учила их детей, бродила по снегу за их стадами, мерзла в дороге и отогревалась у жировиков, ела их пищу, говорила на их языке и, казалось, знала их самые сокровенные мысли. Но вот «веретгыргын» — и ее сразу отбросило в глубь веков, в тьму полуночной тундры, в темный и страшный мир, который испуганные люди населили злыми, враждебными келе, духами земли и воды, распростершими свои зловещие крылья над мирными очагами. Что может сделать она, маленькая, слабая девочка? Но надо бежать, торопиться. Не поздно ли уже? Там шаман.

Она уже бежала к яранге Таюге.

Шаман сверкнул на нее сердитым взглядом из-под косматых бровей.

— Неускет! — сказал он с невыразимым презрением. — Неускет. Женщина. Что делать женщине среди мужчин? Пусть женщина уйдет.

Но женщина не ушла.

— Что случилось? — спросила она по-чукотски и заставила себя улыбнуться.

— Больно... О, шибко больно... — простонал Таюге. — Учителька, больно мне. Я стал добычей смерти.

Ей стало невыразимо жаль его. Большой, добрый Таюге, он терпеливо обучал ее чукотскому языку и добродушно подсмеивался над ее произношением: он показал ей искусство управления упряжкой, и олени стали понимать ее и подчиняться: он приходил в школу и, затаив дыхание, слушал, как его дети читают по книжке, и удивлялся, и восторгался, и, качая лохматой головой, восклицал: «Э! Э! Хорошо! Хорошо, однако!»

И вот теперь он умирал, он хотел умереть, этот славный Таюге. Он стонал: «Больно мне, больно, учителька!» И она ничем не могла помочь ему.

— Таюге! — сказала она, и голос ее задрожал. — Пусть Анчено возьмет самых быстрых оленей и мчит навстречу доктору. Доктор уже близко. Он хотел быть здесь на этих днях. Он

сейчас у людей Чауна.

— Я не могу терпеть, — простонал Таюге.

— Что может сделать доктор! — насмешливо произнес шаман.

— Пусть скачет Анчено за доктором, — нетерпеливо топнула ногой Таня.

— Пусть все свершится, как хочет Таюге, — торжественно провозгласил шаман, — он хозяин своей жизни и своей смерти. Пусть говорит Таюге.

— Нет, нет, Таюге! Не говори! Подожди! — торопливо закричала Таня. — Погоди! Выслушай.

Она знала из рассказов стариков, что воля, высказанная желающим умереть, священна, — нельзя спорить с ним. Она знала также, что желание смерти, высказанное вслух, нельзя взять обратно, чтобы не разгневать духов, уже облизывающихся в предвкушении жертвы. Все это рассказывали ей старики, и даже старики говорили об этом, как о далекой старине, чуть-чуть насмешливо. И она, слушая их, удивлялась.

Но вот перед ней лежит Таюге, и он хочет умереть, и шаман тут, зловещий, как ворон, и она — беспомощная маленькая девочка — должна спасти больного Таюге от смерти.

— Погоди, Таюге! — сказала она. — Ты хочешь умереть? Нет, нет, не говори. Ты хочешь умереть оттого, что тебе больно? Но приедет доктор, и тебе будет легко, хорошо, весело.

— Что может доктор! — усмехнулся шаман.

Таюге лежал и стонал. Шаман и девушка спорили над его телом. Надо было убедить Таюге, что жить лучше, чем умереть.

— Ты не хочешь больше видеть небо, тундру, родную ярангу? — звонко спросила Таня.

— Я хочу...

— Погоди, погоди, Таюге! Ты не пойдешь больше на большую охоту, не будешь бить зверя, не станешь гнать перед собой свое стадо, не будешь есть мяса?

— Он будет есть мясо там, — показал шаман в сторону севера. — Там, в стране северного сияния.

— Ты не хочешь жить, Таюге? — закричала она. — Ты не хочешь видеть, как станет твой маленький сын охотником, как убьет он первого зверя? Ты...

— О учителька! Мне сейчас плохо, а там будет хорошо. Зачем ты не даешь мне умереть? — прохрипел Таюге.

— Ты делаешь ему зло, женщина! — сердито сказал шаман.

Они спорили над стонущим телом — девушка и шаман; и Таня нечаянно вспомнила, что слово «веретгыргын» означает также «поединок». Это и был поединок между жизнью и смертью, между светом и тьмой, между новым и старым, между девушкой и шаманом. И девушка должна победить, потому что она за жизнь. Она почувствовала в себе силы. О, жить! Жить прекрасно! Чудесен запах влажной травы в тундре, по которой ступаешь легкой ногой. Чудесна вода, которую находишь под камнем в тундре и пьешь, прильнув к ней губами, и видишь свое лицо, и чувствуешь, как дышит земля под твоим телом. Чудесно мясо, которое ешь, продыmlенное над костром. Чудесна дорога, по которой идешь к костру, к людям, к счастью. Чудесны люди, с которыми живешь, идешь рядом. Чудесно любить, работать, думать, петь, читать. Чудесно знать, что за Анадырским хребтом — на юг, на восток и на запад — лежит огромная родная страна и где-то там, в степях, у голубой реки, маленький городок, и мама и братья, и где-то у границы — брат летчик, большерукий и длинношей Антось.

Чудесно дышать полной грудью и знать, что живешь не даром, что после тебя останутся твои дела — все, что ты свершил на земле.

— Ты не хочешь жить, Таюге? — взволнованно воскликнула она. — Ты не хочешь видеть внуков? Вот Анчено скоро женится. Он даст тебе внуков, много внуков. Ты будешь нянчить и

учить их жизни. Ты станешь отцом большой семьи, Таюге. Нет, нет, погоди! Ты не хочешь увидеть, как дочь твоя Раутукун станет врачом и будет лечить людей? Ты не хочешь увидеть, как твой сын Анчено поедет на оленях туда, за Анадырский хребет, в Москву, к Сталину? И Сталин будет жать ему руку. И даст ему орден, лучшему охотнику тундры, и спросит: «Где твой отец, Анчено? Жив ли он?» Ты хочешь умереть, Таюге?

Нет, женщина не ушла, — ушел шаман. Он боялся ее. За нею стояла великая сила, он знал это, — и она знала. Съездившись, он уполз. Она осталась. Вокруг яранги молча стояли охотники.

Но почему не едет Сташевский? Не случилось ли с ним чего? Она не видела его уже полтора месяца. Здоров ли он? Она улыбнулась, вспомнив широкие плечи доктора.

«Волкодав, милый Волкодав...»

Что случилось с ним? Она была уверена: что-то случилось. Ее сердце разрывалось теперь между заботами о Таюге и о Сташевском. Оба они были дороги ей. Она забыла о шамане, который завывал за ярангой. Только бы Сташевский был жив, только бы успел приехать... Что, если Таюге умрет раньше? Ей стало страшно.

Когда Волкодав, наконец, показался на пороге, она с криком бросилась к нему, прижалась головой к его груди и заплакала. Но ей не стыдно было слез, теперь она могла плакать. Волкодав жив, Таюге будет спасен. Она тихо и радостно плакала на широкой груди доктора. Теперь, когда мужчина здесь, она была только девочкой, маленькой девочкой из-под Черкасс.

Сташевский провел ласковой рукой по ее волосам.

— Не надо, девочка, не надо. Я здесь.

И она сразу успокоилась.

— Ну-с, где больной? — весело закричал доктор и повел носом. — Свету и воздуху! — скомандовал он.

И, пока чукчи отдирали брезент и шкуры, он тихо сказал ей:

— Я привез тебе письмо и посылку.

— От мамы? — обрадовалась она.

Он кивнул головой.

— И еще что? — потупившись, спросила она. — Есть пынель? — Они говорили на том смешанном русско-чукотском языке, на котором говорят многие русские на Чукотке.

Он пожал плечами. Пынель? Он привез плохие пынель — плохие новости. Но об этом потом. Он ничего не хотел говорить. Он отодвигал этот тяжелый разговор. Прежде — больной.

Да, прежде больной. Ей стало стыдно, что она забыла о нем. Она не стала читать письма, не тронула посылки. Главное — больной. Таюге кричал и испуганно поглядывал на доктора.

Сташевский весело и шумно командовал в яранге. Он всегда был шумен, а сегодня особенно. За этим скрывалось смущение. Таня все угадала и больше не спрашивала. Молча возилась около больного.

— Нужна операция, — наконец сказал Сташевский. — Немедленно. До больницы не довезти. Острый аппендицит...

Посвистывая, он приступил к делу. Таня помогала ему — она ко всему привыкла в тундре.

Он стал серьезен. Отрывисто и даже, как ей казалось, зло бросал ей:

— Ваты! Так. Шприц! Так. Ножницы! Быстро — словно она была только ассистентом, а не кудрявой Таней.

Только поздним вечером Таня смогла, наконец, прочесть письмо. Но прежде, по детской привычке, она вскрыла посылочку. Какими сюрпризами обрадовала ее мать?

Сташевский болтал не умолкая. Он чувствовал себя возбужденным после удачной операции.

— И в каких условиях! — восклицал он.

Таня ласково улыбалась ему.

«Какой он молодец!» — думала она любовно. Ей было радостно, что этот сильный, мужественный, умелый человек любит ее. Любит? Она прижала посылочку к себе. Милая мама!

Из посылочки она прежде всего вытащила коробку, перевязанную голубой ленточкой, и с любопытством, как в детстве, заглянула в нее. Тянушки! Милая мама, она знает свою лакомку дочку.

Потом появился на свет флакон духов, в яранге пахло нежным дыханием ландыша. Потом показалась тщательно упакованная пузатенькая баночка с вишневым вареньем. И банка эта (глинянный украинский глечик) и запах вишни — все вдруг напомнило Тане далекий домик в вишневых садах у Днепра, кругленькую маму с милыми морщинками у глаз и ямочками на щеках, тихий вечер под акациями, когда на столе сердится самовар, звенят чашки, а на реке протяжно кричат рыбаки...

— Чукчам нужен санаторий! — шумел Сташевский. — Что? — Он ждал возражений, как всегда готовый к бою.

Таня засмеялась. Он всегда такой, милый Волкодав. Он наступал. Он готов был перевернуть всю тундру. Солярий он уже построил — солярий в краю полярной ночи! Пионерский лагерь на берегу Ледовитого океана уже существовал второй год. Этим летом Таня ездила туда со своими ребятами и там часто встречала Сташевского. Теперь он затевал санаторий для туберкулезных.

— Туберкулез — бич северных народов! — кричал он ей. — Тяжелое наследие колонизаторской политики царизма.

Чукчам нужен санаторий. Что? Он уже выбрал место.

— Чудесное место, Таня!

— Лес, роща, парк? — смеялась она.

Но он, не смущаясь, развивал свои планы. Это все очень нетрудно. Деньги? Их понадобится немного. Он уже прикинул на бумажке. Вот...

— Нет, ты послушай, что мне мама пишет, — перебила она, — вот:

«Иногда, как вспомню я, доченька, что ты так далеко, на севере, и одна среди чужих людей, то и плакать мне хочется. Но мы, нынешние мамы, разучились плакать. Знаю я, доченька, что ты по-нужному живешь, по-правильному, и спокойна я за тебя. И соседи мне говорят: „Ваша дочка, Прасковья Максимовна, герой!“ И Антосик мне пишет: „Завидую я нашей Татке, что она в Арктике“. Он все мечтает к вам перелет сделать. Вот бы встретились вы там, а я уж тут за вас бы порадовалась».

— Хорошо, правда? — засмеялась Таня. — О, у меня мама чудная, молодая, хоть ей пятьдесят! Нет, ты послушай. Вот прелесть:

«Я теперь, доченька, каждый день в газетке все про Чукотку ищу. Один раз и про тебя писали, так что было! Весь город ко мне в гости. Поздравляют. А я плачу, но это от радости, Таточка, ты не думай, — конечно, иной раз всплакнуешь. Детей народила много, а где дети? Один Василек со мной. Он недавно карту мне показал. „Вот тут, говорит, Таня; вот Забайкалье — тут Антось; вот Ташкент — тут Галя с мужем...“ И все-то, все, гляжу я, в разных концах света. А ты дальше всех. Я по карте своим сантиметром мерила. Ох, далеконочко!»

— Все наши мамы таковы, — засмеялся Сташевский. — И моя тоже. Славная старушка! Я хотел бы, чтобы ты познакомилась с ней. — Он вдруг смутился и, чтобы скрыть свое смущение, продолжал смеяться. — Наши матери... они, как курицы, которые высидели утят: утята

пустились плавать, а наседки мечутся по берегу, квохчут и уверены, что дети утонут.

— О, наши мамы не боятся, что мы утонем! Они знают, что их детям судьба — плавать, — возразила Таня и углубилась в письмо.

Дальше шли семейные новости:

«Дядю Якова избрали председателем колхоза, Лариосик поступил в машиностроительный, Маринкина дочка уже говорит „баба“, „деда“ и смешно агукает, хлеба нынче отличные, а сады стоят пышные, богатые...»

Потом шли наставления:

«Береги себя, дочка. Теплее кутайся. Носи теплое белье, которое при сем прилагается. Не забывай маму».

И в конце:

«Хотела бы увидеть тебя, да знаю, не приедешь. А у нас варенья какие! И Павлик о тебе нет-нет да справится. Он теперь лейтенант. Ты не узнаешь его. Их полк стоит в Энске, рядом. Часто бывает у нас. И все о тебе».

Таня улыбнулась про себя: «Женишок! Ах, мама. Уж есть у меня. И чудесный какой!» Отрываясь от письма, ока искоса поглядывала на Сташевского. Почему он ничего не говорит о главном?

Он стал теперь рассказывать о новостях районного центра. Построена красная яранга.

— Это клуб, просто клуб! — восклицал он.

В школе полный ремонт. Сделали даже сцену.

Она задумчиво слушала.

Районный центр — десяток яранг — казался ей столицей.

Но зачем он рассказывает ей об этом? Это нетактично. Это имело бы смысл, если бы новости были хорошие, но он привез плохие новости и молчит о них.

Зачем он рассказывает ей о районной школе? Она вспомнила свою школу: узкий ящик из волнистого железа на полозьях. Школа кочевала вместе со всем стойбищем. На полу лежал толстый слой снега. Ученики сидели на корточках, в шапках, кухлянках, малицах. В классе пуржило. Она дула на озябшие пальцы и постукивала камузами.

Но в позапрошлом году было еще хуже. Домика на полозьях не было, занимались в яранге. Пахло ворванью и дымом. Темно, тесно. Тут же и жила. Спала не раздеваясь, рядом с семьей Таюге. Носила ватные штаны и фуфайку. И мечтала о бане, о русской бане, с березовым веником, с горячим полком!

Иногда она гляделась в маленькое зеркальце, в него можно было увидеть только кусочек лица — обветренную щеку, посиневший курносый носик, блестящие глаза, — и смеялась: какая я красавица сейчас! Она представляла себя в ватных штанах и смеялась. Она проваливалась в снег, бредя за нартами, выкарабкивалась, ухватившись руками за острые торосы. Было не страшно, а только весело, смешно и любопытно. Она дышала полной грудью, жадно раскрыв рот, и морозный воздух был только полезен ей, ее щекам, ее глазам, радостно и возбужденно блестящим.

Нет, недаром жила она в тундре, с этими славными, мужественными людьми. Уже умели бойко читать и писать чукотские ребятишки. Уже растаяло недоверие взрослых к школе. Уже любили учительницу женщины, и одобрительно слушали мужчины, и висли, уцепившись за

кухлянку, обожавшие ее дети, и боялся и ненавидел шаман. Она учила детей и читала газеты взрослым. Ее слушали, качая одобрительно головами и выпивая ведра кирпичного чая. Она знала уже чукотский язык. Она хорошо, «по-нужному» жила, как писала мама.

Но Волкодав, Волкодав был не с нею. Он не мог быть всегда с нею. Его держали в районном центре дела, больница, солярий, планы. Изредка, во время своих поездок по тундре, он находил ее, и тогда она была счастлива.

Но он уезжал, а иногда (о, только ночью... когда все спит, а ей не спится... и думы... и тревога за него... и молодая кровь стучит...) ей становилось немножечко, чуть-чуть... тоскливо.

Он сам предложил ей перевестись в районную школу.

Она нерешительно согласилась. Он уехал, обещая все устроить. Почему же он молчит?

Наконец она спросила, глядя ему прямо в глаза:

— Ну, хорошо. А новости?

Он смотрел в пол.

— Тебе разрешили перевестись в район.

— Да? — радостно закричала она.

Но он казался смущенным. Почему?

Впрочем, она догадалась. Упавшим голосом она спросила все-таки:

— А... смена?

Он протянул ей радиogramму: «Ввиду тяжелого состояния льдов смену не могли забросить тчк Уговорите педагогов остаться еще год своих местах тчк».

— Хорошо, — прошептала она, — меня не надо уговаривать.

— Но в районной школе не хватает педагогов, — начал он с жаром отчаяния. — Тебе ведь разрешили... Понимаешь? О чем же толковать?

— А здесь?

Он смущенно пожал плечами.

— Я не поеду, — тихо сказала она и покачала головой. — Нет, я не поеду.

Он знал это. Он всю дорогу готовил убедительные, неопровержимые доводы. И знал, что они бесполезны. Она не поедет. Он сам поступил бы так же.

«Но я мужчина и врач, — убеждал он себя (и то и другое он ценил очень высоко), — а она слабая, маленькая девочка».

С жаром он начал уговаривать ее. Это не дезертирство. Это переброска. Простая переброска. Он сам не верил в то, что говорил. Она молча слушала и качала головой. Тогда смолк и он. Потом произнес, отвернувшись:

— А я уж квартиру для нас отремонтировал, — и печально свистнул.

Она вдруг ясно увидела эту чистенькую, уютную комнатку. Книги. Виолончель. Стекланные банки с заспиртованными земноводными. Коврик у тахты. На стене оленья шкура, а на ней охотничьи ружья, ножи, кинжал в оправе из моржовой кости. Это была комнатка, о которой она часто мечтала, бредя за нартами по снегу. Она сама мысленно обставляла ее, передвигала вещи, раскладывала вышитые салфетки на тумбочке, на туалетном столике, на этажерке.

Потом она представила районную школу: теплые классы, парты (как давно не видела она, учительница, парт!), сцена, печь, задрапированная темным ситцем, карта Африки на стене. Странно, Африка — и вдруг здесь даже теплее стало.

«Уехать! — подумала она. — Уехать!» Ей стоило только сказать одно слово. Он ждал.

«А здесь? Как же здесь?» — испугалась она. Она вдруг вспомнила черноглазую Уакат, свою любимицу. Чудесная девочка, она хочет стать учительницей.

А Раутукун? Эта будет врачом, как Волкодав. В следующем году она пойдет работать медсестрой в больницу Сташевского. Что будет с ними, когда она уедет?

Потом она вспомнила вечера у кочевого костра. Кто станет читать чукчам газеты, рассказывать о Большой земле? Она вспомнила, как бережно сушила у костра промокшие, засыпанные снегом листы. Ей показалось, что в яранге запахло гарью, метелью, дорогой. Она улыбнулась. «Я стала кочевницей!»

Как бросишь их, этих людей: сумрачного сильного Теккая, веселого Анчено, ловкого Вуквола?.. Она вспомнила их всех, все кочевье. Смелые охотники, честные души. Она узнала и полюбила этот народ, искренний, правдивый, мужественный. Она не раз уже восхищалась их способностям, их удивительной памятью. О, этот народ, у которого все впереди! Он смело перепрыгнул через многие промежуточные ступени культуры. Они уже привыкли к самолету, а еще не видели и не увидят телеги. Она объясняла им, что паровоз — это пароход на земле, а автомобиль — это самолет без крыльев. Они поняли. Они все понимали!

Уехать? Она спокойно уехала бы, если б могла их бережно сдать с рук на руки новой учительнице. «Детишки за год забудут многое из того, чему я их учила, — озабоченно думала она. — Новой учительнице придется начинать все сызнова. И моя работа, мои труды, эти кропотливые, робкие шаги — все пойдет прахом...»

У нее была мечта, мечта синеглазой советской девушки, не ставшей ни пилотом, ни парашютисткой. «Пройдут годы, — мечтала она, — Уакат станет учительницей, Раутукун — доктором... Появится здесь настоящая школа... Все будут грамотны, счастливы... И кто-нибудь спросит их: „Кто научил вас грамоте? Кто приоткрыл перед вами этот ослепительный мир?“ Может быть, они ответят: „Учителька Таня“. И память о синеглазой Тане с Днепра будет жить здесь».

И она решила: «Нет, не уеду».

«Но Волкодав? И квартирка, и коврик у тахты, и вечерний чай вдвоем, и виолончель?» Она подняла глаза на Сташевского. Он ждал ответа, окончательного, последнего, смиренно опустил руки и сгорбился. Он уже ничего не доказывал, не убеждал. Он только ждал, и глаза его с надеждой и мольбой смотрели на нее.

Она чувствовала, что в ней еще нет ясности. Она не знала. «Веретгыргын, — усмехнулась она, — поединок». И ей вдруг вспомнился Таюге, как он лежал, и шаман над ним. Она только теперь поняла, что не религиозный бред, не страх келе, не надежда на загробную жизнь заставляли Таюге желать смерти. Его измучила боль, и он хотел уйти туда, где покой, где нет ничего — ни болезни, ни радостей. И это она, Таня, вытянула его обратно в жизнь, в борьбу, в мир радости и горя, потому, что жить и бороться, любить и страдать, желать и достигать всегда лучше, чем ничего не желать, ничего не чувствовать, ни за что не бороться. А теперь она сама хотела уйти от этой жизни, от борьбы, хотела уйти только потому, что там, с Волкодавом, ее ждет покой, туфли, отороченные оленьим мехом, на коврике, а здесь даже бани нет... «Нет, нет, это не то. Я ведь и там буду работать. С теми же чукотскими ребятами». Она словно оправдывалась. В ее ушах звенели ее собственные давнишние слова, но теперь их произносил Таюге:

«Ты хочешь уехать, Таня? Ты не хочешь больше видеть наше небо, тундру, родную ярангу? Ты не пойдешь с нами на большую охоту, за нашими стадами? Ты не хочешь жить с нами? Ты не хочешь видеть, как станут людьми дети Таюге? Ты не хочешь проводить Анчено, когда он через Анадырский хребет поедет в Москву, к Сталину, и Сталин спросит его: „Кто научил тебя, Анчено, так говорить по-русски? Кто научил тебя грамоте? Кто открыл мир перед тобой?“ Ты хочешь уехать, Таня?..»

«Нет, нет, я не уеду, Таюге».

Она обернулась к Сташевскому и положила ему руки на плечи. Он стоял, все так же согнувшись, сумрачный и грустный Волкодав. Огромный, смешной ребенок!

— Милый Волкодав! Знаешь что?

Он встрепнулся.

— Что? Что, Таня?

— Ты сделай вот что, Волкодав. Ты за эту зиму еще лучше отремонтируй нашу комнатку, а потом... — и она смущенно улыбнулась.

Он ответил ей грустной улыбкой.

— И тогда, через год, — продолжала она, — я перееду к тебе. Совсем. Навсегда.

— Маленькая хозяйка маленькой квартиры, — пошутил он.

— Зачем нам большая? Нам будет чудесно и в маленькой. Да?

— О да! С тобой везде мне будет чудесно.

— И потом мы поедем с тобой в отпуск, на Большую землю.

— Свадебное путешествие...

— Через море... Владивосток... в Москву.

— Да, в Москву...

— Мы увидим Москву, метро...

— И послушаем оперу...

— И побываем у твоей мамы...

— И у твоей...

— Мама угостит тебя вишневым вареньем и немного всплакнет над тобой, зятек.

Она знала, что еще один человек всплакнет... «Милый лейтенант Павлик, — подумала она, — вот ты растеряешься, когда я приеду с мужем».

Через несколько дней Таня простилась со Сташевским. Он уезжал на север, к морю; она со всем стойбищем откочевывала в глубь тундры.

— Я скоро приеду, — сказал Сташевский. — Я найду тебя в тундре, всюду, где бы ты ни была.

Он долго кричал ей вслед:

— Я найду тебя, Та-а-ня-я... Та-а-ня-я...

До нее доносилось: а-а-я-я...

Скрипели нарты. Изредка ревели олени. Визжали собаки. Падал снежок.

Таня шла, обнявшись со своими ученицами. Она улыбалась им. Знали ли, догадывались ли они, что чуть не лишились своей учительки? Она ничего не сказала им. Зачем? Если бы она уехала, она никогда не была бы счастлива. А сейчас? Она вздохнула легко, всей грудью. До нее доносилось еще: «Та-аня-я...» Или это казалось ей? Он найдет ее, конечно же найдет, милый Волкодав! А впереди уже клубилась бесконечная дорога.

Он найдет ее. Когда длинный обоз скрылся вдали, Сташевский вздохнул, уселся на нарты и крикнул на собак. Они рванулись с места и понесли его домой одного. Нельзя было поступить иначе. Он понимал ее и еще больше любил и уважал. Как-то бредет она сейчас, милая девочка? Через два месяца, объезжая тундру, он заедет к ней. Он найдет ее. По следам кочевых костров и стоянок, по языку тундры он найдет ее, как находил и в прошлом году. Они будут сидеть у огня и говорить о своей любви, большой, честной, хорошей, и будут счастливы...

СУД НАД СТЕПАНОМ ГРОХОТОМ

Мы должны были судить нашего товарища Степана Грохота, десятника.

Накануне суда, вечером, он зашел ко мне.

— Ну? — сказал он, криво усмехаясь. — Ну, грозный судия? Отыскал статью, по какой судить меня будешь?

Мне не нравились эти шутки. Нет, к черту, мы нашутились вволю за эту проклятую зиму. Прав Степан или не прав, а мы должны с этим покончить.

Я сказал:

— Не я тебе судья, Степан. Мы все тебе судьи.

— Все? — закричал он. — И эта собака тоже?

Я знал, что так он говорит о начальнике. Я не мог одобрить этого. Я сказал:

— Иди спать, Степан. Мы поговорим об этом завтра.

Но он не хотел уходить. Он стоял в дверях, покачиваясь на кривых ногах, и кусал трубку.

Зачем он пришел? Он не должен был приходить ко мне сегодня. Но я не мог прогнать его с моего порога, Степана Грохота. Нет, я не мог.

— Помнишь Лена-Гольдфильдс-Лимитед, Федор? — вдруг произнес Грохот.

Я вздрогнул.

— Лена-Гольдфильдс помнишь?

Ну что ж! Я помнил. Лена-Гольдфильдс-Лимитед. Проклятое время! Теперь-то я могу вспомнить о нем спокойно.

Ты хочешь поговорить о Лена-Гольдфильдс, Степан? Давай поговорим. За что нас тогда выгнали с приисков? Кажется, за драку. Ну да, ты избил зрителя шахты. Мы остались зимой без работы и без крова. Что ж нам еще оставалось, как не идти в «копачи»? Лихие набеги свершали мы с тобой, Степан, на шахты концессионеров. Мы брали золото где хотели. Но однажды какая-то собака выдала нас. Кто б это мог быть? Я до сих пор ломаю голову, Степан. И нас поймали, как крыс в золотом алтаре... О, зритель знал, что с нами шутки плохи. Собака! Он угадывал, что у нас есть зубы. И он расправился с нами трусливо и подло, как... как хозяйчик. Он заложил выход из нашей норы, и мы очутились в мышеловке. Что ж, закон был на его стороне, а мы были вне закона. Сколько дней мы пробыли там, в этом капкане, без еды, без воздуха, без надежды? Да, пять дней, целых пять дней, пока ты, Степан, не нашел где-то в породе крошечной щели и не выволок меня, полумертвого, «на-гора», к жизни.

— Ну да. Я помню Лена-Гольдфильдс-Лимитед. Еще бы мне не помнить! Но к чему это сейчас, Степан?

— Ни к чему... — отвечал он насмешливо, покачиваясь на своих кривых ногах. — Совершенно ни к чему...

Но я знал, к чему он вспомнил. И я сказал:

— Все равно мы будем судить тебя завтра.

— Ну, а Сасыл-сысы, Лисью Поляну, ты помнишь, Федор?

Да, я помню и Лисью Поляну. Не тебе бы напоминать мне, Степан! Я всегда тебе говорил, что ты плохо кончишь. Помнишь, ты вошел тогда в землянку и сказал: «Мы довольно ковыряли землю, Федор. Давай ковырять людей». Это было в Якутии, в 1921 году, на прииске, про который мы только двое знали. Обманным прозвали мы тот прииск, потому что он обманул нас. Тогда-то ты и сказал: «Довольно». Тебе захотелось броситься в другую игру. Ты сказал мне: «Тот дурак, кто сидит сейчас на земле и ждет от нее фарта. Беглые корнеты, пьяные есаулы, всякая шантрапа — и та мнит себя сейчас завоевателями. Наберем, — сказал мне ты, — шайку

знакомых ребят в двадцать голов, захватим какой-нибудь поселок, провозгласим себя правителями якутскими и выжмем золото и пушнину из якутов». Так? Но я знал тебя. Ты хитрил со мной. Ты большую игру задумал. Говори: хотел продать наши руки Пепеляеву? А что тебе ответил я? Я сказал: «Мы дружили с тобой много лет, Степан. Но вот наша общая дорога кончилась. Я тоже уйду с прииска, но только в другую сторону. И ты знаешь куда». И еще я тебе сказал: «Выбирай теперь, Степан, дорогу. Или со мной — к красным, или без меня — к Пепеляеву-гаду». Ты тогда долго думал, Степан. Ты думал ночь и день. И ты пошел со мной. И эта дорога привела нас к Лисьей Поляне. Два месяца пепеляевцы осаждали нас, а мы держались. Наши товарищи падали мертвыми, а мы из их окоченевших трупов строили бойницы. Ты помнишь, я сказал тебе: «Если меня убьют, ты возьми мое тело для своего окопа. Пусть и мертвый я буду служить революции». У нас не было воды. Мы умирали от жажды. Мы выпили и вытоптали весь снег вокруг нашей осажденной избушки. А впереди лежало поле чистого снега, насквозь простреливаемое огнем. И мы по ночам ползли с тобой, Степан, за этим снегом, и пули посвистывали над нами. Да, мы видели с тобой смерть в те дни, Степан!

— Да, я помню Лисью Поляну. Что ж, тем более мы будем судить тебя завтра.

Он стоял молча в двери. Ему нечего было мне ответить. Он пробурчал:

— Если меня завтра осудят, я застрелю его, как собаку. А может, и себя потом. Так и знай!

Он сильно хлопнул дверью, так что дверь еще долго шаталась на ржавых петлях и скрипела.

А из-за двери ко мне донеслось:

— Большой Невер помнишь, Федор? А японца помнишь?

В эту ночь я не мог уснуть. Я помнил все — и Большой Невер, и японца, и Оху на Сахалине, где мы строили со Степаном порт, и Чукотку, где мы искали золото.

Я не скажу худого про то время, — то была наша молодость. И Степан был мне тогда хорошим товарищем. Помню ли я Большой Невер? Отчего не спросил ты прямо: помнишь ли мое плечо, Федор? Да, я опирался на него три месяца, пока не пришли мы с Большого Невера на магистраль, к своим. Ты не бросил меня, Степан, в тайге раненого, не бросил, и я знаю: не бросил бы и мертвого. Но я мог бы спросить тебя: а ты Чукотку помнишь? Потому что, когда на Чукотке у нас вышла с японцем драка из-за дележки золота, — ты помнишь? — он таки прочно пришил тебя ножом, и я нес тебя на спине до реки, к людям, пока сам не свалился. Разве жалел я, что тащил на себе не золото, а тебя? Я золото бросил. Целый мешок золота, — мы копали его два года.

Потому что товарищ... ты, Степан, мне был дороже золота. И ты сделал бы то же. Разве нет?

Но зачем вспоминать все это? Это ничего изменить не может. Мы уже старики с тобой, Степан, виски у нас — как кварц, серебрёные, и не моя вина, что здесь, у Ледовитого моря, наши дороги разошлись.

Но уснуть я не мог. В такую ночь не спится. Я встал и вышел в столовую. В кабинете начальника горел свет. Мне подумалось, что он, как и я, мучится завтрашним делом. Что, если зайти к нему, потолковать по душам хоть раз за всю эту проклятую зиму? Может быть, мы и разрубили бы этот дьявольский узел.

Я постучал и услышал резкое, знакомое:

— Шагайте!

Я шагнул.

Начальник сидел, склонившись над чертежами. Он был в кителе, застегнутом на все пуговицы. Его бритое лицо выглядело измученным. Но только одну секунду. Заметив меня, он сразу же стал надменно-спокойным.

— Отчего вы не спите, товарищ Федор? — спросил он хрипло.

Я улыбнулся.

— Вот ведь и вы не спите, товарищ начальник... Не спится...

Он нахмурился.

— Надо спать, спать. Надо беречь силы. Завтра спуск ряжа. Спать! — приказал он и снова склонился над чертежами.

Эх, не умел этот человек улыбаться! В этом-то и было несчастье его, а пожалуй, и несчастье всей нашей зимовки.

Ну что ж! Мне оставалось только уйти.

Однако я не выполнил приказания начальника: в эту ночь я не спал.

Думал.

А ведь это, пожалуй, впервые за сорок семь лет задумался я всерьез над своей жизнью. Стыдно людям сказать, а надо: сорок семь лет жил на земле человек и ни разу по-хорошему не подумал, как живет, зачем живет, так ли...

В эту ночь перед судом Степана в первый раз взял я свою жизнь в ладонь и поглядел на нее. По чистой совести, по всей строгости судил я себя в эту ночь, чтобы завтра была во мне сила судить Степана.

Двадцать девять лет назад мы с тобой встретились, Степан, встретились и зашагали вместе.

Двадцать девять лет бродили мы с тобой по земле, Степан Грохот. Бывало, заживемся где-нибудь на прииске — ты уж места себе не находишь.

— Пожалуй, плохо нам тут живется, Федор-друг?

— Плохо! — немедленно отвечаю я, хотя б и был всем доволен.

— Да... плохо... Скучно... А пошто ж мы живем тут? — удивишься ты. — Пошли, что ли?..

Пошли так пошли. Мешок за плечи — и айда.

Так исходили мы с тобой много троп. И всякие времена знавали. Помнишь, сдали мы как-то в Русско-Китайский банк восемь мешков золота, невешенного, неделинного. Весь Благовещенск был пьян на наши деньги. Офицеры козыряли нам на улице, как генералам. В портовых городах вышибалы двери перед нами распахивали, а девочки гостей бросали и бежали к нам. Мы за все платили золотом. А однажды проснулись нищими, опохмелились на последнее и пошли работать грузчиками в порт. Вот как мы жили с тобой, Степан. Сегодня — миллионеры, завтра — нищие, и всегда — бродяги.

Что гнало нас? Ну, раньше молодость гнала, дух бродяжий, любопытство. А теперь? И молодости уж нет, да и любопытствовать не с чего: все-то мы уже видели, все-то извели. Равнодушными людьми брели мы с тобой, Степан, по этой земле, равнодушные и к тому, что делали, и к тому, что видели, да и к тому, что станет с нами.

«Пошли, что ли!» — только и слышалось над нами, как свист кнута.

Вот так гонит и метет по земле сухие осенние листья. Метет потому, что оторвались они от ветвей да на дорогу упали.

Не было у нас с тобой, Степан, ни ветвей родных, ни дома, ни крыши. О каждом человеке можно сказать, чей он, какого роду. Вот запальщик Коробов из моей бригады. О нем говорят с почтением: ленинградский, кадровый. Про Кузьму Буторова: мезенский плотник, мезенцы всем плотникам плотники. Про Архипку Колесо и то говорят люди: шенкурский — оттого и жаден, шенкурята все жадные.

А мы с тобой, Степан, какие? От каких ветвей?

Еще о людях говорят так: «Он с Магнитной стройки каменщик» или «Он Амуро-Байкальскую строил, ударник». Отчего про нас с тобой не говорят так? А ведь и мы на Амуро-Байкальской толкались, и на Сахалине околачивались, и по Якутии лазили... Везде мы с тобой побывали, Степан, да только нигде к ветвям не прилепились... Только и было: «Пошли, что ли!»

— и уж снова шагаем мы с тобой по шпалам да по дорогам.

Теперь припоминаю я: давно уж меня это мучило. Тоску эту давно я почуял в себе, только назвать ее не мог, имени-отчества ее не знал. Теперь знаю: то, брат, тоска по дому.

И не то что хочу я свой домик обрести, семью там, детишек... Нет, куда уж мне, бродяге... Хочу я хоть про что-нибудь на свете сказать с полным моим правом (и чтоб люди не высмеяли): «Мой! Мой порт! Моя дорога!»

Вот теперь я знаю, чего хочу.

А ты? Ты, Степан, чего хочешь? Я буду судить тебя завтра, Степан, по чистой совести, по всей строгости, по закону зимовки.

В большом грехе обвиняешься ты, Степан. И вот я не сплю, ворочаюсь на узкой койке, ищу тебе оправдания.

Год назад это было? Да, ровно год. Мы сидели с тобой на бульваре в Москве, жевали воблу и читали газету. Какого черта попали мы в Москву? Твоя, Степан, фантазия.

Итак, мы сидели на бульваре, на дворе был март, в наших карманах свистел ветер. Помнишь погребок на Тверской? Я не скажу про него ничего худого, но там остались все наши деньги.

Вдруг ты сказал:

— Мы едем с тобой, Федор, строить Северный порт.

Северный порт? Откуда он взялся вдруг здесь, на бульваре? О нем и разговору не было. Но я не удивился. Старая лошадь в конце концов привыкает к свисту кнута.

Ты протянул мне газету, я прочел объявление, и мы пошли наниматься.

Одно ты умел делать в совершенстве, Степан: очаровывать людей. Великий актер пропал в тебе. До сих пор не могу без смеха вспомнить, как ты ломался в отделе кадров.

И мы вышли с тобой оттуда победителями: ты — старшим десятником, я — бригадиром.

Ты умел работать, когда хотел! Ничего не скажу: ты работал бешено. Еще бы, ты оказался главным начальником. Настоящего начальника еще не назначили. Ты сам подбирал рабочих, добывал оборудование, хлопотал о пароходе, грузил, носил, командовал... И, когда мы в июле под твоей командой поплыли морем на остров, где должен был строиться Северный порт, ты с шиком занял отдельную каюту на пароходе и повар в мыле носился туда и сюда, не зная, чем угодить тебе.

Разнообразный народ собрался на пустынном берегу бухты, на стройке Северного порта.

Нас было семьдесят человек, и все разные люди. Тут были ребята и с севера и с юга, архангельские строители, мезенские плотники, шенкурские печники, бурильщики из Донбасса да водолазы из Питера. Тут были мастера скального, портового и свайного дела, люди механического, бурильного, плотницкого, горного и иного ремесла. Были люди вольные, были вербованные, были и раскулаченные, отбывшие свой срок и теперь зарабатывающие себе честным трудом право на советский паспорт. Среди них встречались и злопамятные люди, затаившие в себе — до поры до времени — месть и злобу. И были благодарные власти люди, очистившиеся от своего прошлого и научившиеся честному ремеслу. Были люди охочие до работы, нетерпеливые... Были тут жадные шенкурята, погнавшиеся за длинным рублем. Были люди любопытствующие — больше южане — удивленно глядевшие: куда это их черт занес! И трусливые были люди, напуганные... Всякие люди были.

И только мы с тобой, Степан, двое, были равнодушные люди. Не было у нас ни любви, ни злости, ни алчности, ни любопытства. Правда, ты носился, опьяненный властью, но я-то знал: охота пройдет — и снова, как прежде, просвистит надо мной твое скучающее, ленивое, безысходное: «Пошли, что ли!» И мы пойдем куда глаза глядят.

Испуганно ждал я приезда настоящего начальника. Словно предчувствовал: здесь быть беде. И, когда ты высоко заносился, Степан, я тебя, помнишь, одергивал. А ты хохотал.

— Завидуешь, черт! — кричал ты мне. — Завидуй!

И вот последним самолетом прилетел настоящий начальник.

Он сошел с самолета — высокий, худой военный, моряк с холодными глазами, — окинул взглядом нашу нестройную толпу, дернул головой и прошел к себе.

Ну что ж, Степан, давай поговорим о любви. Я и этого разговора не боюсь.

Это верно: тебя все любили. Тебя всегда любили ребята. И чем больше тебя любили, тем острее не любили начальника, и чем крепче не любили начальника, тем демонстративней любили тебя. Ты был рубаха-парень, язык-бритва, свой человек, наша кость. Ты и приказывал весело, и материл ласково, и помыкал нами шутя.

И ты не жалел спирта. Нет, спирта ты не жалел! Ты за все платил голубою влагой: за погрузку и за выгрузку, за мокрые камни берега, за ледяную воду, в которой мы работали по грудь, и за злость, с какой мы крушили диабаз — грунт двенадцатого класса. Мы говорили тебе: «Хозяин! Это будет стоить по пятьдесят граммов на нос». И ты лихо отвечал: «Вали в мою голову. Ставлю». Другой цены человеческому труду и человеческим чувствам ты не знал. И мы не знали.

А начальник?

Первое, что он сделал, прибыв на остров, — отобрал у Степана спирт. Впрочем, это было правильно: владеть спиртом — право начальника. Но он не оставил спирт у себя. Он отдал его... доктору. Мы недоуменно притихли, узнав об этом. Мы ждали: что же теперь будет? Ничего не случилось. Спирт так и остался у доктора, теперь он служил медицинским целям.

И тогда мы догадались: наш начальник не знал Севера, он был «суслик», полярный новичок. Мы стали смеяться над ним. Смеялись злобно. Ты, Степан, громче всех.

Да, он не знал Севера, наш моряк. Он завел на острове корабельные порядки, назначал вахтенных, строго следил за регламентом дня, регулярно делал смотры личного состава и санитарные обходы барачников... Он думал зажать нас в щипцы железной дисциплины. Нас! Нет, он не знал Севера.

Однажды он потребовал, чтобы мы вышли работать в пургу. И то правда, пурга грозила стройке неисчислимыми бедами. Мы как раз заготовили горы камня для «постели» причала, — тут был труд трех горячих недель, — но теперь пурга занесет камень снегом; черт его знает сколько придется ковыряться в сугробах. Мы подготовили и майну. Только наши руки да спины знают, каких трудов стоила нам эта четырехугольная прорубь во льду! Мы взрывали лед, как скалы, динамитом и аммоналом: но теперь пурга закроет майну, и труд наш пропал зря, ни за олений помет.

Все это мы знали не хуже начальника. И все-таки...

Ну да, мы не вышли на работу. Кто же работает в пургу? В пургу люди спят. Пурга — это выходной день на северной стройке.

Начальник вошел в бараки.

— Отчего вы не работаете, товарищи?

В ответ раздался только храп. Даже те, кто не спал, захрапели смачно, нарочито.

А я глядел на нашего начальника и с любопытством ждал, что он сделает.

«Ну, закричи, обругай!» — мечтал я. Эх, если б он крикнул! Мы не смолчали бы, отвели б душу, разругались бы с ним и... все-таки не пошли бы работать. Но он не закричал. Он никогда не кричал на нас.

Что же он делает? Проскрипит: «Я приказываю!» — плевали мы на твои приказы, начальник! В пургу не работают. Станешь нас уговаривать, просить, пообещаешь спирта? Да ведь ты отдал свой спирт доктору, начальник. Станешь нас агитировать, митинговать? Да разве нас сагитируешь?

Очень мне было любопытно догадаться, что он сделает в эту проклятую минуту.

Да, вот что он сделал: взглянул на нас с невыразимым презрением, проскрипел: «Бабы!» — и, круто повернувшись на каблуках, вышел.

Он вышел, а мы молча и сконфуженно глядели ему вслед. Степан попробовал было пошутить, крикнул моряку вслед, что, мол, катись на легком катере. Но беспокойно вдруг стало у меня на душе. Тревожно. Стыдно.

Я не мог больше оставаться в бараке. Оделся. Пошел на площадку и увидел: над майной, с пешней в руках, исхлестанный и иссеченный метелью, молча трудился одинокий человек в черной шинели с якорями.

И тогда, не помня себя, побежал я обратно в барак, рванул дверь так, что она чуть не слетела с петель, и закричал что было во мне мочи:

— Сволочи! Сволочи мы! — и еще что-то, чего сейчас не вспомню.

Через десять минут мы стояли рядом с начальником и молча долбили пешнями молодой ледок, вылавливали ледяные глыбы сачками, молча очищали майну, молча набрасывали камень в вагонетки; молча сердито гнали вагончики по рельсам, со злостью опрокидывали в майну... И все это время никуда не уходил начальник. Работал, словно не замечая нас... Ни одного слова не было сказано промеж нами. Ни единого слова.

А я, старый дурак, признаюсь, ждал: не выдержит наш моряк, прорвется в нем человеческое тепло, брызнет, согреет всех. Думал, улыбнется он этакой простой, человеческой улыбкой, холодные глаза, наконец, загорятся, и скажет нам «Эх, ребята, ребята... Товарищи!» Только и слов. Больше не надо. И все пойдет у нас гладко, хорошо, весело.

Мне показалось даже, что и сам он хочет сказать эти слова, делает над собой усилие. «Ну же! Ну!» — хотелось поторопить его.

Да и не сказались у него эти слова. Сами собой не сказались.

Много времени спустя, — а может быть, только сейчас, в эту минуту, — догадался я, что это не только от сухости его характера так получалось. А и от другого. В конце концов он действительно был в трудной переделке. Он попал на Север впервые. Попал на трудную стройку. Посоветоваться, спросить было не у кого. Он никого не знал из нас, — народ был весь подобран Степаном, «по образу его и подобию».

Другой человек, попав в такой переплет, может быть, рассудил бы иначе. Может быть, стал бы набиваться к нам в дружбу, заискивающе глядел бы нам в глаза, панибратствовал, подкупал нас спиртишком. Любили бы мы такого начальника? Вероятно. Но уж не уважали бы наверняка.

Наш моряк не искал дружбы с нами, — в этом была его беда. Но он не показывал своей слабости. Он собрал себя всего в кулак, взвел, как пружину, — он весь и всегда был в напряжении. Какими муками, сомнениями, страхами терзался он, когда оставался один в своем логове? Что думал? Что пережил? Но никогда не подавал он виду, что ему трудно. Всегда он был в ледяной броне — ровный, спокойный.

Только один раз он раскричался на подчиненного, и этим подчиненным был кок, и случилось это тогда, когда щи были отменно негодные. Ну уж и задал ему баню начальник! С тех пор мы всегда ели отличную пищу. Начальник сам заглядывал в котлы. Он заботился о хлебе, который печет для нас пекарь, о бане, о матрацах, о жилье, о спецовке. Он был строгий, но справедливый человек. Этого-то и ты не будешь отрицать, Степан.

Да, он не знал Севера. Но что-то такое знал он, чего мы с тобой, Степан, за сорок семь лет жизни не узнали.

Иногда мне казалось, что и о порте, который мы строили, он знал что-то такое, чего не знали мы. Давай говорить прямо: что для нас с тобой, Степан, этот порт? Для тебя — очередная забава, для меня — просто заработок. Даром ведь нигде не кормят.

А для него? Что этот порт для него?

Как-то он пришел к нам на площадку, как раз в тот день, когда мы начали сколачивать ряжи. Ходил, трогал руками бревна, расспрашивал, а потом долго молча следил за работой плотников. И вдруг я увидел усмешку на его губах...

— Гостинец... — подмигнул он мне, поглаживая рукавицей бревно.

— Кому? — не понял я.

Он удивленно взглянул на меня, как на ребенка, и засмеялся:

— Неумному соседу...

Он имел в виду, что Великим Северным морским путем могут ходить не одни только торговые корабли.

Тогда стала понятней мне еще одна сторона характера нашего начальника. Да, Степан, в этом спокойном с виду человеке живет великое нетерпение. Ты приглядишься к нему. Понаблюдай за ним на стройке. Как нетерпеливо следит он за ростом ряжа, за работой водолазов, за ходом стройки. Ему хочется поскорее увидеть, пощупать эти шестьдесят метров причала. Небось дома, в своей каморке, над чертежами, он мечтал о том дне, когда, шумя, подойдет к стенке первый корабль. Глазами, в которых, как в воде, отражается холодное синее сияние льдин, он глядит в окно и, вероятно, видит, как идут корабли кильватерным строем, как, шумя, развеваются вымпела по ветру...

И когда я понял, почувствовал это...

Ну вот, Степан, мы теперь подошли к самому главному, — я знаю, что скоро, очень скоро, как только тронется лед в бухте, надо мной просвистит твое: «Пошли, что ли!» Так вот, я не пойду с тобой больше, Степан. Я останусь здесь. Я тоже хочу увидеть, как подойдет первый пароход к моему причалу. Черт подери! Я вложил в него не только соль и пот моей проклятой судьбою старой шкуры, — я вложил в него душу, Степан! Я останусь здесь.

Я буду судить тебя завтра не за то, что ты поднял топор на начальника, — хотя это и большое преступление, — я буду судить тебя за двадцать метров моего причала, которые ты, один только ты, сорвал.

Проклятой была эта зима, и ты в ней один повинен. Мы все не любили начальника, ты же науськивал нас на него. Ты не мог простить ему того, что он начальник, и того, что он не пляшет под твою музыку. Ты высмеивал все его приказы; самые дельные из них ты просто не выполнял. Ну да, мы все были на твоей стороне, потому что ты был рубаха-парень. Мы с любопытством, как в цирке, следили за твоей войной с моряком; в ней было что-то веселое и жуткое, как во всех твоих забавах. Мы заплатили за эту забаву двадцатью метрами причала, и не один только я нахожу, что это дорогая цена. Спроси старика Коробова, спроси Кузьму Буторова, спроси Афанасия Сухорукого — тебя осуждают все.

На кого ты оперся, Степан? Эх, Степан, пусть нет во мне ни гордости, ни чести, но паразитом никогда я не был. Я, брат, трудящийся человек. Я сроду не ел чужого куска. Я тоже свою совесть имею. Ты на раскулаченных оперся, Степан. На кулачье, на захребетников. Эх, Степан!

Они орали:

— Не дадим нашего Степана в обиду!

Они, как на бегах, ставки ставили: снимет тебя с должности начальник или не снимет? Они по рукам били, полушубки закладывали: не снимет! Еще бы! Как начальнику обойтись без тебя, коли он Севера не знает? Кто найдет лес для ряжа, коли на острове леса нет? Кто, кроме тебя?

И вдруг, как гром среди ясного неба, появился в кают-компании приказ: «Старший десятник Грохот отстраняется от работы и переводится на площадку плотником».

Мы читали и перечитывали этот приказ — и не верили. Дружки твои притихли, а старик

Коробов сказал:

— Слава богу! Теперь причал строить будем.

А ты?.. Ты сорвал приказ со стены, яростно растоптал его. Будто дело в бумажке. Эх, Степан!

Где ты напился в тот день? Помнишь ли, что произошло? Ты ввалился вечером пьяный в кают-компанию, на тебе была рабочая роба, на плече — плотничный топор. Ты закричал:

— Шире дорогу! Новый плотник идет!

Все посторонились, давая тебе дорогу, а начальник сказал:

— Идите спать, Грохот. Здесь не театр.

И тогда, с топором в руке, ты пошел на начальника. Мы не успели ни задержать, ни окрикнуть тебя. Мы замерли.

А ты, ты шел прямо на начальника, и топор блестел под огнем ламп, и кисло пахло овчиной, и было так тихо, что слышалось, как дрожит треснутое стекло в окне.

Начальник встретил тебя спокойным взглядом, ни одна жилка не дрогнула в нем. И ты не выдержал этого взгляда, Степан. Топор упал на пол, звякнул, и опять стало тихо. В этой тишине только один голос прозвучал — помнишь чей? Я помню. Мой голос.

Я сказал:

— Судить!

Твои дружки увели тебя. Ты шел пьяный, расслабленный, плакал, грозился, а мы стали выбирать судей.

Я предложил старика Коробова, а начальник предложил меня.

Меня?

Я возразил, горько усмехнувшись:

— Меня нельзя, товарищ начальник. Мы друзья с Грохотом. Побратимы.

Начальник скользнул по мне беглым взглядом и опять повторил свое предложение. Меня выбрали.

Нет, я не хотел быть твоим судьей, Степан. Вот ворочаюсь на койке, мучаюсь, надеюсь на чудо, на то, что ты сам, как я, рассудишь свою жизнь и принесешь завтра на товарищеский суд свою повинную голову. Да нет, не бывать чуду! Я больше жду беды. Я знаю, не кончится завтрашний день миром, я видел сегодня твое лицо, Степан: в тебе все кипело. Что ты выкинешь завтра, сейчас, ночью? Я не удивился бы, услышав сейчас выстрелы, бой пожарного колокола или вой авральной сирены. Ты на все способен. Ты такой.

Но ночь прошла спокойно, только я не спал ни минуты, а утром я услышал в кают-компании смех Степана.

Он стоял и хохотал в кругу товарищей. Утро было ясное, солнечное, майское. На вымытых стенах прыгали косые зайчики; на большой балке висел плакат: «Первый ряж готов. Даешь к сроку второй!»

Степан крикнул мне, играя бровями:

— Я им про Марью Ивановну рассказываю, Федор. Помнишь Марью Ивановну?

Я улыбнулся. Ну, значит, в добром ты настроении, Степан, если вспоминаешь не Лена-Гольдфильдс-Лимитед, а Марью Ивановну. Может, и в самом деле свершилось чудо?

Еще бы мне не помнить Марью Ивановну! Сладкая, но бестолковая была бабенка. Где это было? На Колыме? Ну да, бабенку эту выслали сюда вместе с мужем, нэпманом. Она мужа бросила и решила самосильно разбогатеть. До нее много охотников было, но она отвечала всем: «Люблю за золото». Сколько мы с тобой золота перетаскали к ней, Степан! Не скажу худого — она честно отработывала золото. Честно. И сколько же она его набрала! Помнишь, хвасталась мешочком? Только боялась: узнают чекисты про золото и отберут. И правда: узнали. Взяли ее

золото, поглядели... и... отдали ей обратно. Мы с тобой потом старались не попадаться ей на глаза. Шутка ли! Цельный самовар счистили ей за любовь. Хороший был самовар, баташевский. Это хорошо, что ты вспомнил Марью Ивановну.

Смеясь, сели мы завтракать. Было легко у меня на душе в это утро. Мерешилось: все уладится, все обойдется.

Меж тем погода испортилась. Задул метельный ост, на глазах переходивший в северные румбы. Повалил снег. В воздухе слышались шаги надвигающейся пурги.

Мы подошли к кряжу. Вот он, наш красавец. Деревянная машина... Двадцать метров длиною, десять — шириною, восемь — высотой. Сто восемьдесят тонн веса. Да, это цифры. А кто подсчитает, кто увидит капли нашего пота на этих шершавых бревнах? Кто сочтет надежды наши, и муки, и усилия? Вот через час-два все это сооружение будет под водою, на дне бухты, — никто не увидит его. Подойдет пароход, забросит чалки на помост, еще выругает строителей... И все-таки славный ряж отгрохали мы! И в пургу мы его сколачивали, и в полярную ночь, и в холода...

Все стояли по местам, механик сел на трактор, мы с Коробовым стали к лебедкам. Среди плотников я заметил Степана. Услышал его громкий смех. Все ждали сигнала начальника.

Начальник обошел площадку, взобрался на вышку подле моей лебедки и махнул флажком! — Давай!

Но плотники — им предстояло начать дело — не тронулись с места.

— Давай! — снова закричал начальник, и снова никто не двинулся.

Я услышал громкий смех Степана и похолодел, «Вот оно, начинается...»

По лицу начальника медленно пошли багровые пятна. Он сошел с вышки и пошел к плотникам.

Его ждали. Стояли молча. Кто-то закурил.

— В чем дело, товарищи? — отрывисто спросил начальник, остановившись перед плотниками.

Из толпы выступил Савоська Кругляк — рыжий черт — и сказал, хитро прищурившись:

— Причитается, товарищ начальник.

— Что причитается? — не понял моряк.

В толпе захохотали.

— Обыкновенное дело, — продолжал, щурясь, Кругляк. — Такой порядок... Причитается...

— Они спирту требуют! — закричал кто-то из нас.

Савоська умильно улыбнулся и подмигнул своим.

— Я не дам спирта, — медленно произнес начальник.

— А раз смазки нет — и ряж не пойдет, — пискнул Савоська и скрылся, юркнул в толпу.

Из задних рядов кто-то крикнул:

— И потом мы желаем, чтоб командовал спуском Степан. Как он строил, нехай и спускает...

Теперь все плотники загалдели:

— Желаем Степана!

— Нехай Степан!

Голоса Степана не было слышно. Голос начальника потонул в общем галдеже.

Я слушал этот галдеж, понимал, что это работа Степана, и не знал, что сделать, что предпринять. Скверно было у меня на душе. Эх, Степан! Метель усиливалась; теперь снег валил хлопьями; я чувствовал гору на своих плечах.

Вдруг я взглянул на майну. Она вся уже покрылась пленкой молодого льда. Лед рос на глазах, снег уже не таял на нем.

— Лед на майне! — испуганно закричал я и, схватив пешню, бросился к проруби.

И тогда все, кто был на площадке, бросились за мной к майне. Майна закрывалась льдом, — мы знали, что это значит! Начиналась пурга, — мы знали, что это значит. Это значит, что, если не спустим сейчас, сию минуту ряж на воду, нам снова и снова придется воевать со льдом, взрывать его, долбить, ломать, выбрасывать.

К черту плотников, Степана, начальника! Тут некогда было затевать споры. Все сразу же оказались на своих местах: свободные люди — бурильщики, водолазы, электрики, даже доктор — встали на место плотников. Но и плотники, перепуганные и сконфуженные, уже побросали наземь рукавицы и навалились на ряж. Был ли с ними Степан, не знаю. Мне было не до него. Я налег на ручку лебедки.

Только бы стронуть махину с места! Пойдет ли она? С тревогой глядел я на слегу. Выдержат ли эти деревянные рельсы движение махины? Пойдет ли она?

Люди всей артелью навалились на слегу, многие сели на них верхом, легли животами, чтоб придать ряжу наклонное положение, облегчить его движение вперед. Ручные лебедки — моя и коробовская, — как маленькие собачонки-шавки, вцепились стальными тросами в края ряжа, трактор взялся за середину. Все замерли. Вот она — решающая минута. Вот сейчас все решится.

Начальник стоял на торосах льда и озабоченно глядел на застывших людей. Пурга усиливалась.

Бурильщик Пантелей Клочков вдруг сорвался с места, полез на верхушку ряжа и прибил красный флаг. Откуда он его сейчас достал — не знаю. Флаг рвануло порывистым остом.

— Давай! — закричал начальник, и мы навалились на лебедки, на бревна, на слегу.

Натянулись тросы. Трактор рванулся вперед... Что-то оборвалось с шумом и лязгом. Кто-то крикнул: «Берегись!» Ряж даже не шелохнулся. Это лопнул стальной трос.

Снова вцепились тросы в ряж. Они натянулись звонко, до предела, и я успел подумать, что так вот и нервы... как вдруг снова с лязгом упал разорвавшийся трос, бессильно захлопал по бревнам.

Ряж стоял нерушимо. Казалось, никакая человеческая сила не могла столкнуть его с места. Что могли сделать мы, кучка людей на пустынном острове, с нашей примитивной, домашней техникой?

Я опять взглянул на майну — там уже понавалило сугробов!

Да, никогда еще в жизни не испытывал я такого горького отчаяния. Казалось, то не тросы рвутся, то лопаются моя мечта... Э, да что говорить! А на майне все наметало и наметало сугробы.

Кто-то предложил подпилить концы слег так, чтобы ряж прямо висел над майной. Механик сказал, что он попробует рвануть один угол ряжа. Начальник согласился. Плотники стали подпиливать слегу, трактор с шумом переехал на новую позицию. Он полз, яростно и смачно ломая снег, как тяжелое артиллерийское орудие.

Зацепил угол ряжа. Рванул.

Я уже не навалился, а просто лежал животом на рукоятке.

И вдруг ряж качнулся. Качнулся и, покоряясь нашей воле, пошел вперед, в воду. Еще, еще рывок — передний край его коснулся майны. Теперь не отступать! Теперь тащить и тащить его в воду!

С грохотом, не выдержав напряжения, в куски разлетелась коробовская лебедка, полетели прочь переломанные слегу, и ряж, ломая в щепу подложенные под него бревна, медленно пошел в майну. Вот он уже на перегибе. Не опрокинется ли? Не лопнут ли клетки, не выдержав собственной тяжести? Но ряж сошел в воду, как новый корабль. Вот он уже весь в воде. Погружается. Со звоном ломает молодой лед. Радостное «ура» вырывается из всех глоток. Пурга

яростно рвет флаг на ряже, но теперь это не страшно.

Вечером мы судили Степана Грохота, бывшего старшего десятника, нашим общественным, товарищеским судом. На маленьком острове у нас не было ни милиции, ни суда, ни сельсовета. Единственной властью был начальник (за весь вечер он не проронил ни слова), судьями — весь коллектив зимовки. И строгие это были судьи.

Степан успел выпить и держался нагло. Попробовал шутить, да не вышли шутки. Нам было не до смеху.

Я сказал ему:

— Степан, тебе уж сорок семь лет. Хватит, отшутился. Возьми свою жизнь в руки, погляди, подумай... Я даю тебе последнее слово, Степан.

Он вздрогнул. Честное слово, я увидел, как вздрогнули его брови и побледнело лицо. Понял ли он, наконец, что не шутки мы шутим, что о жизни, о судьбе его дело идет? Вот он сейчас задумается, опустит повинную голову, скажет.

Но он вдруг выпрямился, подбоченился, покрутил усы — эх, актер, актер! — и произнес напыщенно:

— Мне нечего говорить, товарищи судьи. Не могу себя упрекнуть ни в чем. Решайте мою судьбу. Мне плевать! — И он действительно сплюнул.

Ну что ж! Мы совещались недолго: мы вынесли обвинительный приговор по всем пунктам. Меру взыскания должен был определить начальник.

После суда Степан подошел ко мне.

— Легавишь, Федор? — спросил он, стоя предо мной и уперши руки в бока.

— Нет, — ответил я. — Судил по совести.

— А тебя кто судить будет, Федор? — крикнул он.

— А себя я сам рассудил.

— Значит, нет больше на земле дружбы? — закричал он.

— Дружба есть, — ответил я. — Дороги у нас с тобой общей нет. Вот ведь как.

Я и эту ночь не спал.

Не легко осудить товарища. Но я судил по совести. Есть ли на земле дружба? Эх, Степан! Ты и не подозреваешь, какие чувства есть у людей на земле. Мы с тобой их и не знали. Я знаю теперь.

Что же теперь будет со Степаном? Я догадывался о решении начальника. Я знал: он применит высшую меру своей власти! Что ж со Степаном будет? Но была во мне жалость или не была, а колебаться я не стал бы. Нет, не стал бы, хотя... хотя и не мог спокойно уснуть.

Часа в два ночи в дверь мою постучали. Я вскочил. Степан?

— Войди! — закричал я.

Вошел начальник.

У него было усталое, какое-то помятое лицо. Он сел на табурет у постели и раскурил трубку. Я молча ждал. Он поднял на меня глаза, — они были... талые. Поймете ли вы? Вот когда лед тает на море... такого цвета.

— А я и не ждал, — произнес он удивленно, — что вы вынесете обвинительный приговор.

В его голосе послышалась мне виноватость. Мне стало и легко и досадно.

— Эх, начальник! — сказал я, качая головой. — Ничего-то вы не знаете о нас. Не чертежи — люди.

Он долго сидел молча, опустив голову. Я заметил седину в его висках и светлую поляну на макушке.

Потом он спросил тихо:

— Какого решения ждете о Степане?

Я не ответил. Не мог я ответить так просто...

Он поднял голову, внимательно посмотрел на меня, улыбнулся уголком рта, — мучительная была улыбка, улыбка усталого, измученного человека, — и сказал:

— Хорошо. Я так и сделаю.

Потом подошел к окну и долго смотрел на бухту, в сторону причала. А я следил за ним и видел, как на глазах у меня оттаивает и теплеет человек, почувствовавший поддержку коллектива. И я знал теперь: все пойдет иначе у нас на острове. И облегченно вздохнул.

Утром был объявлен приговор начальника: Степан подвергался высшей мере наказания по закону зимовки — изгнанию с острова. Запряженная с утра собачья упряжка должна была увезти Степана за триста километров отсюда, в тундру, в первый населенный пункт. Там Степан будет жить до парохода. На нашем острове ему места нет.

Все строители порта собрались подле нарты отверженного. Стояли молча. Ждали выхода Степана.

Ребята вынесли его вещи, продовольственные мешки, уложили на нарту. Собаки повизгивали. Каюр возился с лямками. День стоял морозный, солнечный.

Вышел Степан.

Он шел согнувшись, опустив голову, стараясь ни на кого не глядеть. Он был в дорожной кухлянке и пимах. Начальник щедро снабдил его на дорогу.

— Прощай, Степан! — произнес я негромко.

Он вздрогнул, но ничего не ответил. Обернулся лицом к бухте, к линии причалов, махнул рукой.

— Не поминайте лихом... ребята-а... — донеслось до нас.

Собаки сбежали с крутого берега и понеслись по бухте. На снегу оставались узенькие полоски полозьев да веточки собачьего шага...

В первый раз отправляешься ты в дорогу без меня, Степан!

Но не было жалости в моем сердце...

Даша родилась и выросла на постоялом дворе. Вот самое раннее воспоминание ее детства: дверь, сугроб снега и в нем бородастый мужчина с кнутом.

Если бы ее спросили, откуда берутся люди, она ответила бы: из снега. Все люди, которых она видела в детстве, возникали из снега и исчезали в снегу. Зачем они появлялись и куда исчезали, этого она не знала. Они проносились мимо, как видения. Ямщицкие тройки пропадали в метели, звон бубенцов затихал за косогором.

Все люди, которых Даша видела в своей жизни, были проезжие люди. Все ехали, плыли, шли. Вокруг Даши всегда была суeta, хлопанье бичей, звон бубенцов или скрип уключин. Зимой по скрипучему льду Витима тянулись бесконечные, унылые обозы, проносилась ямщичья гоньба, запрягшись в саночки, тащились с приисков неудачники, шли тайгой и гольцами муж и жена в одной лямке, ребенок в ветхом тулупчике на саночках; летом по реке неслись лодки, паузки, карбаза, кунгасы, плоты, целые караваны барж.

Мимо Даши все время текли пестрые людские волны. Весенний ветер гнал волну вниз по реке, на прииски, осенний — вверх по реке, на магистраль. И как все волны в реке похожи одна на другую, хоть они и разные, так и все люди были для Даши однообразно пестрой, широкой, суетливой рекой; никого не упомнишь — все равные, все безликие.

Человечество в глазах Даши резко делилось на две половины. Первая — огромная — находилась в вечном движении: ехала, или плыла, или шла. У этих людей домов не было, их домом были кибитка, постоялый двор или палуба. Здесь они варили себе пищу, стирали и сушили свое белье, рожали, искали друг у друга вшей, пели и пили, ссорились и мирились, играли на баянах и плясали. Вторая — меньшая половина человечества, совсем маленькая и самая скучная, — сидела на месте за забором постоянного двора и раздувала проезжающим самовары.

К этой половине относились дед Архип, тетка Марья, мать и сама Даша. Никогда и никуда она не ездила, ничего не видела. Говорят, Витим впадает в Лену, но и этого она не видела и знала только по слухам да по книгам.

Так прошло ее детство, так протекала ее юность. Когда ей исполнилось двенадцать лет, умерла мать, а когда ей пошел восемнадцатый годок, нашелся отец.

Он возник внезапно, как и все проезжие люди: его принесло весенней волной, вниз по реке. — Это твой отец, — сказала ей тетка Марья, у которой она жила.

Даша покраснела и смущенно стала разглядывать проезжего человека — отца.

Отец был невысокий и нестарый. Он был в кителе, таком, как у всех речников. Только вместо якорей на пуговицах — пропеллеры. Лицо отца было все в рубцах и шрамах.

— Это следы аварии, дочка, — важно сказал он, заметив, что она глядит на рубцы, и охотно стал рассказывать историю каждого шрама.

Рассказывая, он увлекся, стал размахивать руками и чертыхаться, принимать позы и подкручивать усы, словно перед ним была аудитория, а не две женщины — старуха и девочка.

А девушка слушала с восторгом рассказы незнакомого ей человека и думала: так это и есть, наконец, ее отец, которого так долго и мучительно верно ждала мать и о котором упрямо говорила тетке, что он отлетается и вернется. Вот он и вернулся.

— А мама померла... — вдруг сказала она, невольно перебив отца.

Он запнулся и покраснел.

— Да, да, — пробурчал он, — я слышал... писали...

Даже он сообразил, что неловко было начать первый при встрече разговор с дочкой со

своих историй.

Надо было и о покойнице спросить: хорошей, верной женой была.

Вдруг слеза блеснула в его глазах.

— А я вот отлетался, дочка, — сказал он, качая головой.

— Совсем отлетался? — в восторге спросила она.

— Совсем, совсем... Мотор с отработанными ресурсами. Точка.

— Что ж ты теперь делать будешь? — спросила тетка Марья.

— Вот дочку к себе возьму. Заживем вместе, — смеясь, сказал отец. У этого человека легкие были переходы от грусти к смеху. — Ну, теперь мы заживем с тобой, дочка!

Даша обрадовалась. Ей сразу представилось, как она поплывет с отцом вниз по реке, все вниз и вниз, до места, где впадает в Лену Витим, и дальше... Вот и она станет ездить, и для нее будут раздувать самовары.

Но оказалось, что ехать никуда не надо. Надо только перейти из одной избы в другую, из одного постоянного двора в другой. То, что новый постоянный двор важно назывался авиапортом и что начальником его был отец, несколько не изменило Дашину жизнь. Раньше были ямщики; теперь — летчики. Ямщики были бородатые, летчики — бритые. От ямщиков пахло навозом и лошадиным потом, от летчиков — бензином. Но и те и другие, входя с мороза в избу, радостно кричали, тянулись к огню, жадно глотали горячий чай и требовали яичницы с салом. Даша стряпала.

Все осталось по-прежнему. По-прежнему жила Даша в избе на высоком берегу Витима, только прежняя изба была срублена «в угол», а эта — «в лапу»; запоры на старом дворе были ржавые, хриплые, на новом — певучие; над старой избой гордо высился резной конек, над новой — ветродуй, огромная полосатая колбаса, нафаршированная ветром; работник на старом дворе назывался конюхом, здесь — мотористом, вот и все перемены.

По-прежнему закон реки был законом Дашиной жизни: зимой самолеты садились на лед, летом на воду; в весеннюю распутицу и в осенний ледостав не летали; туман на реке означал нелетную погоду, и в авиапорту было пустынно, отец ходил сердитый и скучный, ему нужны были люди, аудитория, — людей не было; но туман рассеивался, далекий синий мыс с тремя соснами на нем становился близким, отец начинал звонить на почту, суесться, покрикивать на моториста; появлялись летчики, механики, фельдъегери, сопровождающие мешки с золотом, пассажиры. В избе становилось шумно, шипело на сковородках сало, летел пух от взбиваемых подушек, звенели чашки. Даша возилась у самовара.

А отец?

Отец уж подкручивал усы.

Он глядел на молодых пилотов со смятенным чувством: и восторг, и зависть, и грусть, и горечь, сознание своего превосходства и понимание, что превосходства больше нет (так выглядит старый, заслуженный мотор Сольмсона рядом с новехоньким, могучим «М-34»).

Еще хорошо, что его сделали начальником авиапорта, правда маленького, захудалого, но все-таки авиапорта. Он, как старый пес, все равно никуда не ушел бы с аэродрома, остался бы мотористом, сторожем, буфетчиком, кем угодно, — только бы толкаться среди людей в шлемах с «консервами», только бы глядеть, как ввинчиваются в тугой воздух машины, только бы вдыхать запах аэродрома, чудесную смесь из горелой травы и отработанного бензина.

Вот и новое дело — авиация, а есть уже и в нем свои старики.

Старость пилота всегда преждевременна. Она наступает раньше, чем старость моряка, полярника, кузнеца или плотника. Человек еще в полном соку, а уж летать не может — «вылетался».

Единственное, что утешало Дашиного отца в его невеселой старости, были воспоминания.

Никто в авиации не умел рассказывать такие чудесные истории, как Дашин отец, никого так жадно не слушали.

«Ого! — думал он, раздувая рыжие усы. — Мальчишки еще могут поучиться летному делу у старого аса».

Но «мальчишки» слушали его истории охотнее, чем его советы.

Он не замечал этого, зато замечала Даша. Она все замечала, эта тихая, молчаливая, угловатая девушка. Она видела, как насмешливо блестят глаза «мальчишек», когда они слушают рассказы отца; сначала ей было больно, теперь — только стыдно.

Но отец и не врал. Просто все чужие истории стали его собственностью, во всех он был героем, он один, — это было его право, право рассказчика, он широко пользовался им. И искренне верил, что так оно и было.

Стоило назвать при нем имя знаменитого летчика, как он восклицал:

— А, Вася! Как же! Мой ученик!

Все знаменитые пилоты были его учениками (если они моложе его) или его приятели (если они в его возрасте).

При нем нельзя было ничего рассказывать. Он слушал чужие истории нетерпеливо, нервно, — то была ревность рассказчика.

— Это что! — перебивал он. — Вот со мной история была...

Однажды пилоты решили разыграть его. Один из них (молодой, щеголеватый красавчик Ленья) стал рассказывать историю «своей первой аварии». Объяснялся он всегда больше звуками, чем словами.

— Это было в Средней Азии, — начал Ленья. — Лечу, в ус не дую. Вдруг слышу треск. Гляжу: крыло отвалилось. Однако лечу. Мотор... фрр... закашлял, задохся, смолк. Гроб. Однако лечу.

— Это что! — нетерпеливо перебил его Дашин отец. — Это обыкновенное дело! Вот со мной на фармашке почище было... — И вдруг осекся, сам сообразив, что хватил через край.

Пилоты захохотали.

Нельзя было не смеяться, даже Даша улыбнулась. Отец тоже попытался усмехнуться, но смех не удался, старик повернулся на каблуках и, сгорбившись, побрел к двери.

Он вышел на улицу и долго стоял, съездившись под падающим на голову снегом, и думал о том, что вот он стар и старость его невеселая, постыдная, что раньше, когда он летал на «фармане» один на целую эскадрилью, над ним никто не смел смеяться... Вот на Западном фронте, в воздушном бою над Галицией, когда сам начальник бригады при всех назвал его «Черным принцем воздуха», а девушки звали «принц-счастливчик», а ребята — «рыжий дьявол»... И так далее, и так далее. Уже складывалась в уме новая история, уже верил он в то, что так оно было на самом деле над Галицией; он вытер с лица мокрые потоки и молодецкато пошел обратно в избу рассказывать новую историю.

Нет, с летчиками он умел ладить! Что там ни говори, а почти двадцать лет проболтался он в воздухе, во всяких переплетах бывал и всяких людей видел.

С дочкой было труднее. Когда изба была полна народу, он просто не замечал ее. Она тихо, бесшумно скользила по комнатам, делала свое дело и никому не мешала. Но, когда в нелетную погоду отец и дочь оставались одни в избе и старику нужны были слушатели, он вспоминал о дочери.

Она слушала молча, не перебивая, часто закрыв глаза. Это обижало его. Отчего она не смотрит? Его самолюбие рассказчика было задето, — она не смеялась, не вскрикивала от ужаса, только слушала. Смеялась она вообще редко.

— Да засмейся ты, лесная душа! — сердито кричал на нее отец, а она поднимала на него

глаза — большие, синие, и под их взглядом испуганно умолкал старик.

— Чисто мать, — бормотал он, — чисто мать-покойница...

Мать тоже была такая же большая, теплая и покорная, как Даша, такая же смиренная и молчаливая, но он-то знал, что за тихим мерцанием ее глаз скрывается пламя.

Даша была вся в мать, — это отец заметил верно, — но не было ли в ней и от отцовской беспокойной крови?

Она любила вечером бесшумно пробраться в накуренную досиня комнату для проезжающих и, прислонившись к косяку, слушать бесконечные рассказы летчиков о дальних странствованиях, о большой жизни. Ей нужно было знать, как живут люди там, на магистрали, что делают, — не все же ведь летают и ездят.

Летчики уничтожили расстояние между Витимом и магистралью. Они завтракали на Витиме, обедали на Лене, а вечером шли с подругами в иркутский театр. Даже для Даши Иркутск стал ближе. Он был рядом, вон там, за изгибом реки (где она никогда не была).

Она пыталась представить себе, как это бывает в театре, как выглядит Иркутск, но спрашивать стыдилась и не умела.

С летчиками она, однако, подружилась. Она знала их имена, привычки и вкусы, понимала их язык.

Веселые ребята летали на этой линии. Они называли себя «воздушными извозчиками», «ямщиками». Они говорили не «сесть», а «приземлиться»; не «есть», а «заправляться»; спирт они называли «горючим», коньяк — «сосначком» (читая по-русски иностранную этикетку). Они говорили не «разбил машину», а «приложил машину к земле»; отправляясь спать, заявляли: «иду в ночь». У них не было хорошей или дурной погоды, погода была либо «корявая», либо «летная»; корявая чаще. Этот пестрый язык, к которому Даша долго не могла привыкнуть, пилоты, пришедшие на линию из морской авиации, еще уснащали морскими словечками. Они щеголяли ими, как щеголяли своими комбинезонами, шлемами, пуговицами с пропеллером, — всем, что отличало их от бескрылых, земных людей. Они разговаривали шумно, весело и всегда насмешливо. Они обо всем говорили насмешливо и пренебрежительно: о погоде, о рейсе, о любви, о чувствах. Им казалось, что этот стиль больше всего подходит для их «рисковой» профессии. Даша заметила, что чем старше был пилот, тем меньше «летных» словечек было у него в разговоре.

А Даша не любила, когда надо всем смеются. Это правда, жизни она не знала, но казалось ей, что есть в жизни такое, над чем смеяться стыдно, над чем смеяться нельзя.

Среди пилотов были ребята, с которыми она подружилась. Странная это была дружба! Почти с каждым из них она начинала со стычки. Здоровая, могучая девка умела постоять за себя! Баловства она не любила.

Ну что ж! Однажды красавчик Леня прилетел на Витим в галстучке. Пилот был необычайно серьезен и торжествен, даже побледнел от волнения, когда увидел Дашу. Он сказал ей, что хочет поговорить, и они ушли на реку, к пихте. Там, у пихты, Леня пробормотал, что, если она хочет, он может навеки причалить к ней и стать на якорь. Потому что — как бы это сказать? — он любит ее, что ли, больше жизни любит. И он, окончательно смутившись, умолк. Но она только головой покачала в ответ. Нет. Замуж за Леню она не пойдет. С ним не уедет.

Но, чтоб не обидеть парня, она тут же сказала?

— Галстук надел, а на плече дырка. Идем, я тебе зашью, — вот это она делала охотно.

Только один человек не обращал на Дашу никакого внимания, но он вообще ни на кого не глядел. Входя в избу, он смотрел под ноги, выходя на улицу, поднимал глаза вверх, в небо (какова облачность?).

За глаза его звали Уксусом Иванычем. Это был немолодой пилот, давно летающий на

линии. Когда он входил, стихала самая шумная беседа, словно вместе с этим человеком в комнату врывался холод. Не мороз, а этаким осенний, до костей пронизывающий холодок.

Все чувствовали себя в чем-то виноватыми: механикам начинало казаться, что баки не долиты, пилотам — что машины плохо зачалены, ветер сорвет их с якорей, что вообще случится беда, а они тут сидят, кофейничают.

Однако Уксус Иваныч ничего не говорил, никого не укорял, он просто не замечал людей, быстро проходил к столу, опускался на лавку (она скрипела под его грузным телом), клал локти на стол, подпирал кулаками подбородок и молча ждал, уставившись в тарелку.

Ел он молча и равнодушно.

— Вам не нравится? — робко спрашивала Даша.

— Все равно! — ворчал он.

Она спросила, какие блюда он любит, — она знала любимые блюда всех пилотов.

— Все равно! — отмахнулся он.

У него нет любимых блюд? Этого не бывает. Каждый человек одно блюдо любит, другое нет. Но она больше не решалась надоедать вопросами, старалась сама узнать, что он охотнее ест.

Пилоты его не любили, механики боялись. Он летал всегда один — оттого, как говорил он, что не может найти механика, которому мог бы спокойно доверить машину; оттого, как говорили ребята, что во всей авиации не найти механика, который по доброй воле стал бы летать с Уксусом Иванычем.

Однако один он успевал за навигацию налетать больше всех. Он летел и в погоду и в непогоду, и только темнота могла заставить его согласиться на ночевку.

Даша видела, что приходит он с аэродрома позже всех, долго возится у машины — сам и пилот, и штурман, и механик. Приходит продрогший, съжившийся, усталый, и в теплой избе-то ему не тепло и с людьми не весело.

Была ли у него семья? Даша спросила как-то у ребят. Никто не знал. Никто не бывал в гостях у Уксуса Иваныча. Он ни у кого не бывал. Пожилой, угрюмый, одинокий, он вызывал в Даше странное чувство. Может быть, сочувствие? Может быть, жалость? Она не знала.

В первых числах апреля линия обычно закрывалась на полтора-два месяца: в Иркутске уже снега не было. Начинались тоскливые дни для Дашиного отца, вольготные для Даши. Обычно она нетерпеливо ждала их. Кончится сутолока, жизнь как в кипящем котле, можно будет и о себе подумать и об отце.

Отчего же теперь, когда пришли апрельские дни, ей стало грустно?

Летчики торжественно прощались с Дашей.

— Уж вы не скучайте, Дарья Кузьминишна. Нынче весна ранняя, в мае встретимся.

Последним улетел Уксус Иваныч. Даша вышла провожать его. Надела новую шубейку, беличью шапку. Стояла подле машины, покорная, тихая, украдкой глядела на пилота, ждала: вот улыбнется он ей на прощанье, что-нибудь скажет.

А он даже не взглянул на нее. Крикнул мотористу: «Есть контакт!» — и улетел.

Она долго смотрела, как таяла в небе его голубая машина. Подумала: «Вот и все улетели. И он улетел. А я осталась. И не взглянул даже». И еще долго стояла на льду, у стартового флажка.

Но через три дня он вдруг снова прилетел на Витим, и вместе с ним гурьба веселых инженеров. Они замерзли и, увидев Дашу, сразу же закричали:

— Нам бы чайку, красавица!

Даша заметалась по избе. Щепки и угли падали из ее рук. Вот сейчас и он войдет, только с машиной управится. Замерз небось бедненький. Что же это он прилетел?

Самый молодой из инженеров, гордый своим первым рейсом, рассказывал отцу, который уж суетился подле новых людей:

— Понимаете положение? В Москве нас задержали, еле вырвались, приезжаем в Иркутск, везем с собой важные, народнохозяйственного значения чертежи, а нам говорят: линия закрыта и машин на север не будет.

Хорошо еще Степан Ильич вызвался лететь. Знаете, рейс рискованный...

— Он к работе жадный... — неожиданно для самой себя сказала Даша из угла и смутилась.

Пилот поднялся, когда на дворе было еще темно, поспешно оделся, разбудил всех и ушел к машине. Через полчаса он уже был готов лететь. Его нетерпение было понятно: в Иркутске, на аэродроме, уже почти не было снега.

Через три часа он вернулся с приисков. Пассажиров с ним не было, он никого не взял с собой в этот последний рейс, — зато взял грузы и почту.

Прилетев на Витим, он немедленно потребовал сводку погоды. Дашин отец молча показал ему в окно — началась метель, косые полосы снега падали над замерзшей рекой.

— Я бы посоветовал не лететь, — сказал отец, качая головой.

— Я прошу у вас не совета, а сводку, — грубо отрезал Уксус Иваныч.

Отец обиделся и швырнул сводку на стол.

— Не весновать же мне здесь, — пробурчал пилот, читая сводку. Скомкал ее и сунул в карман.

«Оставайтесь!» — хотела крикнуть ему Даша, но не крикнула. Разве ей удержать этого человека!

Через десять минут он был в воздухе. С высокого крыльца Даша видела, как болтается в небе его голубая машина.

После этого два часа Даша не находила себе места. В эти два часа она пережила все, что составляет жизнь жены пилота: и беспокойство, и страх, и муки ожидания. А ведь он не был ей ни мужем, ни братом. Даже сейчас, улета в опасный рейс, он так и не взглянул на нее, не сказал: прощай, мол.

Через два часа она пришла к отцу и сказала, что надо запросить соседний авиапорт, прилетел ли Степан Ильич. Отец все еще дулся на пилота, но послушно пошел к телефону звонить на почту.

Потом вдруг спохватился: что за черт! Какого дьявола она лезет в это дело? Что он, сам своих обязанностей не знает! Но Даша глядела на него в упор, и глаза у нее были, как у покойной матери.

Оттуда ответили, что Степан Ильич не прилетал.

Через час они уже сами спросили: не вернулся ли он обратно на Витим? Даше стало ясно — случилось несчастье.

— Может, пролетел над ними и не сел, а они в метель не увидели? — предположил отец.

— Запроси другие порты.

Она говорила так, словно имела право требовать. Теперь, когда несчастье случилось, она больше не металась по избе.

К утру выяснилось: летчика на линии нет.

— Надо искать, — сказала отцу Даша.

— Да, да, искать! — засуетился отец и бросился к телефону.

Даша молча глядела, как отец крутит ручку телефона, кричит: «Алло, алло!», потом бежит к окну. Она встала, взяла волчью доху, отцово ружье и пошла на постоянный двор к деду Архипу. Дед Архип без слов дал ей лошадь. Она не сказала ему, куда и зачем едет, и направилась в тайгу.

Два дня кружила она по тайге, стараясь держаться ближе к Витиму. Она знала, что в метель летчик не станет уходить далеко от реки. Метель кончилась, в тайге было тихо, только снег хрустел под полозьями.

— Степан Ильич! — кричала Даша что было сил и долго ждала ответа.

Чтобы лучше слышать, она снимала шапку; снег падал на ее русые косы.

— Степан Ильич! — кричала она, встав на дровни.

Эхо в гольцах пугливо повторяло: «Степ-ан... и... ич...», но ответа не было.

Она стреляла из ружья, выстрелы гулко отдавались в морозном небе. Белки прятались в мохнатых кедрах, лошадь испуганно прыдала ушами; Даша ждала ответного выстрела или крика, но ответа не было. Когда эхо смолкало, в тайге становилось еще угрюмее и тише.

Ночью, когда искать было трудно, а брести с лошастью по узким таежным тропам опасно, она выбиралась на открытое место, поближе к реке, и зажигала костер. Языки пламени поднимались выше леса.

К рассвету огонь угасал, а с ним угасала и надежда. Но, когда последние головешки потухали, а верхушки самых высоких кедров начинали золотиться, она снова упрямо трогалась в путь, понукала измученную лошадку, брела впереди нее, утапывая снег, чтоб лошади было легче идти.

Инстинктивно Даша держалась Витима. Закон реки всегда был законом ее жизни. Здесь, на реке, впервые встретила она Степана Ильича; его машина опустилась на лед Витима, и с реки на берег шел он по узкой обледеневшей лесенке ей навстречу. Отсюда улетел он в последний рейс. Здесь, на реке, найдет она его живым или мертвым. «Живым» — говорила она, когда начинался день; «мертвым» — когда угасали последние головешки костра.

Она нашла его живым, нашла там, где ждала, у подножья гольца, на высоком берегу Витима.

— Степан Ильич! — закричала она и, спотыкаясь в снегу, побежала к нему. — Жив, жив! — И заплакала от радости, от счастья, по-бабьи, в голос.

Он не отозвался. Он сидел, охватив голову руками, и безучастно смотрел на обломки того, что недавно было машиной.

— Жив, жив! — кричала она, подбегая к нему, смеясь и плача от счастья.

Он не шелохнулся, не оглянулся.

Он был подавлен несчастьем, своей первой аварией. Но Даша ничего не замечала. Она была рада тому, что он жив, жив. Что за дело ей до машины? Она прижалась к мокрому плечу пилота.

— Поедем, — прошептала она. — Уж скоро темно. Вставайте, Степан Ильич, поедем!

Но он и не пошевелился. Только сейчас Даша заметила, что с пилотом неладно.

— Степан Ильич! — испуганно вскрикнула она, но он не отозвался.

Она посмотрела на него долгим, внимательным взглядом, потом взяла за плечи и повела к дровням.

Он не сопротивлялся. Ему было все равно — оставаться ли здесь, или уехать. Охоты жить не было.

Он опустился на дровни. Даша заботливо укрыла его волчьей дохой. Потом пошла к машине. Она стояла среди обломков и думала: «Так вот что он любил больше жизни, вот из-за чего не глядел на меня!» Осторожно, словно то был труп, обходила она обломки, взяла почту, ценные грузы и снесла на дровни.

— Надя, Надя, что же ты! — вдруг донеслось из-под волчьей дохи.

Даша испуганно оглянулась, подбежала к дровням.

— Степан Ильич! — крикнула она. — Что вы? Кого зовете?

— Уйди! — прохрипел он. — Видишь, гора... Вмажу... Эх, Надя! Что же ты? Уходишь? Постой! А-а! Чертова дочь!..

У него начался бред. Он метался, рвал с себя доху.

— Душно, душно! — кричал он. — Что же ты душишь меня, Надька, черт?

Даша бросилась к лошади, поспешно запрягла ее в дровни и потащила вперед, на тропу. Скорей, скорей, только б довести его живым!

Восемь дней пролежал Степан Ильич в постели, восемь ночей не отходила от него Даша. Потом он очнулся, открыл глаза, обвел взглядом комнату, увидел Дашу, но не удивился, ни о чем не спросил, только прошептал: «Пить!» Она обрадовалась, быстро подала пить. Он выпил, сказал: «Спасибо». Потом долго лежал, глядя в потолок.

На девятые сутки он вдруг сам встал с постели, она даже не пыталась удержать его, вытащил из кармана трубку, закурил. Потом долго стоял у окна, смотрел на реку. Она следила за ним испуганным взглядом: теперь, когда он был здоров, она снова боялась его, как боялись летчики и механики. Он отвернулся от окна, подошел к ней и пробурчал:

— Тебе — спасибо!

Она замерла, даже руки к груди приложила — так колотилось сердце. Он махнул трубкой.

— Только зря... зря это... зря...

Она не поняла: что зря? Потом догадалась.

У него не было ни охоты жить, ни охоты летать. Он бродил по избе, как труп непогребенный. Когда его звали есть, он ел, а не позови — он и есть не будет. Отец хотел было развлечь его воздушными историями, но на самом интересном месте, когда у слушателей волосы бы должны дыбом встать, Степан Ильич вдруг подымался и, не сказав ни слова, уходил, оставляя отца обиженным, а Дашу — испуганной.

Он выходил на крыльцо, глядел на реку, но взор его был потухший, равнодушный. Он не загорался, на что бы ни глядел — на трещины во льду, предвещающие весну, на бочки с горючим, на ветродуй, трепещущий под весенним ветром.

Дашин отец ворчал:

— Эка история! Сколько я машин на своем веку поломал, сколько аварий потерпел, а не психовал ни разу. А этот — первую сломал, и уж психоз.

Но Даша резко обрывала отца. За Степана Ильича она готова была лезть с любым в драку. Разве не она нашла его на Витиме? Он был ей дорог... Ну что же, теперь она не скрывала от себя, что любит. Но ему она никогда не сказала бы этого. Она старалась не надоедать ему, избегала с ним встреч, пряталась. А он не замечал этого, так же как не замечал и ее любви. Он ничего не замечал. Ему не хотелось ни жить, ни любить, ни даже летать.

Что могло спасти его? Даша врачом не была. Но она любила, и любовь делала ее мудрой и опытной. Только машина может спасти его, как только новый ребенок может заменить матери умершего. Но приемыш редко заменяет родного. Машина, которую дадут в Иркутске, останется навсегда чужой для него, — он получит ее готовую, душу в нее не вложит.

И тогда она вспомнила о машине, которая гнила у них в сарае. Когда-то ее перегоняли на прииски для предполагавшегося там аэроклуба, в Витиме машина поломалась, ее спрятали в сарай затем, чтоб потом сдать в ремонт, и забыли. Отец каждый год собирался напомнить Иркутску о машине, да так и не собрался.

Вечером с хитростью, которой никогда в ней не было раньше, Даша завела разговор с отцом.

— Это что за машина у нас в сарае? — спросила она за ужином будто невзначай.

— Которая? — переспросил отец, словно у него здесь был целый завод машин.

— А эта, маленькая, зеленоватая...

— Ах, эта! Амфибия... — И он начал подробно рассказывать историю машины.

Даша украдкой глядела на Степана Ильича; он даже головы не поднял, не слушал.

— А починить ее можно? — спросила Даша, не отчаиваясь.

— Починить? Я бы починил, когда б время было... — И отец очень пространно стал

рассказывать, как следует машину чинить и чего не хватает.

Степан Ильич приподнял голову, — Даша заметила это.

— И летать на ней можно будет? — совсем невинно прошептала она.

— Небось сгнила вся, — буркнул вдруг Степан Ильич.

— У меня в порту машины не гниют! — обиделся отец. — Я сам ее починю, вот что. Завтра же и возьмусь. Ишь, сгнила!..

Утром состоялись смотрины. Даша была тут же и все не могла отделаться от мысли, что вот словно невесту для Степана Ильича смотрят. Теперь зароется он с головой в работу, повеселеет, совсем забудет Дашу, что ему Даша тогда? Но она ни разу не пожалела, что вспомнила о машине.

Степан Ильич внимательно осмотрел машину. Тяжело видеть самолет в таком беспомощном состоянии в сарае, среди бревен и досок, но эта беспомощность сделала свое дело: Степан Ильич машину полюбил. Нет, он выходит ее, он вложит в нее все свое умение, всю свою любовь и нежность, он сам поведет ее в небо!

Потихоньку от Степана Ильича Даша вместе с мотористом съездила несколько раз к месту аварии и привезла все, что можно было взять из обломков старой машины. Так старая машина входила в новую и делала ее еще родней.

Теперь Степан Ильич целые дни проводил в сарае. Сарай очистили и утеплили, превратили в мастерскую. Вместе с пилотом возился и Дашин отец. Пилот был по-прежнему молчалив, с мотористом и Дашей разговаривал только сердито, кричал на них. Но иногда Даше удавалось увидеть и улыбку на его губах, — когда работа спорилась, а один раз он даже стал насвистывать.

И Даша была счастлива. Она молча сидела рядом, угадывала его приказания, подавала инструмент, топила печь, грела воду, носила еду. Ей хорошо было сидеть подле него, когда он работает, и слушать, как поет дерево под рубанком, железо — под молотком, и видеть, как все больше и больше теплеют глаза Степана Ильича, когда он глядит на машину. Такими глазами на Дашу он никогда не глядел. Теперь ему и жить и летать хочется.

Нетерпеливо работает он, торопится, то и дело глядит на реку. Ему хочется скорее улететь на новой машине. Ну что ж! Пусть летит. Все-таки это она нашла его в гольцах на Витиме. Она дала ему машину. И она сама помогала ему заканчивать работу, чтоб мог он скорее улететь отсюда.

На реке уж прошел лед, прилетели первые самолеты, пилоты звали Степана Ильича лететь на их машинах в Иркутск, но он только усмехнулся.

— Полечу на своей, — и больше не говорил ни слова.

Скоро он спустил машину на реку, стал пробовать ее на воде, потом в воздухе.

Даша запускала винт и кричала:

— Контакт?

— Есть контакт! — отвечал он, и мотор начинал стучать.

Ей нравилось это. Повернешь винт — и контакт есть. Какой винт надо повернуть в нем, в Степане Ильиче, чтоб вспыхнула искра, чтоб был контакт? Но она ничего не делала для этого. Как приговоренная, ждала она часа, когда он улетит. Навсегда улетит. А если вернется, так прежним Уксусом Иванычем...

— Завтра я полечу! — сказал он однажды Дашиному отцу.

И Даша, услышав это, похолодела. Теперь, когда пришел, наконец, час, которого она давно ждала, она растерялась. Что с нею станется, когда он улетит? Она старалась не думать об этом, да и думать было нечего. Будет жить, как жила, — что ж еще она может? Будет раздувать самовары, чинить ребятам куртки, будет ждать его прилета, если он останется на линии, вспоминать, если с линии уйдет. Она любила первый раз, но казалось ей, что это и последний.

Наконец настало утро, солнечное, ясное. Сзари уж был у машины Степан Ильич; Даша понесла ему туда кофе в термосе, но он только отмахнулся от нее. Что-то не ладилось у него. Он был злее черта.

«Может, и не улетит?» — подумала Даша, но даже не обрадовалась: улетит завтра.

Все же, когда настал последний момент и Степан Ильич, совсем готовый в полет, вдруг подошел к Даше поблагодарить за все и проститься, она пожалела, что он не останется хотя бы еще на день. Она глядела на него глазами, полными такой откровенной любви, что он даже смутился.

Никогда ни одна женщина, даже та, прежняя, не глядела на него так...

Он стоял подле девушки и не знал, что сказать.

— Вот улетаю, — сказал он. — Спасибо... за все...

— Счастливый путь! — тихо произнесла она.

Он отвернулся, поглядел на реку — там покачивалась на волне машина. Вот сядет он сейчас и улетит. Прилетит в Иркутск, вечером придет домой, в пустую, грязную, холостяцкую квартиру. Включит электрический чайник, станет искать стакан, не слишком грязный и по возможности целый... Так и пойдет жизнь, как шла.

А девушка все стояла рядом. Она ничего не ждала, ничего не говорила...

— Прощайте! — сказал он и неуклюже, неумело протянул руку.

— Счастливый путь! Хорошей погоды! — снова прошептала она и подняла на него глаза.

От их взгляда пилоту стало вдруг тепло и весело. Он подумал, что, если б в каждый рейс его провожала девушка таким взглядом, он летал бы так... как никогда не летал раньше. Какие чудеса в воздухе он совершал бы!

Надо было как-то сказать ей это, но он разучился говорить с девушками, а может быть, никогда и не умел. Он топтался на месте, хмурился, досадовал, что слов нет, а время уходит. Надо лететь, солнце уже высоко, о берег нетерпеливо бьет волна, качает машину, а он стоит и слов найти не может.

— Ну, что ж ты стоишь? — вдруг рассердившись, закричал он на Дашу, как кричал на механиков, на стартеров, на мотористов. — Долго я ждать буду? Где твои вещи? Давай живо! Лететь надо, пока погода...

Она растерянно взглянула на него, но он, не давая ей опомниться, закричал:

— Ну, скорей же!

— Сейчас, — растерянно прошептала она и побежала в дом.

А он стоял и смотрел ей вслед и радовался, что вот и поговорили, и все выяснилось, и не одинокий он теперь человек на земле.

Даша влетела в избу, схватила корзину, сунула в нее попавшиеся под руку платья, сорочки, фотографию матери, какую-то книжку и выскочила на крыльцо. На крыльце стоял отец.

— Прощай, отец, — торопливо обняла его Даша, — не ругай.

— Куда ты, угорелая! — ничего не понял отец.

— Улетаю! — крикнула она уже на берегу. — Улетаю, отец!

Моторист закричал: «Контакт!», пилот ответил: «Есть контакт!», и Даша очутилась в воздухе над рекой.

Отец как был, так и застыл на крыльце. Только когда машина поднялась над рекой, он сообразил, что это ведь дочь, Даша, улетаает, улетаает навсегда с чужим человеком, который теперь для нее и родней и любимей отца.

«А я? А я? — чуть не закричал он. — Как же я? Я ведь стар, меня покоить некому...»

Машина взмыла уже над верхушками кедров и разворачивалась на курс. Старик невольно

следил за нею, — он никогда не мог спокойно видеть машину в воздухе, а ведь эту он сам, сам собирал из ничего.

— Ишь разворачивает как! — проворчал он и попытался найти недостаток в развороте.

Но не нашел. Все было чисто, правильно, все было, как сам он делал когда-то. И он восхищенно глядел, как поблескивают плоскости и хвостовое оперение на солнце, слушал, как ровно стучит мотор... Вот так и он когда-то, давным-давно, сделал смелый прыжок с земли в небо. Какой это был прыжок! Из тайги, из медвежьей глуши — в небо! А теперь Даша...

«А дочь-то... дочь... — удивленно подумал он. — Ишь ты... молодец!»

РАССКАЗ О ДВУХ МУЖЧИНАХ

Материал для этого рассказа я нашел в «архиве» острова Диксон. Это несколько пожелтевших от времени, полуоборванных записок. Первая написана человеком, у которого, вероятно, обморожены руки: почерк корявый, буквы прыгают. Записка кратко излагает историю несчастья и вызывает о помощи.

Вторая написана человеком, который гордится своим почерком: буквы высокие, круглые, аккуратные; прописные — с завитушками, почерк писаря или провинциального телеграфиста. (Купцы щедро давали на чай, если телеграмма приятная и написана красиво.) Записка эта была оставлена в Павловской избушке, где путники ночевали. С приказчицей точно излагается, что именно взято из продовольственных запасов избушки. Написано по правилам домашней орфографии 1920 года: твердых знаков уже нет, буква ять присутствует, но неуверенно. В слове «свечи» ее уже нет. Написана записка на листе, вырванном из суточного журнала плавания.

Вот и все.

Перелистывая эти стародавние и уже никому не нужные бумаги, я вдруг представил себе их авторов. Мне показалось даже, что я понял, что произошло между ними в дороге. Они оба виделись мне так отчетливо, словно сидели здесь, в кают-компании, пили горячий кофе с коньяком и рассказывали.

12 декабря 1920 года охотник-промышленник Федор Воронов на семи собаках отправился из станка Гольчиха, что в горле Енисейского залива, на Диксон, надеясь через диксоновскую радиостанцию узнать — живы ли его родные в Шенкурске и какая нынче власть на Большой земле: наша или белых. В Гольчихе ходили об этом разные слухи, в последние же месяцы слухов не было вообще.

Путь от Гольчихи до Диксона — дальний, триста километров, время — позднее: приближалась «темная пора». Воронов торопился. На станке Ошмарино, где Воронову пришлось заночевать, к нему подошел Василий Харченко, приказчик, и попросил взять его с собой.

Воронов недовольно поморщился, услышав просьбу, и исподлобья взглянул на Харченко.

Северяне говорят: в трех случаях жизни нужна особая осторожность — когда выбираешь мех на сапоги, собаку в голову упряжки и товарища в дорогу. Харченко не обещал быть хорошим товарищем.

Но Воронов, разумеется, не сказал Харченко, что видит в нем плохого попутчика, а только угрюмо проворчал, что собак у него мало, нарта тяжелая — двоим, пожалуй, не уехать.

— У меня есть одна собака, — просил Харченко, — а другую я выпрошу у соседа.

Но Воронов только головой качал в ответ.

Тогда Харченко сказал:

— Что же мне делать? Мне обязательно надо на Диксон, к доктору. Зубы пропадают.

Что было возразить на это? Раз человеку надо к доктору, тут уж не будешь гадать, хороший он попутчик или плохой. Пришлось согласиться.

Наутро выехали. Дорога была скверная, вся в застругах. Ехать по застругам на санях — все равно что по куче острых камней. Собаки скоро искровенили лапы.

Только через три часа путники добрались до Сопочной Карги. Харченко заявил, что устал от тряски и хочет отдохнуть. Воронов посмотрел на него, потом на небо и ничего не сказал.

Заночевали в Сопочной. Ночью началась пурга. Она бушевала два дня. Два дня сидели путники в плену на Сопочной, съедали запасы. Харченко ворчал и жаловался на судьбу, на погоду, на товарища. Воронов молчал.

18-го двинулись дальше, вдоль восточного берега Енисейского залива.

В те дни пустынным был восточный берег. Мертвые станки, брошенные избышки. Рыбацкие летовья без окон и дверей, по крышу занесенные снегом. Ни дыма, ни огонька, ни человека, ни собаки.

Люди ушли из этих мест на магистраль, где кипели бои гражданской. Люди уходили отсюда, не заколачивая ни окон, ни дверей, оставляя нетронутыми пасти и капканы. Где-то там, на магистрали, кипели жаркие бои, — здесь оставались трупы поселков, скелеты изб, ребра стропил, кости срубов.

Упряжка Воронова брела от одной мертвой избы до другой. Нечего было и думать о ночевке здесь. Чтобы попасть в избышку, нужно было четыре-пять часов отбрасывать снег от дверей и окон.

Когда пришла ночь, Воронов воткнул остол в снег, затормозил нарту, взял лопату и стал рыть яму под скалой.

— Что вы делаете? — спросил Харченко.

— Рою яму для ночлега.

— Яму? — ужаснулся Харченко. — Спать в снегу?

Воронов пожал плечами.

— Я не могу спать в снегу! — закричал Харченко. — Я хочу спать в избе. Вон — изба. Мы там будем ночевать.

Воронов молча продолжал рыть яму. Харченко подошел к нему, заглянул через плечо и прохрипел:

— Вы роете мне могилу? Да?

Его пальцы впивались в плечи Воронова. Тот сбросил их резким движением, молча взял лопату и направился к избышке., Харченко следил за ним испуганными глазами. Потом сам взял лопату и начал неумело помогать Воронову. Скоро выдохся, опустил на снег и заохал. Воронов продолжал работать один.

Ночевали в избе, нетопленной и пустой. На полу лежал снег. Харченко бросал на товарища пугливые взгляды и все порывался что-то сказать: поблагодарить или выругать — неизвестно.

Воронов сидел, сгорбившись, уткнувшись взглядом в пол, и думал о тяжелой ноше, доставшейся ему. Вслух он ничего не сказал, однако.

Утром тронулись в путь. Два-три часа ехали от избышки к избышке, четыре часа откапывали вход в избу, шесть часов спали. Больше Воронов не предлагал Харченко ночевать в снегу.

Странное дело: он во всем подчинился своему спутнику. Он трогал в путь лишь тогда, когда Харченко говорил, что может ехать; он останавливался, когда Харченко объявлял, что он устал. Он молча выслушивал жалобы попутчика и его бесконечные рассказы и надоедливую ругань.

Теперь Харченко ругался часто, он во всем винил Воронова, во всех неудачах этой роковой поездки, и Воронов только ежился под градом ругательств и... молчал.

Настала темная пора, а путники еще не добрались даже до Варзугиной бухты. Ночью, когда Харченко спал, Воронов подсчитал запасы продовольствия. Даже при жестком рационе их не хватит до Диксона.

Утром он объявил об этом Харченко. Тот испугался и умоляющими глазами посмотрел на Воронова.

— Голубчик, голубчик... — забормотал он и вдруг чмокнул Воронова в плечо.

Что почудилось ему? Померещилось ли, что товарищ бросит его одного в этой жалкой, нетопленной избе и унесет с собой весь запас пищи? Или убьет? Что ему стоит убить слабого, больного, бедного Харченко?

— Голубчик, голубчик, миленький... — бормотал он, протягивая руки к Воронову, цепляясь за его малицу, за плечи.

Воронов не понял, что взволновало Харченко. Он подумал, что тот, увидев истинное положение вещей, проникся, наконец, жалостью и к товарищу и к себе. В первый раз за всю дорогу Воронов неумело улыбнулся и похлопал попутчика по плечу.

— Ничего, товарищ. Будем экономить — дотянем...

Перешли на жесткий рацион. Тронулись снова в путь.

Харченко успокоился, увидев, что его не бросают одного в тундре. Притихший, он сидел на нарте и молчал. Воронов бежал рядом, он теперь редко сидел на нарте: собаки ослабли и не могли тащить двоих.

Вечером, за ужином, Харченко заявил, что он «сдохнет» от такого рациона.

— Сдохну, сдохну, сдохну... — твердил он украдкой поглядывая на паек товарища. И Воронов молча, не говоря ни слова, пододвинул ему половину своего пайка.

Теперь они делили паек так: две трети Харченко, одну треть Воронову. Но Харченко все твердил: «Сдохну, сдохну я...» — и Воронов с испугом поглядывал на него.

В самом деле, что, если он умрет? Эта мысль испугала Воронова. О собственной смерти он думал мало: «Ну, умру — и все тут!» Но Харченко... Незаметно для себя он сжился с мыслью, что отвечает за жизнь Харченко. «Только бы довести его живым до Диксона! — думал он, с ненавистью глядя на своего спутника. — Только бы довести живым!»

Тут не было речи ни о любви, ни даже о жалости. Ничего, кроме безразличия, не вызывал в Воронове этот толстый, рыхлый, ни на что не годный товарищ.

«И все-таки, — думал Воронов, — лучше мне умереть, чем Харченко». Тут было чувство ответственности за жизнь попутчика, и это, пожалуй, было сильнее любви и жалости.

Харченко угадал это инстинктом труса. На все лады теперь повторял он, что «сдохнет, сдохнет, умрет», и обвинял в этом Воронова.

Он говорил о своей смерти так, словно это было бы катастрофой мира. Но страха не было в его голосе. Он не боялся умереть, он знал, что не умрет, пока с ним Воронов. Он пугал не себя, а Воронова. Он язвил его своей смертью. Он говорил о ней со злорадством, и Воронову слышалось в его словах: «Ты убийца! Ты здоровый, сильный, опытный, а я слабый, больной. Ты мог бы спасти меня, а ты убиваешь».

И Воронов, терроризированный страхом за жизнь Харченко, отдавал ему весь паек, а сам голодал, мерз, впрягался вместе с собаками в лямку и тащил Харченко, мечтая лишь об одном: «Скорее бы добраться до Диксона!»

Когда Харченко надоедало говорить о смерти, он начинал разговор о еде. Он развлекался теперь воспоминаниями о великолепных пирах, на которых пировал некогда. О еде он мог говорить безостановочно, смачно причмокивая губами и прищелкивая языком. Он сочинял невообразимые блюда, подробно описывал гарниры и соуса, закуски и напитки. Он требовал, чтобы и Воронов участвовал в беседе, в этом пиршестве голодных фантазеров, но Воронов угрюмо молчал. Смотрел в пол, думал: «Найдется ли в Варзугиной бухте на зимующем корабле „Север“ продовольствие для нас?»

Наконец они добрались до Варзугиной. Из тумана выглянули оледенелые снасти корабля, они были похожи на гроты сталактитовой пещеры: длинные сосульки свисали с мерзлых труб и бортов.

Навстречу путникам выбежал человек. Он что-то радостно кричал, но в трех шагах от них вдруг остановился и разочарованно опустил руки.

— Здравствуйте, — сказал Воронов.

Человек с корабля угрюмо кивнул в ответ и тотчас же спросил:

— Вы человека в тундре не видели?

— Какого человека?

— Товарищ мой закружал. Захарченко. Матрос.

Они не видели человека в тундре.

Он ушел шесть недель назад в тундру, на охоту, рассказал им человек с «Севера» (его звали Петуховым), и пропал. Жалко и товарища и винтовку, которую он унес с собой. Теперь на пароходе остался один Петухов, без оружия, а следовательно, и без мяса. Он питается только сахаром да тухлой рыбой. Сахаром он может поделиться.

Воронов решил поделиться с ним мясом. Мяса оставалось немного, но они идут к людям, а Петухов остается здесь один караулить пароход.

Когда Харченко увидел, что Воронов отдает половину оставшихся у него пайков, он завизжал, как исступленный. Он бросился на Воронова, вцепился в него руками и кричал, не останавливаясь:

— Не дам, не дам, не дам...

И тогда, в первый раз за всю дорогу, вспылil Воронов. Он грубо отшвырнул Харченко и закричал:

— Ну! Ты! Слышь!

И Харченко съежился под этим криком, как собака, слышавшая свист кнута.

Он молчал всю ночь — путники провели ее на корабле — и все утро, пока не тронулись в путь. Но, когда остался в тумане обледенелый, фантастический корпус корабля и снег запел под полозьями, он начал ругать Воронова. Он ругал его долго и с наслаждением за то, что тот отдал провиант Петухову и теперь он, Харченко, умрет.

— Ты отдал, сволочь, — кричал он, перекрикивая ветер, — ты отдал три пайка солонины. Я бы мог три дня питаться мясом. А ты отдал! Ты все наше мясо отдал! Сколько мяса!

Он начал преувеличивать запасы, отданные Петухову. В его воображении то были горы еды. Он говорил, что можно было устроить роскошный пир из продуктов, отданных Петухову.

Он опять начал изобретать яства и сочинять пиры, но теперь это были пиры из продуктов, оставленных Петухову. Воронов молчал. Чтобы утешить попутчика, Воронов сказал только, что в Павловской избушке есть провиант. Диксоновцы припасли его для путников тундры. И Харченко стал мечтать о Павловской избушке.

Он представлял ее дворцом. Он расписывал богатства, убранство ее, и горы еды на столах, и полные закрома, кладовые, подвалы... А Воронов слушал и молчал. Сам он не был уверен, что в избушке Павлова есть еда.

Они были в дороге уже семнадцать суток. Провизия кончилась. На мысе Бражникова даже избы не оказалось, пришлось ночевать в снегу. Харченко снова начал кричать о своей неминуемой смерти, но делать было нечего: залез в ямку и мгновенно уснул.

Но этот человек не умел спать в снегу. Как умудрился он обморозить ноги, Воронов понять не мог. Но ноги были подморожены, в этом Харченко сознался. Сознался с таким злорадством, что Воронов только голову втянул в плечи и ничего не сказал.

Но теперь была близка Павловская избушка, а за ней уже и Диксон. В избушке оказалось изобилие еды и топлива. Харченко затрясся, увидев все это. Жадными, трясущимися руками он начал хватать банки и свертки, набивать ими карманы, потом потащил к нарте, стал прятать там. Это было безумие голода. Из его рук падали на пол банки с паштетом, коробки кофе, круги сыра... Он хотел все это подобрать и унести, но еще чаще ронял, возился на полу, чуть не плача от злости.

— Брось! — крикнул на него Воронов. — Брось все!

— Бросить? Бросить? — удивился Харченко и вдруг захохотал. — Нет, нет, не брошу. Все унесу.

— Брось! — приказал Воронов. — И после тебя здесь пройдут люди.

— После меня! — закричал Харченко, но осекся, вероятно вспомнив историю с Петуховым. Видимо, были вопросы, в которых Воронов был неуступчив.

И тогда Харченко захотел показать, что и он понимает законы тундры. Вырвал лист из суточного журнала и написал, любуясь своим почерком:

«Василий Васильевич Харченко и Федор Воронов проездом из Гольчихи на Диксон на девяти собаках дневали и ночевали здесь».

Дальше следовал перечень взятых припасов: дров на три топки, керосин для лампы, две свечи, сахара сто восемьдесят золотников, масла, паштета банку, мяса, сосисок, молока, кофе и т. д. Отмечалось также, что сломали нож при открывании консервов. Затем объявлялась благодарность оборудователям избушки. Харченко подписался первым. Это и была та записка, которую я нашел в архиве на Диксоне.

Теперь до острова оставалось всего двадцать пять километров. Харченко блаженно храпел, а Воронов сидел и занимался невеселой арифметикой: вот думал за десять дней обернуться, но уже восемнадцать дней прошло, а они еще не доехали. В пути были тридцать шесть часов, все остальное время ушло на откапывание избушек, на сон да на выжидание погоды. Он посмотрел на спящего спутника. Ну, теперь скоро конец. Он вспомнил, что нынче канун Нового года. «Хорошо, что встречаю его в тепле и в избе, — подумал он, как истинный северянин. — Пусть весь год будет таким!»

— Через три часа будем на Диксоне, — весело сказал Воронов Харченко, когда тот проснулся.

— Господи, наконец-то! — воскликнул Харченко и вдруг хитро подмигнул глазом. — Что? Не удалось меня замучить? Не удалось? Что? — И он начал весело хохотать и хлопать себя по ляжкам.

Воронов вышел из избы. Было темно в мире, и небо темное, беззвездное, и снег темный, мутный. Диксон близко. Если поехать напрямик через залив, через два часа можно быть там. Найдешь ли только островок во тьме среди груды других островков? Воронов подумал о Харченко и решил держаться Восточного берега. Дальше, но надежнее.

Тронулись в путь.

— У меня мерзнут ноги, — вдруг объявил Харченко.

Воронов посоветовал ему пробежаться немного.

— Я вам не собака бегать! — закричал Харченко. — Отчего вы едете берегом, а не напрямик?

Воронов объяснил, что он никогда не был на Диксоне и не берется найти остров в тумане.

— Я знаю, знаю Диксон! — завопил Харченко. — Я найду.

— Я не верю в ваше знание.

— Не верите? О! — Он даже задохнулся от ярости. — Сворачивай в залив, сволочь...

Воронов с размаху воткнул остол в снег. Нарта остановилась.

— Послушайте! — сдерживаясь, произнес Воронов. — Я не поеду через залив. Я не верю, что вы найдете Диксон. Вы ничего не умеете, даже спокойно сидеть на нарте не можете. Вы — презренный человек...

Но Харченко не дал ему говорить дальше. Он опять закричал о своей неминуемой гибели и осыпал Воронова градом ругательств и упреков.

— Хорошо! — сказал тогда Воронов и торжественно поднял руку. — Слушайте меня внимательно. Я против поездки через залив. Я не верю в ваше знание острова и в вашу память. Слышите вы?

— Слышу...

— Даете вы честное слово, что за последствия не будете винить меня?

— К чему эта церемония? — закричал Харченко.

Но Воронов сурово перебил его:

— Даете честное слово? — В его голосе слышалась торжественность. Он требовал клятвы здесь, под темным небом полуночной тундры, чтоб снять с себя ответственность за жизнь человека. О своей жизни он заботился мало.

— Даю, даю... — пробормотал Харченко, и Воронов свернул в залив.

Прошло два, и три, и четыре часа, а диксоновских изб не было. Путники находились теперь на льду среди груды унылых скал и островков. Стало ясно: они проехали Диксон, уехали в море.

— Ну? — спросил Воронов.

Но Харченко только заплакал в ярости. Он сидел на нарте и плакал. Слезы замерзали на его щеках. Воронов брезгливо отвернулся.

Начиналась пурга. Воронов бросился к нарте, на которой плакал Харченко, и поволок ее за гору. Затем выкопал яму в снегу, постлал кошму, уложил Харченко, укрыл его брезентом и попросил его не спать.

— Не спите, не спите, пожалуйста, — повторил он много раз. — Заснете — замерзнете.

Сам он не спал. Ходил вокруг, прыгал, чтобы согреться, и все глядел на восток, в ту сторону, где должен был быть Диксон. Но вокруг были однообразные черные островки и скалы... Так прошло три дня. Ни люди, ни собаки ничего не ели. Воронов ни разу не улегся в яму, он спал на ходу, он все время был в движении, он знал, что уснуть — означало умереть. А ему нельзя было умереть. Что же тогда будет с Харченко?

Харченко все время лежал в яме и либо спал, либо плакал. То и дело доносилось до Воронова из сугроба:

— Откройте, мне жарко.

Тогда Воронов открывал Харченко, но через полчаса:

— Мне холодно. Закройте меня.

И Воронов накрывал его брезентом, на который опять наметало сугроб снега.

— Не спите, — умолял спутника Воронов. — Пробежитесь, походите, зазябнете так.

— Я не глупее вас. Я сам знаю, что мне хорошо и что плохо.

Ему было хорошо сейчас — он лежал в яме, в тепле, и спал. Не надо ни двигаться, ни ходить, ни бегать. Только спать, спать и ни о чем не думать! Когда думаешь — грустно и хочется плакать. Когда спишь — сыт и счастлив.

Но голод мучил его, как и Воронова, как и собак. Он не мог безропотно переносить голод. Проснувшись, он кричал:

— Дайте мне есть!

Он требовал еды настойчиво и сердито. Отчего ему не дают кушать? Он проснулся, он хочет есть.

Воронов напрасно стал бы объяснять ему, что пищи нет. Он сделал умнее: он отдал Харченко весь запас отрубей — двадцать фунтов, — единственное, что осталось у путников. Харченко стал жевать отруби. Все же это была еда. Его челюсти работали. Он поел и сказал, — что ничего, есть можно.

Так прошло еще два дня. Пурга неистовствовала. Напрасно взбирался Воронов на холмы и на скалы, надеясь в просветах пурги заметить огонь диксоновского маяка или мачту. Ничего не было видно. Белая дрожащая пелена. Страшный мутный морок. В вое пурги Воронову то и дело слышался плач Харченко.

Воронов ходил вокруг нарты и думал. Что было делать? Он был привязан к этой горюшке, к

этой нарте, к этой яме, где то плакал, то спал человек, который не умел даже бороться за свою жизнь. Воронову приходилось бороться за обоих. Он должен спасти Харченко, который сам ничего не сделает для своего спасения. Но для этого нужно уйти, излазить все острова, все скалы, все бухты и заливы и найти обязательно либо Диксон, либо Павловскую избушку.

Он бы и ушел. Но Харченко... Он не способен брести по тундре, а собаки слишком слабы, чтобы тащить его. Что же делать? Что делать, черт подери!

Воронов ходил вокруг горы, постукивая ногою о ногу, и думал. Шестые сутки он уже ничего не ест и не спит. Еще два-три дня — и он свалится, как Харченко, и тогда уж никакой надежды на спасение. Тогда — конец. Сейчас, пока в нем есть еще силы, надо идти, идти, искать... А Харченко?

Ну что ж, пусть решит Харченко. Он — слабейший.

Растолкав Харченко, он объяснил ему положение вещей.

— Не уходите! — закричал Харченко и схватил товарища за ногу цепкими пальцами. Он держал его крепко, до боли впиваясь в тело, не желая отпускать, боясь остаться один в этой мертвой, чужой тундре, в вое пурги...

— Хорошо! — спокойно сказал Воронов. — Я не уйду. Погибнем вместе.

И тогда Харченко завыл. Не заплакал, не закричал, а завыл страшно, тоскливо, как воет волк.

Воронов сидел рядом и молчал. Он не утешал, не успокаивал Харченко. Он знал, что теперь — конец. Конец обоим. Но он не мог покинуть попутчика.

Когда Харченко затих, Воронов встал.

Харченко следил за ним испуганными глазами.

— Послушайте! — вдруг прошипел он. — Дайте мне ночь... одну ночь... подумать. Завтра я вам скажу...

— Хорошо! — согласился Воронов.

Харченко думал всю ночь. Теперь он уже не спал, не мог уснуть. До Воронова все время доносились всхлипывания, потом шепот, словно чтение молитвы, потом судорожный кашель и плач.

Утром Воронов отрыл Харченко и ужаснулся — лицо спутника было страшным: щеки обвисли, глаза вышли из орбит.

— Я думал, — тихо произнес Харченко. — Я всю ночь думал. Всю ночь. Я не смогу идти с вами... Я... я даже сидеть теперь не могу. На мне все сгнило.

Воронов разрыл яму и увидел, что Харченко весь мокрый. На Воронова пахло острой вонью и прелью. Он стащил с Харченко полусгнившие бокари и дал ему свои запасные, сухие.

— Вы вернетесь за мной, да? — бормотал Харченко. — Миленький, дорогой... Я ругал вас всю дорогу... Я извиняюсь... Но вы вернетесь за мной, правда?

— Вернусь!

— Вы клянетесь? — крикнул Харченко. — Клянитесь, что вы не покинете меня, как собаку... — И он заплакал.

— Я вернусь! — просто ответил Воронов.

Через полчаса он ушел, предварительна заботливо укрыв Харченко и положив ему под брезент собаку и ведро отрубей.

Он пошел сначала на юг, потом на восток; собаки покорно побрели за ним. Ни разу он не обернулся на горушку, под которой лежал Харченко. Но в вое пурги ему слышалось: «Вы вернетесь, голубчик, вернетесь, да?»

Это был восьмой день голодовки. Он еле шел, еле тащил за собой нарту. Одна собака упала. Он наклонился к ней — мертва. Он топором разрубил ее на семь частей и бросил собакам.

Шесть собак съели свою долю, седьмая не притронулась. Тогда ее долю взял Воронов.

Собаки уже не могли брести за ним, он уложил их на нарту и привязал веревками. Потом впрягся в нарту и поволок ее. Довольно уж собаки повозили человека, теперь он повезет их. Не бросит.

Он брел так еще день. Вокруг него все так же бесновалась пурга, осыпала его ворохами снега, а он все шел да шел, сам не зная куда, ничего не видя перед собой в этом белом мраке. Иногда возникали какие-то смутные очертания скал, потом они пропадали, он все шел, упрямо передвигал ноги, тащил нарту. Упал. Лежал ничком на снегу, думал — не встанет больше. Щека, которою он прижался к снегу, начала мерзнуть. «Отморожу ее, отморожу!» И он заставил себя встать и идти.

Так он брел еще пять часов и вдруг увидел дрова, сложенные в штабеля. Он обрадовался и чуть не закричал. Потом увидал мачты корабля. Не понял, откуда здесь корабль, но задумываться не стал. Люди, значит здесь люди! Он побежал к ним, взбежал на шхуну, крикнул:

— Эй, люди! Товарищи!

Какие-то бородатые люди окружили его. Волнуясь, он начал рассказывать о Харченко. Звал их с собой, они не понимали его. Они не понимали по-русски. То была норвежская шхуна «Хеймен», искавшая людей экспедиции Амундсена и зазимовавшая у Диксона, в маленькой бухте, которая ныне называется бухтой Хеймен.

Воронов начал знаками объяснять им свое положение. Он кричал: «Товарищ, товарищ мой погибает!»

Поняли ли его норвежцы? Вероятно, поняли. Они спросили, чем могут помочь.

Он спросил: далеко ли до Диксона? «Диксон, Диксон, Диксон», — много раз повторял он. Ему показали на ручных часах: два часа туда и обратно.

Тогда он попросил их немедленно снести записку на Диксон. Он тут же написал ее. Писал, дуя на пальцы, чтобы сделать их послушными. Это и была та записка, которую я тоже нашел в архиве Диксона. Она начиналась так: «Нас, то есть меня и Харченко, постигла судьба несчастья», — потом следовало описание злоключений и просьба «возможно скорее приехать, дабы успеть спасти жизнь человека, Без меня вы Харченко не найдете, а я место найду сразу. К завтраму я совершенно оправлюсь и вполне смогу следовать за вами. Но торопитесь, торопитесь, пожалуйста».

Норвежцы доставили записку на Диксон и привезли ответ: люди завтра будут. Воронова и его собак накормили — он лег спать. Но спалось ему плохо: все снился Харченко. Все слышался его плач.

Утром приехали фельдшер с Диксона и радист. Воронов успел к этому времени высушить и починить бокари и был готов в дорогу.

Он сразу нашел горушку, где оставил Харченко.

— Харченко! — закричал он, спрыгнув с нарты.

Ему никто не ответил.

— Харченко! Харченко! — снова закричал Воронов и испугался: «Умер! Зачем, зачем же принял я все эти муки?...»

Он стал нетерпеливо разрывать яму и все кричал:

— Харченко! Харченко!

Наконец отрыли Харченко. Он был жив. Он поглядел на Воронова и засмеялся:

— Вернулся, голубчик!

Через два часа Воронов и Харченко были уже на Диксоне. Харченко уложили в отдельную комнату. Его положение было скверным. Он все время бился в судорогах, казалось, что он неминуемо умрет.

Все эти дни Воронов ходил сумрачный. То и дело справлялся у фельдшера о здоровье Харченко. К Харченко он, однако, не зашел ни разу.

Наконец фельдшер сказал, что Харченко стало лучше.

— Ага! — обрадовался Воронов, и его лицо просветлело. — Значит, он выздоровеет?

— Да. К тому идет дело.

— И жизнь его вне опасности?

— Вполне.

— Ага! Очень хорошо. — И Воронов весело заходил по комнате.

— Да вы можете сами поглядеть на него. Молодец молодцом! Зайдите! — сказал фельдшер.

— Я?

— Заходите.

— Нет-нет, — замахал руками Воронов. — Нет. Зачем же?

— Как зачем? — удивился фельдшер.

— Зачем, ведь вы говорите: он выздоравливает?

— Ну да! — смутился фельдшер. — Потому-то, думал я, вы и зайдете. Приятели ведь...

— Нет, нет! — закричал Воронов. — Я видеть его не могу. Противно. Что вы!

Воронов вдруг подошел к фельдшеру и сказал, глядя прямо в глаза:

— Вы видели когда-нибудь, чтобы мужчина плакал... на морозе. Понимаете, на морозе?..

Ну вот...

В тот же день Воронов, так и не повидав Харченко, уехал вместе с обозом диксоновцев, направлявшимся в Варзугину бухту, на помощь Петухову.

ЗДЕСЬ БУДУТ ШУМЕТЬ ГОРОДА...

Ветер — десять баллов. Шторм. Огромный человек стоит, широко расставив ноги. Его шатает, сшибает ветром, он упорствует.

О сапоги, о полы кухлянки яростно бьются волны снега; снежная пыль клокочет, как пена. Человек ссутулился и закрыл лицо обледеневшим шарфом.

Все бело, мутно, призрачно вокруг — ни ночь, ни день, ни земля, ни небо. Реального мира нет — все иссечено пургой, засыпано снегом. Ни линий, ни очертаний. Все взвихрено, вздыблено, подхвачено ветром и брошено в игру.

Один человек реален в своей синей кухлянке с капюшоном и в кожаных сапогах.

Он один стоит, вокруг все в движении. Мимо него с грохотом проносятся камни, обломки льдин, сугробы снега, кочки, покрытые жалким мхом. Осатанелый поземок рвет снежный покров тундры; миллионы снежных песчинок приходят в движение: оголяются горы, бугры, скалы; все срывается с места и мчится, повинувшись ветру. Весь мир — мутный, косматый, колючий — со свистом проносится мимо человека.

Уже трудно стоять на месте и сопротивляться движению. Надо прятаться, как спрятались птицы и звери, или идти. Но человеку в кухлянке некуда идти и негде спрятаться: его машина уткнулась мотором в снег и замерзла, дырявый брезент над кузовом почти не защищает от ветра. Вокруг ни жилья, ни костра, ни дыма.

Человек в кухлянке вытягивает шею, словно хочет что-то увидеть впереди. Огромная ноша сугулит его спину. Это ветер. Ветер сидит на его плечах и злобно толкает вперед. Человек упорствует. Ветер крепок, но человек крепче.

Вокруг все охвачено стремительным, порывистым движением. Это не вихрь, не слепая пурга, не смерчи. Это — бег. Бег ураганной скорости. Непрерывный и целеустремленный бросок вперед.

В нем есть направление: на норд-вест, к морю. С гор срываются голые медно-зеленые камни и, грохоча, подпрыгивая, мчатся на норд-вест. В заливе с шумом валяются острые торосы, и обломки их, перекатываясь, ломаясь, крошась, несутся на норд-вест. Взлохмаченная ветром тундра дымится, по ней кочуют сугробы — на норд-вест, на норд-вест! Вздымая вороха снега, стремглав проносится поземок — на норд-вест, на норд-вест! И кажется, что вся тундра рванулась и понеслась, подгоняемая ветром, на норд-вест, к далекому морю.

Один только человек стоит на месте, лицом к северо-западу, и не делает вперед ни шагу. Шарф уже не защищает его лица, шарф сорвало ветром, он еще трепещется вокруг шеи, надувается и вдруг, развернувшись по ветру, бросается на норд-вест. Свистя и воя, проносится мимо косматый мир.

И тогда человек поворачивается против ветра. Он делает это медленно, очень медленно. Ему приходится преодолевать сопротивление страшной силы: плотную стену шторма. Он разворачивается по кругу, как самолет: сначала заносит правое плечо и вытягивает правую руку, потом делает полуоборот и принимает удар ветра в грудь, выдерживает его и остается на ногах, потом делает еще полуоборот и закрывает лицо руками.

Теперь он стоит против ветра. Яростный, колючий ливень хлещет ему в лицо, словно бьет тысячами хвойных веток. У человека выступают слезы на глазах, текут по щекам и замерзают. Лицо одеревенело, он не чувствует больше кожи. Судорожным усилием открывает он рот, чтобы вздохнуть, и пугается, что кожа на щеках лопнет, потрескается.

Слишком много ветра: человек задыхается, вот с шумом лопнут легкие.

И тогда он начинает кричать.

— Эгей! Ты! Дурак! — Его голос тонет в вое пурги, но он упрямо и зло кричит ветру: — Ты! Дурак! Ну? Иду. Слышь? Иду. Ну? Гей, ты!

Ему кажется, что, когда кричишь, легче идти. Он начинает даже петь — зло, остервенело. Но на песню не хватает дыхания. Можно только кричать, судорожно, отрывисто: «О-о! А-а! Ге-ей!» — или выть, как воет волк.

Каждый шаг дается с бою. Было бы легче ползти, но человек упрямо держится на ногах, падает и подымается. Идет, разрывая руками плотную завесу ветра. Задыхается, сопит, сплевывает густую слизь, но идет.

И вот, наконец, из белесой мглы выступают мутные очертания чего-то темного и бесформенного. Наконец-то! Он торжествующе машет кулаком вьюге, приподымает брезент и влезает в машину. Он — «дома».

Он трет снегом замерзшие щеки.

— Игнат, ты? — слышит он голос товарища.

— Да, я.

— Ну?

— Что — ну?

— Разведаль?

— Разведаль.

— Ну? Тише стало? Скоро поедет?

Игнат угадывает в голосе товарища надежду, но отвечает безжалостно и насмешливо.

— Стихло, Костик, спи. Десять баллов. — И зло, невесело смеется.

...Проходит много часов, сколько — неизвестно: никто не смотрит на часы. Времени нет, есть ветер; и люди прислушиваются к ветру. Иногда им кажется, что шторм стихает. Они поднимают головы и чутко прислушиваются.

— Ты слышишь? — перекликаются они. — Слышишь?

Но новый порыв ветра задувает надежду, она гаснет, как искра в степи. Люди опять опрокидываются навзничь и затихают, съежившись в своих мешках. Игнат делает вид, что беспечно храпит, Костик вздыхает. В третьем мешке кто-то тихо стонет и кашляет. Откуда-то сверху непрерывно сеется мелкий снег, падает на лицо и тает, но к этому уже привыкли.

— Это ветер... — бормочет Костик. — Он не кончится никогда. Он будет вечно. Что делать, что делать?

Он замолкает на минуту и снова бормочет, не обращаясь ни к кому:

— Что делать, что делать, черт подери!

— Ждать! — раздается резкий голос из третьего кукуля.

Костик вздрагивает и умолкает.

В тишине слышно, как стонут доски кузова. Игнат ползком подбирается к черному ящику у борта. Это маленький простенький радиоприемник с репродуктором «рекорд». Игнат надевает наушники, все поднимают головы и жадно прислушиваются. Из трубы вырывается злобный свист, словно радиостанции транслируют не музыку, а пургу.

— Москва, — вздыхает Костик. — Москва...

Свист репродуктора сливается с воем пурги. От этого кажется, что ветер стал еще злее, еще неистовей. Игнат сбрасывает наушники и молча залезает в кукуль.

— Ждать? — бормочет Костик. — До каких пор ждать, профессор? Пока наши скелеты занесет снегом? Когда едут на собаках, можно по крайней мере съесть собак, а мы...

— Ждать! — снова раздается голос профессора, и снова поспешно умолкает Костик.

Он долго ворочается в своей меховой клетке. Ему хочется говорить, слышать человеческие голоса. Он прислушивается к шумному дыханию товарища и произносит:

— В Москве я жил на Патриарших прудах... Вы знаете эти пруды? Белые зимой и зеленые летом. Отчего человеку не сидится на месте?

Он ждет. Никто не подхватывает беседы. С шумом хлопает надутый ветром брезент.

— Мальчиком я мечтал о парусах, — шепчет Костик. — Я хотел стать моряком, а стал геологом. Но никогда, даже в самых безумных мечтах, я не представлял себе, что буду, как крыса, подыхать в мешке, пропахшем псиной. — Он снова ждет и, не выдержав тишины, кричит: — Да скажите хоть слово, ну же!

Он с шумом переворачивается на левый бок и задевает ногой кучу минералов, сваленных у борта. Камни с грохотом катятся по полу. Слышен звон разбитого стекла.

— Бутылочка? — испуганно вскрикивает профессор. — Вы разбили...

— Нет, нет... — торопливо отвечает Костик. — Это фонарь.

— А-а! — успокаивается профессор. — То-то!

— Я храню бутылочку при себе, профессор. Если б это был слиток золота, я б не мог его хранить бережнее.

— Это больше чем золото, Костик. Это нефть.

— Да, да... Нефть. Я знаю. Нефть — это жизнь. Если мы будем живы и, наконец, попадем в Москву — вы ведь верите в это, профессор, правда? — мы будем рассказывать, как нашли нефть на сопке. И эти капли... как они сочились по песчанику и дрожали в бутылке, куда мы собирали их. И пахло нефтью. Вкусный запах. О, если мы будем жить!..

— Костик! — с досадой перебивает его профессор. — Отучитесь, пожалуйста, разговаривать белыми стихами. Геологу это не к лицу.

— Слушаюсь, профессор, — обиженно шепчет Костик и умолкает.

В машине становится совсем тихо. Изредка только раздаются хрипы и кашель профессора, он хочет подавить их, но от этого кашляет еще сильнее.

...Проходит еще много долгих часов.

Шторм стихает. Его удары слабеют, в них нет уже прежней ярости. Рев переходит в ворчанье, в нем чувствуется сытость. Все ниже припадает к земле ветер. Обессилив, он уже не летит, а ползет. Мутная пелена, окутывавшая мир, рассеивается, все становится на свои места, мир снова реален. Белые горы. Белое небо. Белая тундра.

Среди этой безмолвной белой пустыни чернеет маленькая точка. Теперь видно: это грузовик-вездеход. Радиатор укутан ватным чехлом (на чехле снег), верх кузова затянут брезентом (на брезенте снег), резиновые гусеницы машины глубоко утонули в снегу. Вокруг — ни живой души, ни человеческого следа. Даже колею, пропаханную вездеходом, давно замело, и кажется, что вездеход ниоткуда не пришел и никуда не идет.

Но вот зашевелился брезент, посыпался снег и из машины вылез человек в кухлянке. Он распрямляет плечи, потягивается — слышно, как хрустят его кости, — потом сбрасывает кухлянку. Теперь он в пыжиковой рубаше, в пыжиковых штанах мехом наружу, в капелюхе и огромных, по локоть, шоферских рукавицах. У него цыганское острое лицо, смуглое или немывтое, большой хищный рот, большие зубы.

Он долго стоит и насмешливо смотрит на горы, на тундру, на небо. «Ну, — словно хочет сказать он, — утихомирились?» По земле струится поземок, словно бегут серебряные ручьи; заструги похожи на каменистое речное дно.

— Веселый месяц май! — насмешливо произносит механик, сплевывает и лезет в кабину.

Скоро он снова появляется. Теперь в его руках лопата. Он вонзает ее в снег, а сам медленно идет вокруг машины, по-хозяйски оглядывает ее, остукивает, ощупывает, качает головой. Потом

берет лопату и начинает отбрасывать снег. Снегу много, машина вся в сугробах.

Он работает споро, машисто, не разгибаясь. За его спиной вырастают горы мягкого снега.

Он один в движении, — вокруг все оцепенело. Стынут горы, неподвижна безголосая тундра, в белом небе едва заметно перемещаются облака. Все уgomонилось, замерло, уснуло. Во всем лад и покой — тот неправдоподобно кроткий покой, какой бывает только после шторма. Кажется, что сугробы, заструги, обломки скал, торосы — все, что примчал, разломал и взъерошил ветер, — все это было здесь вечно, всегда все было так, как сейчас: сонно и неподвижно.

Один человек в движении. Его руки, плечи, спина — все в ходу. Рушатся под лопатой сугробы, снежная пыль клокочет, как пена.

Теперь верится, что вездеход пойдет. Ломая торосы, отшвыривая прочь твердые комья снега, — пойдет, пойдет!

За спиной Игната раздается скрип шагов. Не оглядываясь, он знает: это Костик.

Костик идет, чуть пошатываясь. Это бледный, худощавый юноша, в дымчатых очках, с редкими русыми волосами. Его лицо осунулось, щеки впали, вокруг рта две новые глубокие морщинки.

Он идет медленно, как больной, тяжело опираясь на лопату. Наклоняется, берет в горсть снег, жадно ест его и кашляет. Он кашляет долго и мучительно, но, откашлявшись, снова ест снег. Потом подходит к Игнату и весело смотрит на него, щурясь от сияния снега.

— Значит, поедem, Игнат? А? Поедем?

— Что Старик? — глухо спрашивает Игнат.

Костик темнеет.

— Плохо, — тихо отвечает он. — С минуту молчит, потом прибавляет, сморщившись: — Очень плохо.

— Что он говорит?

Костик пожимает плечами.

— Ты же знаешь Старика: он ничего не скажет.

Игнат слушает, нагнув голову. Снег вдруг начинает тускло поблескивать, — это солнце прорвалось сквозь строй облаков. Потом Игнат произносит:

— Он не скажет!

Оба долго молчат, смотрят в землю. Потом Костик вдруг яростно замахивается лопатой и начинает работать. Его движения нервны, порывисты, суетливы. Он тяжело дышит.

Игнат лезет в кузов и вытаскивает оттуда два небольших бидона. Он несет их, бережно прижимая к груди.

Но, прежде чем начать заливку, он подымает руку и долго шевелит пальцами; по пальцам струится обессиленный ветер. Игнат поворачивается спиной к ветру и начинает заправлять машину. Он льет бензин осторожно, бережно, боясь пролить хоть каплю, — так голодный режет хлеб на ладони, чтоб не уронить крошек.

Уже пуст бидон, но механик все трясет его над баком. Стекли последние капли. Бидон пуст, и тут уж ничего не поделаешь. Вздыхнув, он берет другой.

С лопатой на плече подходит Костик. Он втыкает лопату в снег и глядит, как работает товарищ.

— Это... последний? — спрашивает он робко.

Игнат не отвечает. Слышно, как булькает бензин в баке.

— Я хотел сказать тебе, Игнат, — робко продолжает Костик. — Вот... Мы чертовски богаты. У нас есть еще банка сгущенного молока... Единственная...

— Старик, — отрывисто бросает механик.

— Полплитки шоколаду...

— Старику.

— И галет одна пачка. Все, — он разводит руками. — Больше ничего нет.

— Галеты — тебе.

— А ты?

— Я? — Игнат прислушивается к бульканью бензина в баке, и его лицо чуть-чуть светлеет.

— Старику очень плохо, — снова начинает Костик. — Очень. Очень, — он вкладывает в это слово все: муку свою, и отчаяние, и страх.

Игнат хмурится.

— Он не жалуется. Он говорит — ждать. И шутит даже, и даже смеется, — продолжает Костик, — но ведь я-то вижу. Как он стонет, когда думает, что мы спим!

Игнат подымает бидон, ставит его на капот и слушает, хмурясь.

— Никогда он не был так плох, — шепчет Костик. — Я ведь его... я ведь его давно знаю. Я лекции его слушал... Я к нему зачеты сдавать бегал. У него больное сердце, но сейчас... эта дорога, пурга, голод...

— Мы скоро тронемся, Костик, — говорит Игнат. — По-моему, мы теперь верно едем...

— Видишь, Игнат, — Костик подходит ближе к механику и кладет руку на бидон. — Видишь ли, он очень слаб. Я боюсь: довезем ли? Сердце... это, это, брат... Вот ты не знаешь этого...

— Магнето...

— Да. Вот я не доктор, конечно, а кажется мне, что совсем ослаб Старик. Вот я еще держусь, я молодой. Ты? Ты — буйвол. А он... Ему бы, Игнат, горячего чего-нибудь. А? Горячего молока, например. Как ты думаешь? А?

Игнат темнеет и берег бидон.

— Вот именно, горячее молоко, — убежденно шепчет Костик. — Понимаешь? Это согрело бы его. А? Мы довезли его тогда... живым до базы. — Он заглядывает в цыганское лицо товарища, часто моргая, ищет его взгляда, но встречает холодный свинцовый блеск глаз и опускает голову.

— Не дам, — произносит Игнат и отворачивается.

— Но ведь Старик, понимаешь, наш Старик умирает! — кричит Костик, но, испуганно бросив взгляд на кузов, давится криком.

— Не дам.

Наступает долгое молчание. Игнат стоит, крепко стиснув зубы. Его лицо сейчас неприятно: остро выдается вперед тяжелая сильная челюсть, холодно блестят глаза. Костик тихо плачет.

Чуть вздрагивает челюсть Игната.

— Ты думаешь, — тихо произносит он, — ты думаешь, я люблю Старика меньше твоего?

Он смотрит на бидон, потом решительно хлопает по плечу Костика.

— Пойдем!

— Что? — вздрагивает тот.

— Пойдем к Старику. Пусть скажет. Я дам.

— Нет, нет, — пугается Костик.

Игнат пожимает плечами: «Как хочешь», — долго молчит и, наконец, произносит:

— И даже если Старик сказал бы «дать», я бы не дал. Потому что... — он запинается и говорит, глядя себе под ноги: — потому что я не только люблю Старика. Я, брат, да моя машина за его спасение отвечаем.

— Но ведь пол-литра... Всего пол-литра проклятого бензина в примус и...

— Пол-литра — это полтора километра.

— И ты из-за полутора километров... отказываешь Старику? Игнат!

Игнат берет бидон и трясет его. Звонко булькает жидкость.

— Слышишь? — спрашивает он. — Тут все. Последние капли. Мне они крови моей дороже. Сказал бы ты: дай Старику своей крови стакан, литр, ведро. Я бы глазом не моргнул — дал бы. А бензину не дам. Не дам! Слышишь? — угрожающе кричит он, но, тотчас же опомнившись, ставит бидон на бак и другим уже тоном, шепотом говорит Костику: — Я считал и пересчитывал, Костик. Слышь: бензину до базы не хватит. Сколько не хватит? Не знаю. Знаю: сколько не хватит, столько нам идти пешком.

— Неужели так скверно? — бормочет Костик.

— Я экономил, как мог, — пожимает плечами Игнат. — Я дрожал над каждой каплей.

Он подходит к мотору, кладет руку на бидон и вопросительно смотрит на Костика.

— Ну? — глухо спрашивает он.

Костик безнадежно машет рукой.

Он слышит, как, звеня, падают в бак последние капли.

— А галеты я на три части разделю, — бормочет он. — Старику, мне и тебе.

— Друзья! Друзья! — вдруг раздается голос из машины. — Что же вы?

— Старик! — торопливо шепчет Костик, и оба бросаются на голос.

Старик стоит во весь рост в кузове и укоризненно смотрит на часы. Он высок и худ, но далеко не стар. Ему не более пятидесяти. У него ясные, детские глаза, но под ними тяжелые синие мешки. Его лицо покрыто давним загаром (обветренное лицо геолога), но сейчас оно опухло, покрылось отеками. Он болен и, вероятно, уже сам сознает это.

— Шестнадцать пятьдесят по-местному — это двенадцать пятьдесят по-московски, — качает он головой. — Что же вы, товарищи хорошие? Ай-ай-ай! Вот не догляди я — и упустили бы...

Игнат поспешно ставит пустой бидон наземь и бросается к кузову. Сдирает брезент, откидывает борт. В кузове на полу там и сям брошены спальные мешки. В углу аккуратно сложены пустые бидоны, инструмент, палатки, ящики — все имущество партии. В мешках груды камней, очевидно образцы. В другом углу, ближе к стеклу кабины шофера, радиоприемник. К нему-то и бросается Игнат. Растягивается на полу, надевает наушники.

Костик подтягивает спальные мешки ближе к репродуктору. Все усаживаются. Старик поджимает под себя по-турецки ноги и нетерпеливо глядит в черную трубу. Она покрыта серебристой изморозью. Так тихо, что слышно, как тикают часы на руке Старика.

Люди молчат. Нестерпимая тишина царит в мире. Оцепенела тундра, и дальний крик полярной совы умолкает, не встретив отклика. Старик тоскливо смотрит на часы: 17.10. Он тихо вздыхает.

— Прозевали, — и смотрит на товарищей.

Вот они все здесь, на одиноком, затерянном в снегах вездеходе. Мир забыл их, молчит, и это страшнее, чем голод.

Игнат нетерпеливо возится у приемника. Меняет настройку. Он был бы рад сейчас любой станции, даже чужой. Вдруг из трубы вырывается веселый голос диктора. Все, замирая, прислушиваются.

— А теперь, — говорит труба, — послушайте пластинку «Под крышами Парижа»...

Вкрадчивые звуки вальса, как теплый дождь, падают над тундрой.

«Париж, о Париж!» — поет эхо в горах, и Игнат начинает присвистывать эху.

Костик сидит, закрыв лицо руками, съезжившись. Его плечи мелко вздрагивают. Сначала кажется, что он просто раскачивается в такт вальсу... Париж, о Париж!.. Но вот уже не в такт трясутся его плечи, быстрее, быстрее, слышно, как сухо стучат зубы о зубы. Он стискивает руками голову и вдруг неестественно тонким, визгливым голосом кричит:

— Я не могу-у больше! — и опрокидывается навзничь. Его голова колотится о пол. Старик бросается к нему.

— Костик! Что такое, милый вы мой? Да что с вами?

Крики Костика смешиваются со звуками вальса, эхо в горах покорно повторяет и то и другое.

Старик бережно приподнимает русую голову юноши, кладет ее к себе на колени и гладит теплой ладонью по волосам.

— Ну, не надо, не надо, Костик. Ох, как нехорошо!

— Я не могу... не могу... Эта музыка, когда мы погибаем... Эта музыка!

— Заткните же радио, Игнат! — кричит Старик. — К черту Париж!

Но Игнат не затыкает радио. Он круто шагает к Костику. На его лице застыла безгловая гримаса, еще острее выдались вперед челюсти. Его кулаки сжаты, словно он собирается бить рыдающего юношу.

Он наклоняется над ним.

— Брось! — приказывает он. Его голос звучит глухо. — Брось психовать. Ну? Слышишь? Брось! Не надо. Доедем. Я тебе говорю. Выберемся. Ну?

Костик испуганно стихает. Его рыданий уже не слышно, он давится ими, и только плечи трясутся, как в лихорадке.

— Подыми голову, — командует Игнат. — Стыдно? Ну?

— Очки, — робко шепчет Костик. — Я сейчас... только очки найду. — Всхлипывая, он ползет по полу и ищет очки. Ищет долго, нарочно долго. Потом подымает голову, но старается ни на кого не смотреть. Ежится, словно ему зябко.

Игнат отворачивается и смотрит вперед, на дорогу.

— Париж, о Париж! — подпевает он, но голос его звучит сердито.

Он стоит, широко расставив ноги и засунув руки в карманы. Впереди, насколько хватает глаз, волнистая рябь тундры, — это солнце делает тундру пестрой. Дороги нет, и не к чему ее выглядывать.

— Стыдно, — шепотом произносит Костик. — Простите, пожалуйста...

Старик обнимает его за плечи, и оба молча слушают музыку. Теперь репродуктор поет о знойной Аргентине. Игнат отбивает такт ногой.

Репродуктор умолкает. Тихо в машине. И теперь слышно, как звенит очнувшаяся тундра, поет зверем и птицей. Кажется даже, что снег, тронутый солнцем, поет. Старик стоит у репродуктора, ждет...

Низко-низко над машиной пролетает белый лунь в раннем весеннем наряде — карие глазки на белых крыльях — и пронзительно кричит.

Старик вдруг встряхивается.

— В путь, дети, в путь! — кричит он, бодро похлопывая рукавицами. — По коням!

Игнат бросается к мотору, достает из кабины противень, выливает на него отработанное масло, зажигает и идет разогревать мотор.

И вдруг начинает стучать мотор вездехода. Он стучит сначала тихо и неуверенно, вспышками, то глохнет, то вновь шумит, все сильнее и упрямее.

— Слышите? Слышите? — кричит Старик Костику, его глаза блестят. — Слышите?

Что слышит он? Мотор стучит тихо и одиноко, и только эхо в горах многократно повторяет и усиливает его рокот. Но, может быть, именно к эху и прислушивается Старик? И чудится ему, что уж шумят в сопках машины, буровые станки, двигатели? И нефть бьет фонтаном?

Костик тоже прислушивается к шуму мотора. Теперь мотор стучит ровно и мерно (его уверенный голос похож на голос Игната), и Костик успокаивается.

— Поедем! Теперь поедем! — шепчет он. — Домой. К товарищам. Сейчас поедем, Николай Кузьмич.

Вездеход медленно трогается в путь. Снег начинает петь под гусеницами; вместе с рокотом мотора это лучшая музыка дороги.

Огромное небо раскинулось над путниками. В этот ясный, солнечный день оно может служить и компасом и картой. Далеко на северо-запад оно темно-сизое — там вода; море: на юг оно светло-коричневое — там земля, тундра; на ост оно голубоватое — там льды залива. Небо, словно зеркало, отражает землю. Костик смотрится в него, и ему кажется, что он видит в нем и дорогу. Она лежит на восток, уходит в голубоватую даль залива. Она прямая и чистая, обрызганная солнцем. Синие искры вспыхивают на ней.

Вдруг сильный толчок встряхивает машину. С лязгом лопаются стальной трос. В кузове все валится на пол и носится от борта к борту. Из машины вылезают Старик и Костик.

— Что случилось? — испуганно кричит Костик.

Игнат молча рукавицей указывает вперед, на дорогу.

Впереди, насколько хватает глаз, — острохолмистая зеленоватая равнина. Это торосы, дикий хаос вздыбившихся льдин.

— Что будем делать? — растерянно спрашивает Костик и тоскливо смотрит вперед: там за льдинами залива, где-то очень близко, недостижимо близко, — база.

Старик тоже смотрит вперед, на дорогу. Смотрит долго и, наконец, машет рукой Игнату.

— Вперед!

Игнат спокойно повторяет:

— Есть вперед!

Он вытаскивает лопату, отшвыривает снег, в котором завязла машина. Старик и Костик торопливо бросаются на помощь.

Теперь Старик и Костик идут рядом с машиной. Она то проваливается в мягкий, рассыпчатый снег, то, вдруг вздыбившись, как конь под уздой Игната, перелезает через торос. Она словно слита со своим хладнокровным всадником. И порой кажется, что это Игнат огромным напряжением своих мышц заставляет ее бросаться вперед, подымая ее на своих руках и неся через торосы. Но все чаще и чаще беспомощно утыкается в снег машина. Тщетно посылает ее вперед Игнат, — гусеницы увязли, машина не слушается.

Тогда с лопатами бросаются вперед Старик и Костик. Они валят торосы, отбрасывают снег, высвобождают гусеницы, чтоб через пять метров снова бросаться с лопатами на выручку. Машина медленно продвигается вперед, каждый шаг ее оплачивается нечеловеческими усилиями трех усталых, голодных людей.

...Так проходит день. Обессиленные, лежат у машины люди. Вездеход окончательно увяз среди торосов. Мотор выключен. Великая тишина стоит над тундрой..

Костик жадно лижет снег.

— Много мы прошли сегодня?

— Триста метров.

— Не много.

Молчание.

— Как далеко до базы?

Молчание.

— Далеко...

Старик вдруг поднимается на ноги и идет к машине. Он берет лопату и начинает яростно отшвыривать снег. Его пример подымает всех. Шатаясь, бредет к машине бледный Костик. Утомленный, с потухшими глазами, подымается Игнат.

Они работают молча, угрюмо, судорожно. У Костика из закушенной губы капает кровь. Он облизывает ее и продолжает работать. Никто не скажет, что Костик сдрейфил!

Иногда, разогнув на минуту спину, он с надеждой поглядывает вперед: может быть, удастся увидеть конец этой проклятой дороге? Но впереди по-прежнему громоздятся льдины, им нет конца, словно весь мир вздыбился. После взгляда на эту безнадежную картину труднее согнуть спину и начать работать.

— Ничего! — произносит Старик, словно угадав мысли Костика. — Ничего, дети мои! Челюскину было хуже... Альбанову совсем было плохо... Ничего... Главные добродетели полярника — терпение и труд.

Он хочет что-то еще сказать, вероятно смешное и ободряющее (его глаза вспыхнули хитрым огоньком), но вдруг морщится и, охнув, тихо опускается на колени. Игнат и Костик испуганно бросаются к нему. На его лице застывает гримаса нестерпимой боли, он уже не в силах ее скрыть.

— Однако худо... — с трудом произносит он. — Рубаху... — он судорожно рвет воротник. — Давит!..

Игнат наклоняется над ним и ножом режет тесемки, узлы, застежки меховой рубахи.

— Ничего, ничего, — бормочет Старик. — Это и раньше бывало. Это пройдет. Теперь легче.

Костик и Игнат бережно относят его в сторону и кладут на спальный мешок. Игнат припадает к груди Старика и слушает сердце. Оно булькает. Булькает, как горячее в баке.

И тогда срывается с места Игнат.

Он бежит к машине, нетерпеливо роется в куче инструментов и, наконец, находит топор.

Он вытирает лезвие рукавом, долго на него смотрит и вдруг яростно начинает рубить деревянный борт кузова.

Стук топора гулко разносится по тундре.

— Что он делает? Что он делает? — удивленно вскрикивает Старик. — Он с ума сошел! Игнат!

Но Костик останавливает его.

— Ничего, ничего, — шепчет он. — Тише! Он знает, что делает.

Широко раскрыв глаза, он смотрит, как рубит механик кузов. В его ярости есть система: он рубит верхние доски и оставляет нижние. Он рубит торопливо, боясь остановиться, боясь пожалеть, что начал рубку. Костик следит за ним воспаленными глазами и думает, что никогда не забыть ему этой картины: как механик рубил машину.

Игнат приносит ворох щепок, бросает на снег, говорит Костику: «Жги!» — и отворачивается.

Скоро среди торосов дымит костер. В чайнике над огнем тает снег, в снежной пустыне становится уютнее.

У костра сидят трое.

— Где-нибудь в Сочи сейчас... — задумчиво говорит Костик, — цветут магнолии. В Москве — сирень... А у нас — снег...

— Миф! Легенда! — обрывает его Старик. — Где цветут магнолии? Игнат, можешь ты поверить, что где-нибудь сейчас цветут магнолии?

Игнат смеется.

— А ведь цветут... — улыбается Старик, смотрит на снег и качает головой. — Здесь ни-когда не будут цвести магнолии. И не надо, а? Зачем нам здесь магнолии, скажи на милость.

— Ни к чему, — смеется Игнат. — Вот если б табак здесь посадить, это да...

Он высыпает из кармана на ладонь мусор и говорит:

— Поделимся, профессор?

— Кури!

Игнат закуривает.

В наступившей тишине слышно, как булькает вскипающая вода.

— Магнолии? — фыркает профессор. — Некий ученый, Довнер-Запольский его имя, всего лет двадцать назад писал в одном почтенном журнале, что север России самой природой предназначен для полудикого зверолова и рыболова и цивилизованный человек здесь может жить лишь по нужде. А? Знаешь, что мы сделаем, Игнат? В наказание этому «ученому» мы высечем эти слова на мраморе наших городов, которые будут шуметь здесь, в тундре, у самого Ледовитого моря.

Профессор смотрит на безжизненную даль залива, на белые горы, на медно-красные скалы, с которых ветром сдуло снег...

— Гигантская плавильня, — говорит он задумчиво. — Миллионы лет свершался в недрах земли титанический труд. Мы найдем его следы. Мы нашли нефть, нашли мезозойские угли. Найдем и верхнепалеозойские, типа норильских. Это, друзья, настоящий, честный, высококалорийный уголь. Пароходы пойдут на нашем угле. Камчатка получит дешевую соль, которую мы здесь добудем. Возникнут заводы, промыслы, города, театры.

— Партии строителей придут вслед за нами, — подхватывает, увлекаясь, Костик. — Они придут на больших отличных машинах, которым не страшен будет ни десятибалльный шторм, ни ветер.

— Что ветер! — усмехается Игнат. — Да мы ветер заставим вертеть наши двигатели. Экая силища!

В кастрюле вскипает молоко. Игнат бережно выливает его в алюминиевую кружку и подносит профессору.

— А вы? — подозрительно спрашивает Старик.

— И мы.

Игнат берет две кружки и, повернувшись спиной к профессору, наливает в них кипяток из чайника и капли молока из кастрюли.

— Вот и мы, — говорит он, протягивая дымящуюся кружку Костику.

Старик греет руки об алюминиевую кружку, вдыхает в себя ласковый запах молока и произносит:

— Выпьем за жизнь, которая возникает здесь и для рождения которой мы... мы... ничего не жалели.

...Подле догорающего костра, спрятавшись в спальные мешки, спит партия. Костику снится, что он в Москве, на Патриарших прудах, угощает товарищей. Странно сервирован стол: острые сахарные головы, как торосы, молоко в бензиновом бидоне, консервные банки.

Только Игнат не спит. Осторожно выползает он из мешка, озирается, прислушивается к сонному дыханию Костика и хрипам Старика — и уходит. Скоро его фигура скрывается в торосах.

На Патриарших прудах шумит пирушка. Товарищи окружают Костика, радостно трясут его руки, трясут...

Он просыпается. Над ним — Игнат.

— Пора! — говорит Игнат и идет будить профессора.

В небе по-прежнему висит большое солнце. Который час сейчас? Два часа дня или два часа ночи?

— Профессор! — докладывает Игнат. — Пора!

— Да, да, — встряхивается Старик. — Да, в путь!

— Разрешите доложить, профессор. Я сделал разведку пути. Впереди — сплошное поле торосов. Нам не пройти.

Старик хмуро слушает, вокруг рта его образуются жесткие складки.

— Ну? — произносит он.

— Докладываю также: горючее на исходе.

Старик спокойно идет к машине, Игнат и Костик — за ним.

— Я жду приказаний, профессор.

— Я ведь сказал: в путь!

...Снова скрип ломающихся льдин, скрежет торосов, хрип мотора, лязг лопат — музыка дороги.

— Сколько прошли? — шепчет к вечеру Костик.

— Пятьсот метров.

— Не много...

На привале он раздает последние галеты.

— Все, — говорит он.

— В путь! Нет продовольствия, на исходе горючее, — подводит итоги начальник. — Какое же может быть другое решение? В путь, дети мои, вперед!

Это «вперед!» профессора все время висит над Кости́ком. Он разгибает спину и слышит: «Вперед!», он бросается с лопатой к гусеницам и слышит: «Вперед!» И сам шепчет пересохшими губами:

— Вперед! Вперед!

Игнат слишком поздно догадался надеть желтые очки. Его глаза слепнут от дьявольского сияния снега. Он уже плохо видит дорогу, но упрямо бросает машину на торосы.

— Я, кажется, слепну, профессор, — бормочет он.

Вдруг машина разом останавливается. Толчок выбрасывает Костика из кузова. Он падает, подымается, привычно хватается за лопату.

— Опять торос?

Игнат сдирает с рук рукавицы, срывает очки, — он хочет быть спокойным, но движения его впервые за дорогу нервны, — и говорит:

— Товарищ начальник! Горючее кончилось.

Костик опускается на снег и испуганно смотрит на Игната.

Лицо Игната осунулось и постарело, беспомощным взглядом окидывает он свою машину, словно уже прощается с ней. Старик смотрит вперед на дорогу, потом на горы и говорит, стараясь быть насмешливым:

— Здесь, в горах... мы открыли с тобой, Игнат, тысячи тонн нефти. А ты жалуешься, что у тебя горючего нет...

Теперь они похожи на людей, потерпевших кораблекрушение. Молча сидят у заглохшей машины. Костик все время протирает очки.

Наконец Игнат нарушает молчание:

— Ждем приказаний, товарищ начальник.

— Да, да, — говорит Старик и бросает взгляд на Костика.

Костик ловит этот взгляд и краснеет.

— Ну, тогда в путь, дети, — говорит профессор. — Что же еще? В путь!

Он задумчиво смотрит на груды камней, сваленных в кузове, — плоды нечеловеческой работы в сопках.

— Прежде чем тронуться в путь, — говорит он спокойно, — надо оставить здесь записку о том, где мы нашли нефть. На всякий случай, — прибавляет он, бросив взгляд на Костика.

Он садится писать записку.

«Поисковая партия профессора Старова, отправившаяся в путь... — пишет Старик, — по маршруту... с заданием...»

Он пишет обстоятельно, сухо.

«Мы сделали все, что могли, — заканчивает он записку. — От всей души желаем будущим партиям сделать больше».

Закончив, он подписывает сам и отдает подписать товарищам.

Потом он смотрит на часы.

— Двенадцать пятьдесят по-московски, — говорит он. — Десять минут на сборы.

Костик грустно усмехается: собирать нечего.

— В тринадцать часов, — тихо докладывает Игнат, — мы еще можем в последний раз послушать «Арктическую газету» по радио.

Да, радио! Последняя паутинка, связывающая их с далеким миром.

— Хорошо, — говорит профессор. — Мы еще послушаем радио.

Они усаживаются вокруг черной трубы и молча ждут. Игнат возится у приемника. Старик поглядывает на часы. Костик думает, что сейчас, вероятно, в последний раз доведется ему слушать чужой человеческий голос.

Из репродуктора вдруг вырывается могучий ливень звуков. Знакомая величавая мелодия растет, ширится, она уже гремит над безмолвной белой пустыней, и тогда, узнав ее, поспешно и молча поднимаются со своих мест люди. Срываются шапки. Поворачиваются лицом на юго-запад. Теперь видно, что у Старика голова совсем белая.

Стихают последние аккорды, но люди еще долго стоят, обратив лица на юго-запад, к Москве.

Их пробуждает голос диктора:

— Внимание! Внимание! Говорит полярный радиоцентр на семьдесят втором градусе северной широты. Здравствуйте, товарищи полярники!

Мягкий голос диктора широко разносится окрест, и в машине сразу становится теплее и уютнее. Люди тянутся к репродуктору, как к костру, чтобы погреться, оттаять подле теплого человеческого голоса.

Они слушают новости далекого мира и удивляются им. Где-то заседают министры, соревнуются футболисты, торопятся на юг курортники... Мир живет, возится, поет и работает; и странно: заботы и радости этого далекого мира волнуют и радуют обреченных. Они жадно прислушиваются, они огорчаются и смеются, они вдыхают уже забытый аромат Большой земли... Эти люди не умеют умирать!

— Внимание! Внимание! — произносит репродуктор. — Вниманию геолого-разведочной партии профессора Старова.

Они удивленно поднимают головы.

— Слышит ли нас партия профессора Старова? Слышит ли нас партия?

— Да, да, слышим! — удивленно отвечает Старик.

— Это нас зовут. Это нас! — кричит Костик. Он вскакивает с места, мечется, суетится, не знает, что ему делать, и, наконец, снова бросается к репродуктору, тормозит Игната: — Нас зовут. Слышишь, Игнат?

— Слышу. Не мешай, — шепчет тот и обнимает за плечи Костика.

Все замирают и, затаив дыхание, ждут.

— Товарищ Старов! В третий раз передаем вам, на случай, если вы нас раньше не слышали, радиogramму для вас из базы экспедиции. Там обеспокоены вашим долгим отсутствием. Решили предпринять поиски. Отправлены три собачьи упряжки. Две в направлении: База — Сопка, по вашему маршруту, третья — на разведку в долину реки, на случай, если вы сбились с пути. Повторяю еще раз...

— Не туда! Не туда! — в отчаянии кричит в трубу Костик. — Нас надо искать в заливе Креста. Мы здесь, в заливе.

— Как жаль, — усмехается-профессор — что они нас не слышат, Костик.

— Ваша судьба, товарищи, — продолжает репродуктор, — беспокоит нас всех. Желаем вам бодрости и здоровья. Слышите ли нас? Все мы, зимовщики, желаем вам бодрости и здоровья...

Старик встает на ноги и долго смотрит на зюйд-вест. Там сгрудились медно-красные острые горы, они тянутся зубчатой грядой вдоль залива, камни блестят на солнце, как расплавленные.

— Они ищут нас там, — вытягивает Старик руку, — за этими горами... в долине.

Игнат подходит к нему. Щуря свои полуслепые глаза, смотрит на горы и тихо говорит:

— Мы перейдем эти горы. Так, профессор?

Старик порывисто оборачивается.

— Ты думаешь?

Костик прислушивается.

— Сядем, — говорит профессор и опускается на мешок, охватывает голову руками и молчит.

Костик и Игнат напряженно следят за ним.

— Видите, — говорит он наконец, — мы теперь чертовски богаты в выборе. Мы можем избрать любой способ спасения. Нас ищут и будут искать долго, пока не найдут нас или наши трупы. Я говорю так потому, что хочу, чтобы вы отдали себе полный отчет в обстановке. И сами приняли решение.

— Мы понимаем, профессор... — шепчут Игнат и Костик.

— Мы можем идти по старому маршруту, как решили полчаса назад. Дойдем? Может быть. Все-таки это шанс на жизнь. Подумайте. Мы можем остаться здесь ждать, пока нас найдут. Дождемся ли? Может быть, это тоже шанс жить. Мы можем наконец...

— Идти через горы навстречу поискам, — подсказывает Игнат.

— Да. Через горы. Риска, правда, не дойти, погибнуть от истощения и мороза. Но это тоже шанс на жизнь. Может быть, даже самый верный. Но самый рискованный. Решайте же.

— Идти через горы, — произносит Игнат.

— Через горы, — как эхо, повторяет Костик.

Старик еще раз бросает взгляд на горы, потом на Костика и встает.

— В путь! — жестко командует он и украдкой, чтобы никто не видел, хватается рукой за сердце.

Игнат уходит последним. Он долго еще оборачивается, прощается с машиной, потом отчаянно машет рукой и догоняет товарищей. Они бредут среди торосов, проваливаются в снег, выручают друг друга и снова бредут.

Вдруг Костик вскрикивает в ужасе:

— Профессор!.. Я забыл, забыл бутылочку...

— Как?

— Забыл! — растерянно шепчет Костик.

Он смотрит назад, — машина еще видна за торосами; какой мучительный путь до нее! — и

вдруг, решившись, бросается в торосы.

— Не надо, Костик, не надо! — кричит ему вдогонку профессор. — Черт с ней! Вы не дойдете. Берегите силы.

Но Костик торопливо пробирается между торосами, перепрыгивает через трещины во льду, спотыкается, падает и поспешно подымается, словно боится, что его нагонят и вернут.

— Он выбьется из сил, — бормочет Игнат. — Дьявольская дорога. Позвольте, я пойду с ним. Вдвоем легче, — он делает движение, но профессор останавливает его.

— Не надо, — говорит он сурово. — Пусть Костик сам. Мальчик становится мужчиной.

...Через два часа возвращается Костик. Он измучен, но счастлив.

— Вот, — говорит он, задыхаясь. — Вот... — и валится на снег.

Теперь бредут все трое. Они уже на подступах к горам. Видно: они упали. Лежат. Лежат долго. Потом начинают двигаться вперед. Теперь они не идут, а ползут, цепляются за острые выступы скал, позади остаются черные пятна. Они отчетливо видны на снегу. Одно пятно напоминает распростертого человека. Это кухлянка, брошенная кем-то из троих. Дальше — еще кухлянка и потом еще одна. Словно три трупа на снегу. Потом брошенный шарф. Шапка. Рукавицы. Вехи на пути к перевалу.

Люди подымаются выше, выше. Вот они переваливают хребет... Теперь они на пути к спасению...

...Два часа ночи. На северо-востоке огромное медно-красное солнце. Чуть затемняя его, низко-низко проходят облака. Они идут быстрой, мятущейся грядой, багряные и косматые, как дымы. Как дымы над домами ночью.

В заливе пустынно и тихо. У застывшей машины наметаются сугробы. Ветер шевелит их...

...Здесь будут шуметь города!

Данная книга была скачана с сайта Librs.net.

notes

Примечания

Падырка — письмоцо (ненецк.).

Матица — центральная балка избы.

Аргишитъ — кочевать.

Шабар — сосед.

Куырыкс (код) — кончаю работу.

Жилухой, жилым местом, на языке ленских старателей, называются поселения, расположенные уже на магистрали.

Юкола — сушеная рыба.

Кухлянка — верхняя меховая одежда.

Ветка — лодка.

Варница — солеварня.

Это одно из самых оскорбительных ругательств у чукчей.

Кошка — коса.